ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[4] 2005

РОМАНЫ ВИРЖИНИ ДЕПАНТ "TEEN SPIRIT" И БРЮСА ЧАТВИНА "УТЦ" / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "РОЗА НИКОМУ: ПОЭЗИЯ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА" / РАССКАЗ ГЕРТЫ МЮЛЛЕР "БОЛЬШАЯ ЧЕРНАЯ ОСЬ" / ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: СТИХИ ДЖОНА КЛЭРА / ВАН МЭН В РУБРИКЕ "НАШИ ГОСТИ"

Основан в 1891 году

[4]
2005

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Виржини Депант *Teen spirit.* Роман. Перевод с французского Ирины Радченко

81 Герта Мюллер *Эссе. Рассказ.* Перевод с немецкого и послесловие Марка Белорусца

102 Брюс Чатвин *Утц.* Роман. Перевод с английского и вступление Дм. Веденяпина. Марек Заганчик *Далекое и близкое: Брюс Чатвин.* Перевод с польского М. Курганской

Литературное наследие

167 Джон Клэр *Стихи.* Перевод с английского и вступительная статья Григория Кружкова

Литературный гид
Роза Никому: поэзия Пауля Целана

203 Борис Дубин *Встреча на берегу сердца*

206 Пауль Целан *Стихи.* Переводы с немецкого Ольги Седаковой и Марка Белорусца

221 *Письма Пауля Целана.* Перевод с немецкого и французского Т. Баскаковой

243 Пауль Целан *Противосвет.* Перевод с немецкого Т. Баскаковой

245 Ольга Седакова *Пауль Целан. Заметки переводчика*

260 *Краткая летопись жизни и творчества Пауля Целана.* Составил Борис Дубин

Наши гости

265 *Ван Мэн: "Чувствую, что попал к старым друзьям"*

БиблиофИЛ

269 *Издательские планы.* Беседу с переводчиками ведет Светлана Силакова

279 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Курьер "ИЛ"

281

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. И. Кузнецова
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Е. В. Тарасова
Л. Г. Харлап

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Виржини Депант

Teen spirit[1]

Роман

Перевод с французского Ирины Радченко

Дельфине

Часть первая
Дерево без корней

> А потом наступает возраст, когда начинаешь испытывать страх. Боишься всего: боишься любовной связи, боишься потерять независимость, стеснить себя; жаждешь счастья и в то же время шарахаешься от него.
>
> Гюстав Флобер

Я курил здоровый косяк, уставившись на задницу Джей Ло[2] по MTV. Зазвонил телефон, включился автоответчик: я тогда избегал разговоров с целой кучей людей, требовавших от меня кто денег, кто переводов, за которые я получил аванс, а также с прочей публикой, норовившей отнять мое время на всякий душный треп.

© Éditions Grasset & Fasquelle, 2002
© Ирина Радченко. Перевод, 2005

1. Teen spirit (*англ.*) – букв.: подростковый дух. Отсылка к песне группы "Нирвана" "Smells like teen spirit". (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Американская певица и киноактриса Дженифер Лопес.

Послышался приятный женский голос, стильный такой, выговор парижский, мажористый, особая манера выводить гласные и отчетливо произносить каждое слово, свойственная людям, сознающим свое право на неспешную речь и вычурную артикуляцию, — я слегка заторчал. Вообразил себе костюм, надушенные волосы, наманикюренные ногти.

— Здравствуйте, это Алиса Мартен, у меня сообщение для Брюно, возможно, мое имя вам ничего не говорит, я...

Мне хватило двух секунд, чтобы ее вспомнить. Недавние события легко вылетали у меня из головы, зато отроческие воспоминания отпечатались очень четко. Я подскочил, как на пружине, схватил трубку и выпалил игриво:

— Алиска — Шелковый ротик, еще бы, блин, не помнить!

Я, конечно, предполагал, что моя реплика не вызовет у нее бурного восторга, но собой остался доволен. Телефон придавал мне уверенность, которая рассеялась бы при личной встрече. В тот период своей жизни — а к нему я медленно, но верно шел много лет — я начисто выпал из реала, почти два года не вылезал из квартиры и, не считая Катрин, моей подруги, не видел никого, ну разве что по телевизору. Люди сделались для меня некоей абстрактной сущностью, враждебной, но легко устранимой: я отвечал на звонки выборочно или хамил в трубку — и меня оставляли в покое.

В ответ она вздохнула красиво так, глубоко и выразительно, что я истолковал сразу несколькими способами: "сколько тебе лет, детка?", "давно не трахался?" или "не сомневалась, ты был кретином, кретином и остался".

Я не спешил продолжать разговор, взбешенный многозначительностью вздоха и одновременно заинтригованный: интересно, что ей все-таки надо? Если она не швырнула трубку немедленно, значит, тому есть причина. Пауза затянулась. Я сменил тон:

— Откуда ты узнала мой телефон? И чего звонишь?

— Встретила в метро твоего брата.

Великолепно: этот идиот раздает мой телефон направо и налево и даже не ставит меня в известность. Подлянка заключалась в том, что сам он мне не звонил никогда, даже на Рождество, даже в день рождения. Я поклялся вставить ему как следует, вот только разберусь с Алиской Мартен.

— О чем ты хотела со мной поговорить?

— Нам надо увидеться.

— Алисочка, ты душка, с тобой связаны у меня самые приятные воспоминания, но все же я хотел бы знать, что тебе от меня нужно.

Последовал новый вздох, долгий, звучный, раздосадованный.

— Не мог бы ты все-таки уделить мне пять минут? Назначь сам место, день, час и все такое. Я тебя прошу.

Объяснять, что я не выхожу из квартиры, а тем более приглашать ее в дом и показывать, в каком убожестве я живу, мне было влом. Я постарался выиграть время:

— Послушай, я отлично помню, что ты была не только клевой соской, но еще и буржуйской дочкой; полагаю, папенька устроил тебя на хорошую работу, и ты ловишь свой кусок кайфа от того, что "человечество к твоим услугам". А теперь ты пришла щелкнуть пальчиками у меня

под носом и вызвать на свидание, но вообрази, у меня есть другие дела в жизни.

– Это ВА-ЖНО.

Она как будто сомневалась, что мне доступен смысл этого слова. Она меня что, за мальчишку держит? Я вскипел, но потом вспомнил, как повел разговор с самого начала: получалось, опять виноват я. Она принимает меня за сопляка, потому что таким я себя проявил. Обидно, но оставалось только пенять на себя.

Я переминался с ноги на ногу, глядя в окно: на улице дети возвращались из школы и с поросячьим визгом гонялись друг за дружкой.

Меня, конечно, разбирало любопытство, хотелось узнать, в чем дело, но я плохо себе представлял, как встретиться с Алисой, не выходя из дома. Мне бы проанализировать ситуацию, найти решение – нет, я лишь сокрушался, что в виртуальном пространстве мы еще новички, что не можем по своему усмотрению телепортироваться в какую-нибудь иную безмятежную биосферу и очутиться в салоне с мягкой мебелью того цвета, какой тебе по кайфу.

Я, понятно, скорее треснул бы, чем признался, что не выхожу из квартиры: воображаю, как бы она надо мной поиздевалась. По крайней мере я на ее месте не упустил бы такой возможности. А она, стерва, мало того что отказывалась объясняться по телефону, так еще – я чувствовал – нервничала на другом конце провода и произносила про себя что-нибудь типа: "Целый день думать будем? У меня, между прочим, время – деньги".

Короче, я назначил встречу в баре у себя внизу под тем предлогом, что у меня, дескать, завал работы и, спустившись по лестнице, я уже сделаю ей большое одолжение. Она проглотила.

Совершенно ясно, она не собиралась крутить со мной по новой, а потому, повесив трубку, я долго чесал в затылке, пытаясь угадать, чего ей от меня понадобилось.

В итоге я снова дернул, и абсурдность взятого на себя обязательства предстала мне со всеми ужасающими последствиями: назначив свидание на внешней территории, я круто попал. Теперь придется подыскивать что надеть, смотреться в зеркало, проверять, хорошо ли я побрит, не покрылся ли за это время прыщами, не уродская ли у меня стрижка. Придется пройти мимо окошка консьержки, которую я на дух не переношу; не дай бог, она возникнет и заговорит со мной холодным тоном, а я не буду знать, что ответить, я вообще никогда не знаю, что людям отвечать. Потом надо будет переступить порог и шагнуть на улицу. Я представил себе толпу, автомобили, как все это несется, норовит меня раздавить, как все видят мой страх или еще что, и меня прошиб пот. Я вспомнил этот бар: тесная клетушка, дым, шум, народу битком, того гляди осмеют, заденут, поставят в неловкое положение... Так я паниковал минут пять, а потом сообразил: зря я вибрирую, когда можно просто никуда не ходить. Я пообещал себе предупредить ее, прекрасно понимая, что обещания не сдержу. Мне трудно делать неприятные звонки. Я останусь дома, а когда она позвонит снизу, не отвечу. Только и всего. Прожил я тринадцать лет без Алисы Мартен и как-нибудь еще проживу. Черт с ним, с ее секретом – фигня какая-нибудь. Всякий раз, когда я волнуюсь, оказывается – выеденного яйца не стоит.

Итак, я поставил точку. Погрузившись в привычное для себя состояние мандража, я сосредоточился на сиськах Бритни и забил новый косяк.

Тут позвонила Сандра:

– Привет, что новенького?

Мы перезванивались ежедневно. Она уверяла, что страдает агорафобией, но это чистейшая ложь: она вообще хорошая притворщица. Когда ей нужно выйти, в смысле, обязательно, по работе например, она выходит, и все тут. Ну, может, было у нее два-три безобидных приступа стремопатии, только это ничего общего с настоящей фобией не имеет.

Она меня во многом раздражала, но и смешила тоже нередко.

Мы познакомились десять лет назад, она организовывала концерты в бретонской глубинке, а я тогда лабал в одной группехе, туфтовой, в сущности, но вместе с тем известной. Одно другому никогда не мешало. Сандра отвела нас в гостиницу. Прикольная девчонка, подумал я и целый вечер ее обхаживал, прикурить подносил, шуточки нашептывал, а она взяла и свалила одна, продинамила, короче. Посему еще несколько лет при одном упоминании ее имени я разражался длинной тирадой вроде: "дура, ломака, бездарь, дешевка, фуфло". Я никогда не умел миндальничать и выказывать доброжелательство, когда говорят о людях, которых я не люблю. А слышать о ней приходилось часто: она перебралась в Париж и кропала статейки о роке. Потом мы встретились на концерте "Hêliogabale–Condense" в тринадцатом округе; она бросилась мне на шею, как старому другу, и я, понятно, слегка напрягся, поскольку все это время поливал ее при любой возможности. У нее оказалась полная сумка амфетаминов, тогда они еще продавались. Переспать с ней так и не удалось, но оттянулись мы нехило. Я сменил гнев на милость, и мы подружились. Заклятой дружбой двух темнил. Я завидовал, что она печатается в газетах, которые я читаю, но при том критически относился к качеству ее статей и вообще сомневался в ее праве их писать. Я досадовал, что ни разу ее не трахнул, и в то же время испытывал облегчение – чище получалось. Такие вот качели. Сандру моя суперрадикальная позиция "никаких компромиссов" и привлекала, и смущала: не слишком ли просто. Сандра поддерживала неизвестно откуда возникший миф, будто у меня талант, и если бы я за что-нибудь взялся, то... Такое впечатление она вынесла из наших первых встреч, когда она была еще девчонкой, а я уже чесал на гитаре и на сцене корчил из себя крутого. Для нее я остался кем-то вроде проклятого поэта, неприспособившегося, недооцененного... Данный статус меня скорее устраивал, хотя я и знал все его изъяны.

С Сандрой можно было обсуждать телепередачи, что уже немало. Уверенной в себе девице, какой она хотела казаться, не стоило, по ее понятиям, злословить обо всех подряд, и оттого она защищала, хотя и без энтузиазма, ведущих, актеров и т. д.: у такого-то, дескать, большие данные, такая-то заслуживает внимания... В действительности же она только и мечтала послушать, как я их всех лажаю.

Она была моложе меня на семь лет, и разница оказалась существенней, чем я предполагал. Она из тех, кто не знал мира "до" – то есть до падения Стены, иначе говоря, до полного краха всего. У нее мозги были ус-

троены иначе, более патетически, что ли, и легковесней, но как объект наблюдения — любопытно.

Мне нравилось ненавидеть Сандру, и ей меня тоже. Я всякий раз отвечал на ее звонки, выделяя ее таким образом из всех окружающих. В отличие от большинства людей, она хотя бы никогда не спрашивала: "Ну что, когда увидимся?" Простившись, мы пережевывали про себя несформулированные обиды, потому что все наши разговоры были пронизаны непроизнесенными упреками и невинными на первый взгляд, но колкими намеками — только намеками, ничего в открытую. Если один из нас откровенно признавался, что ему хреново, другой спешил его поддержать, за исключением случаев, когда мы ссорились всерьез. Так или иначе равновесие сохранялось.

Вытянувшись на зеленом продавленном диване и скрестив ноги на подлокотнике, я приготовился к длительной болтовне. Изложил последние новости:

— Я тут перестремался жутко. Мне позвонила одноклассница, непременно желала со мной увидеться. И я договорился о встрече. С тех пор меня плющит, сама понимаешь как. Успокою сразу: я никуда не двинусь. Меня мутит от одной только мысли, что я мог куда-то пойти.

— Кто такая? Что ей понадобилось? Зачем она хотела тебя видеть?

Безусловное достоинство Сандры: ее реально интересовало, что со мной происходит.

— Алиса Мартен... Лицейская подружка. Дочь хирурга. В те времена фанатка "Béru". Офигительная девка и серьезная. Я так толком и не понял, почему она на мне съехала. Сексуальная. Я заторчал, как только ее услышал, воспоминания самые приятные. Помню, она взяла в рот... у меня это было в первый раз... в парке, на скамейке, нас все видеть могли... в общем, клевота...

— Ну, а в остальном что она собой представляла?

— Маленькая такая, хрупкая, беленькая, ручки крохотные, дырка широкая... Кукольный носик и глаза светлые-светлые. Потомственная буржуйка, таких на протяжении тридцати поколений натаскивают на то, чтобы стать лучшими б... для элитных самцов... Я подвернулся ей под руку аккурат в протестный период, и она вцепилась в сына железнодорожника, как голод в этот мир... Ее трясло от одного моего прикосновения, я называл ее своей электрической шлюшкой, улётнейшая телка. Жили они в особняке, всего каких-нибудь пять этажей, в саду цветов — не продохнуть. Комнату свою она оклеила постерами Сида Вишеса, мечтала, когда вырастет, стать наркоманкой. Судя по всему, с тех пор ее пристрастия изменились. Это было в выпускном классе.

— Ты сдавал на бакалавра?

— Сдавать сдавал, раза три, но не сдал.

— Ты был в нее влюблен?

— Это слово не входило в мой тогдашний лексикон, но она мне нравилась... Мне такие редко попадались... На ней попрыгать мечтал бы каждый клещ в лицее. Я подметил, что такие фифы обычно ни на что не годятся в постели. Думают, небось, им нет нужды тратиться понапрасну. Тут мораль напрашивается: с которой авантажно пройтись под руку, та в постели — ноль. И наоборот. Алиска была исключением: супер и так, и так и не капризная.

— И долго у вас продолжалось?

— Месяца три-четыре... не помню точно... А потом в один прекрасный день меня шарахнуло в полный рост: она переехала, ну просто испарилась, и я больше о ней не слышал... до сегодняшнего утра.

Разговаривая, я зеленым фломастером чертил какие-то лабиринты и спирали на обороте телефонного счета. Сандра, думаю, мыла посуду или не знаю что: у нее лилась вода, и звякали металлические предметы. Я представлял ее себе такой, какой видел в последний раз. С тех пор много воды утекло.

— Страдал?

— Я тогда старался жизнь себе не осложнять. Особенно из-за девок. Одолжил мопед, смотался в Туль, купил на автобазе ящик резинового клея, подышал дня три-четыре и думать о ней забыл.

— Вот как? Даже не взял гитару и не сочинил что-нибудь душещипательное?

— За кого ты меня принимаешь? Я не пишу песен, когда меня кидают.

— И ты в самом деле не представляешь, зачем она звонила?

Нотка сомнения в ее голосе мне категорически не понравилась. Сандра тут же попыталась переменить тему — на нее не похоже. Пришлось тянуть клещами, и в конце концов она призналась.

— Смотри, осторожней. Ты меня знаешь, я всегда драматизирую... но я бы на твоем месте пошла на встречу.

— Что у тебя на уме? Выкладывай! Или не надо было показывать, будто ты о чем-то догадываешься...

— Я думаю о СПИДе и не понимаю, почему тебе это не приходит в голову.

Две секунды я молчал, как пришибленный.

— Сандра, полтора десятка лет прошло!

— Ну и что? Ты анализ сдавал? Помнится, ты говорил, что не собираешься.

Я швырнул трубку. Гестапо, на фиг. Почему она помнит абсолютно все, что я ей рассказывал? Картотеку, что ли, ведет?

В этом вся она: участие проявляет, вытягивает на доверительный разговор, а потом доброжелательным тоном подпускает гнусные инсинуации, расшатывающие психику хуже, чем откровенное хамство...

Я пытался рассуждать логически, но логика давала сбой. Напрасно я повторял себе, что, будь у меня СПИД, за тринадцать лет он бы выявился и без анализа... И чем больше я дул, тем менее абсурдной казалась мне догадка Сандры.

* * *

И вот под вечер я, как последний кретин, потащился на улицу. Мне как всегда повезло: с неба падала ледяная морось, и бар был битком набит людьми, зашедшими укрыться и натащившими грязи.

Я пришел на пять минут раньше назначенного, выбрал место поближе к выходу, чтобы улизнуть, когда стремно станет, положил на стол часы с твердым намерением слинять, если Алиса опоздает больше чем на три минуты, и надеясь, что именно так она и сделает, давая мне повод с ней не встретиться.

Меня разбирал мандраж. То ли оттого, что я сидел в переполненном баре, то ли от мысли о предполагаемом СПИДе, казавшейся мне ужасной и привлекательной одновременно, потому что, если б он у меня обнаружился, я бы точно переменил образ жизни; то ли от перспективы увидеть девицу, которая могла за это время сдвинуться, подурнеть, скурвиться или не знаю что...

Судьба обошлась со мной милостиво, по крайней мере в одном отношении: за тринадцать лет я почти не изменился физически. Не потолстел, не облысел, и зубы не гнилые, и рожа не распухла от пьянства. Встречая людей, которых я знал молодыми, я впадал в отчаяние, когда воображал себя на их месте.

Алиска притащилась вовремя, я увидел, как она выгружается из такси, и меня сразу торкнуло: она это что, нарочно, — мол, у меня бабок завались? Унизить меня хочет?

За эти годы она слегка усохла. В атмосферу бара на проспекте Сталинграда она вписывалась плохо, всем выделялась: слишком много меха на воротнике пальто, слишком изящно спадающего на слишком дорогие сапоги, слишком изысканная косметика и вычурная прическа по контрасту с прочей промокшей публикой.

В целом баба ничего. Возбуждающая.

Она села напротив меня. Я со страхом вглядывался в ее лицо: вправду ли она похожа на человека, пришедшего сообщить бывшему партнеру, что заразила его СПИДом?

Не думаю, чтобы мои опасения как-то отражались на моей физиономии: не прилагая к тому никаких усилий, я обычно имею вид скорее вызывающий, чем испуганный. Я уже вышел из того возраста, когда кажется, будто люди способны читать тебя, как книгу: нет, они видят ровно столько, сколько им показываешь. И твои внутренние переживания им на фиг не нужны.

Алиска же явно тушевалась. Или, может, наоборот, подумалось мне вдруг, может, она только корчит из себя робкую и ранимую, и как раз потому, что ничего такого не ощущает.

Она поглядывала на меня украдкой, с беспокойством. Будто я насекомое — заведомо гадкое, но неясно, насколько опасное.

Задала два-три стандартных вопроса, как поживаю и прочее. Я солгал:

— Перевожу. Перевожу художественное, научное. С английского, немецкого, испанского... Написал роман, вот как раз издателя нашел.

На самом деле я попереводил немного научной фантастики и парутройку романов для издательства "Арлекин", переутомился, схватил депрессуху и забил. Я тогда сошелся с Катрин, она сказала мне: "Пиши, а я пока поработаю за двоих". Соглашаясь, я поклялся себе закончить роман в два счета. Одна только мысль, что я у женщины на содержании, будет мне настолько нестерпима, что подстегнет к работе, полагал я. Оказалось, нет.

Понемногу я перестал выходить из дома. В первый год я раза три-четыре пробовал начать писать — не шло. Дальше тридцати или сорока страниц не продвинулось. А потом я махнул рукой. Катрин не рассердилась. Как и многие знакомые, она не сомневалась, что стоит мне только взяться, и я напишу что-нибудь великое. Не она одна воображала, будто

у меня талант. Я извлекал пользу из этого заблуждения, хотя не давал к нему повода и никак не поддерживал: я просто ничего не делал. Сам факт, что я играл в панк-группе, посредственной, но с репутацией в определенных кругах, открывал мне десять лет беспроцентного кредита. В некоторых отношениях Франция — великолепная страна.

Мое положение всякий раз начинало меня беспокоить под Новый год, получалось вроде ритуала. Я подводил итоги и приходил к выводу, что работаю все меньше и меньше. В течение двух-трех дней я напряженно размышлял, принимал необходимые решения. А в начале января, поев крещенского пирога, отвлекался на другие мысли, и в итоге все оставалось по-старому.

Исповедоваться Алиске я не собирался.

Я посмотрел на ее руки: камень, блестевший у нее на пальце, сильно смахивал на бриллиант, а шмотки, что были на ней, не продавались в квартале Барбес[1], где я жил. Я спросил:

— Ты удачно вышла замуж?

— Отнюдь. Работаю как проклятая.

Мне приятнее было воображать ее замужем за омерзительным кривобоким старцем, осыпающим ее подарками и изменяющим ей, нежели узнать, что она бизнесменша. Ее успешная карьера, равно как и процветание других людей, подчеркивала, выпячивала мою несостоятельность.

Прошедшие годы не пошли ей на пользу. В юности она была красива, но красива эдакой нестойкой красотой, проявлявшейся в цвете лица, в не развенчанной еще самоуверенности. Штучка, в общем. Теперь кожа ее увяла, надо думать, она много работала, мало спала, пила и курила, оттого и вид такой потрепанный. Ее тощая фигура не обладала изяществом, какое свойственно женщинам, следящим за собой, — это была худоба человека с измотанными нервами. И красилась она не из стремления блеснуть, а словно бы желая скрыть лицо.

Она не торопилась выкладывать свою фишку; я поиграл сигаретной пачкой, смял целлофановую обертку, вытащил и сложил серебристый вкладыш. Затем стал пальцем стирать воображаемое пятно на столе и одновременно взял инициативу в свои руки:

— У тебя что, СПИД?

На мгновение она застыла: во рту сигарета, глаза прищурены; потом въехала и, сопоставив все в уме, расхохоталась. Тут и до меня дошел весь идиотизм моего вопроса тринадцать лет спустя. Я проклял себя, что послушался Сандру, и немного расслабился. А не стоило. Алиса постучала сигаретой о край пепельницы, успокоилась и проговорила:

— СПИДа у меня нет... Но есть тринадцатилетняя дочь.

Теперь обалдел я, поскольку не понял, к чему это было сказано и отчего таким тоном, каким в телесериалах произносят суперважную реплику. Она взглянула на меня, испуганно прикусив губу, и только тогда я сообразил, что фраза имеет какой-то дополнительный смысл; я тоже расхохотался, надеясь при этом, что воображение сыграло со мной злую шутку и что Алиса сейчас развеет недоразумение. Перестав смеяться, я заявил категорически:

— Не от меня.

1. Район бедноты и иммигрантов на севере Парижа.

— В то лето я больше ни с кем не спала. И потом — это очевидно, сам поймешь, когда ее увидишь. То есть это, конечно не доказательство... но сходство бросается в глаза.

— Когда я ее ЧТО?

Алиса досадливо поморщилась.

— Ну, извини. Если ты, конечно, пожелаешь ее увидеть. Как ты, возможно, догадываешься, я пришла сюда не ради удовольствия трахать тебе мозги.

"Трахать мозги" она произнесла с пикантной грубостью цацы из пятого округа, а я слушал, как она изрыгает ругательства, не подозревая еще, что эта история крепко меня зацепит. Маленькая отсрочка перед полным обломом... Алису между тем прорвало:

— Мне от этого разговора не легче, чем тебе... Но видишь ли, Нанси — так ее зовут — всегда считала, что ты погиб в автомобильной катастрофе. Ей это все родственники внушали с пеленок. Собственно, и знакомым так говорили. Только вот у моей матери после смерти отца совсем крыша поехала. Она взяла да и все разболтала.

Алиса развела руками, показывая, что только этого, дескать, и не хватало. И понеслась дальше:

— С тех пор у девочки навязчивая идея: найти тебя. Она дважды убегала из дома. Не знаю уж, что она там себе воображает, может, думает, что на улице тебя узнает... А тут я случайно встретила твоего брата и решила, что это знак. Вот.

Словно бы перекинула мяч на мое поле.

— Сука, блин, прошмандовка.

Я выпалил это одним махом, не чувствуя себя. Тело мое анестезировалось. На секунду я завис в невесомости, вне всякого земного притяжения. А затем ощутил, как мое сознание раскалывается на́двое и в образовавшуюся щель втискивается непостижимое. Все в том же безотчетном состоянии я продолжил:

— Маздануть бы тебя раз тридцать по твоей блядской морде... Ты вообще понимаешь, что ты мне сказала?

— Поверь, Брюно, меня все это тоже не радует.

Эта маленькая высокомерная говнючка была из тех, кто, подвергаясь нападению, съеживается в комок, а после распрямляется; жизнь не долбала ее как следует и не научила ходить с опущенной головой. Поджав губы и надменно глядя на нее в упор, я процедил с сомнением и отвращением:

— У меня ребенок?! От ТЕБЯ?

— Мне, дорогуша, было тогда семнадцать лет. Сейчас, знаешь, когда я на тебя смотрю, я сама удивляюсь, что могла так влипнуть.

Я отвел глаза, кровь прилила к вискам, мысли и ощущения стали возвращаться ко мне в беспорядке, голова пошла кругом.

— Ты просто рехнулась.

И я выскочил из бара.

* * *

На улице я прошел пять шагов, потом повернул назад. В груди у меня что-то ухало, мне хотелось броситься под машину, чтоб от меня мокрого места не осталось. Стоя в дверях кафе, я ждал, пока выйдет Алиса;

стыд жег меня изнутри: ну почему со мной должно было приключиться такое?

В конце концов она появилась, держа в руке мобильник и прилепившись к нему ухом — слушала сообщения. Я взял ее за локоть:

— Как ты могла так со мной поступить?

— Послушай: забудь. Глупо, что я тебе позвонила.

К ней вернулась вся ее самоуверенность; я взвыл, я почувствовал, как она ненавидит свое добропорядочное воспитание, не позволяющее выказывать своих чувств. А мне-то до ее воспитания что? Я, жалкий тип, боящийся выйти за сигаретами, я стоял тут, посреди тротуара, и орал во всю глотку. Мне хотелось увидеть ее испуг, смешанный со стыдом, я жаждал этого, как собака крови:

— Как ты могла не сказать мне? Как?

— Всё решили родители. Они, как узнали, на той же неделе переехали. Ты вспомни, черт побери, я ж была совсем девчонкой. И не слишком продвинутой для своих лет. Я сделала, как они сказали, а потом уже не захотела...

— Ты дрянь, сука чокнутая! Не сомневаюсь, это не моя дочь. Даже анализ ДНК не заставит меня в это поверить.

— Ну и отлично. На том и порешили.

Она зашагала прочь, я ее догнал. На нас оглядывались прохожие, какие-то пацаны, сбившись в кучку, молча наблюдали за происходящим, будто спектакль смотрели. Я чувствовал, как ярость жгучим лезвием рассекает мне череп от глаз до затылка и выжигает мозг.

— Ты не можешь так уйти. Ты не можешь выплеснуть на меня все это и отправиться восвояси. Надо было думать РАНЬШЕ, тогда еще, сразу. Даже чмошный сын чмошного железнодорожника заслуживает, чтобы его поставили в известность, — вот о чем надо было думать. А не дожидаться, пока девке стукнет тринадцать, и теперь свалиться мне на голову и, к чертовой матери, перевернуть всю мою жизнь. Ты полагала, я как к этому отнесусь? "Потрясающе! Когда поедем в Диснейленд?" Естественно, я вне себя. Естественно. А ты стой и слушай, потому что, мать твою, не надо было так поступать.

Я жахнул кулаком в стену, со всей силы, ничтожной, впрочем, по сравнению с моей яростью: опять разочарование. И сожаление: пальцы — всмятку. Захотелось сесть и заплакать, только я уже давно не плачу.

Зато Алиса себе в этом удовольствии не отказывала и, всхлипывая, бормотала:

— Я поступила глупо... Я не знаю, что делать с Нанси, с ней всегда было нелегко, а с тех пор, как ей все известно, она совсем отбилась от рук... Я не хотела с тобой встречаться... но я просто с ней голову потеряла.

— И имя у нее дерьмовое.

Алиса порылась в сумочке и протянула мне визитную карточку:

— Поступай как знаешь. Можешь позвонить, можешь забыть, как хочешь...

Умела, сволочь такая, разжалобить; я было разволновался, потом растерялся, а потом меня совсем повело:

— Да пошла ты...

И она ушла. Глядя на ее понурую спину, я ощутил совершенно неуместное желание. Она знала, как сбить мужика с толку.

Окружавшие нас пацаны стали расходиться, они покатывались со смеху и от восторга хлопали себя по ляжкам. Наверняка надо мной смеялись, и, что удивительно, мне это было по фигу.

Я бессмысленно стоял на месте. Привычка вечно все накручивать, преувеличивать, притворяться привела к тому, что я и сам не понимал, какие мои чувства подлинные, а какие нет.

* * *

Пока поднимался наверх, растерял остатки юмора и значительную часть хладнокровия. Рука моя распухла так, будто вместо кисти мне прирастили боксерскую перчатку.

Мысли бурлили у меня в голове, сшибались, переполняли меня и душили.

Вспомнил парней из "Людей в черном"[1] с этим их приспособлением, стирающим память: я бы дорого дал, чтобы такое приобрести и вернуться на два часа назад.

И почему-то мне все время представлялась сперма. Нелепейшим образом я пытался проследить связь между этой клейкой белесой массой и ребенком. Вспоминал, как все было у нас с Алиской, и повторял себе, что именно так и получаются дети. Но не стыковалось. К тому же преимущественно всплывали картинки, как я кончаю ей в рот, на лицо, на ягодицы. Стыковалось еще меньше...

С другой стороны, идея, что девчонка не от меня, тоже как-то не канала. Я знал, что Алиска сказала правду, чувствовал... Их поспешный отъезд, если подумать, выглядел чрезвычайно странно... Помню ледяной голос ее матери по телефону: тогда я отнес это на счет моего зеленого ирокеза и ошейника с шипами... Теперь все вставало на свои места.

Мне приходилось сталкиваться с тем, что у женщин случаются задержки, что некоторые хотят завести от тебя ребенка, а другие просто не желают принимать противозачаточные таблетки... Короче, я уже имел представление о проблеме, но обходилось всегда без последствий. Постепенно я уверился, что мне такого рода осложнения не грозят, и вдруг все поехало: оказалось, грозят, и в наихудшем раскладе. Унижение нестерпимое.

Алискины предки ничего мне не сказали, потому что я из рабочей семьи. Эта догадка не отпускала меня, как назойливый мотив, и от нее окончательно сносило крышу. Хотелось кого-нибудь убить, защитить поруганную честь, а жизнь свою послать, блин, к такой-то матери. К несчастью, я плохо представлял себе, как пойду душить полоумную мать Алисы, оттого все мысли возвращались к исходной точке, и оставалось только сглатывать стреляющую боль ярости. Вопиющая, уму непостижимая несправедливость, и, конечно же, на мою голову...

Я забросал Катрин эсэмэсками, умоляя прийти поскорей. Казалось, с ее появлением откроется какой-то выход, хотя непонятно, какой именно.

1. "Люди в черном" ("Men in black") — фантастическая кинокомедия Барри Зонненфильда (1997).

Увы, я слишком часто проделывал этот фокус: заставлял ее примчаться домой, бросив все, а дома посылал купить мне долипран, поскольку не люблю аспирин, или шоколадное пирожное, если чувствовал приближение депрессии, или просто свежий номер газеты "Либерасьон", о котором услышал по радио... На этот раз она уперлась: у нее работа, и пока она ее не кончит, никуда не двинется.

Я вообразил, как она возвращается и обнаруживает меня в ванне с перерезанными венами или — лучше — повесившимся на простыне и болтающимся за окном гостиной. Это минут на пять меня успокоило.

Ну и хорошо, пусть приходит позднее. Я вовсе не был уверен, что так уж жажду с ней поделиться. Если я ей все расскажу, эта история начнет всплывать в каждом нашем разговоре. Я рассчитывал забыть ее в самые ближайшие дни, а Катрин помешала бы мне это сделать. И потом, неловко как-то объяснять ей, что я выходил на улицу встречаться с бывшей школьной подругой. Я нещадно эксплуатировал Катрин более двух лет, гонял за тем, за этим — и после всего признаться, что я вот так взял и вышел... К тому же не факт, что я пожелаю в скором времени повторить эксперимент.

Вылазка на улицу меня разочаровала. У меня не случилось приступа стремопатии, я не испытал никаких экстраординарных ощущений, не упал в обморок. Столько времени я страшился этой минуты, накручивал себя до невозможности, до сердцебиения, до холодного пота... Я часто представлял себе свой первый выход на воздух, обязательно летом, Катрин ведет меня под руку, глаза ее блестят от счастья, теплый ветер ласково обдувает лицо, я иду медленно, как после тяжелой болезни... И вдруг эта дрянь, Алиска, все испакостила, испоганила, оплевала...

Я прилег, решил прибегнуть к дыхательной самотерапии. Получалось типа: "Тебе плохо? Прими таблетку аспирина". Я перевернулся и стал корчиться на кровати — кадр из фильма "Экзорцист"[1], — чувствуя, как адская боль пронзает меня от живота до макушки, ворочается во мне, будто какое-то мерзкое животное. Потом надоело.

Попробовал еще раз набрать Катрин, прекрасно понимая, что смешон; у нее сработал автоответчик, и я повесил трубку.

Не буду я ей ничего говорить. Все ясно теперь про наши отношения: каждый за себя, и если подыхаешь, подыхай молча.

Подумал было позвонить брату, выплеснуть свое бешенство на него, не объясняя причин, облаять и все. А в общем-то, ну его. Отложил брата на следующий день, когда соберусь с мыслями.

В конце концов позвонил Сандре, хотя ломало: ведь, не вмешайся она, не было бы этого кошмара. Я бы остался дома, смотрел бы себе спокойненько телевизор. И потом, я опасался, что она раздует теперь целую историю и совсем меня доконает. Скрючившись на диване, я все-таки набрал ее номер: надо же кому-то излить душу.

Гадючка рассыпалась в извинениях:

— Я себя проклинаю... Я дура. Не знаю, почему я тебе это сказала, бред какой-то... Знал бы ты, как я себя ругала.

— Если честно, я был готов тебя убить, но теперь это уже не важно нисколечко... Послушай сюда: я ходил на свидание.

1. "Экзорцист" — фильм Уильяма Фридкина (1973).

— Ты вышел на улицу?

Она испытала шок и даже разочарование. Или, может, испуг. Сознавала она это или нет, но мой выход на улицу ставил ее перед угрозой потерять единственного из всех ее знакомых еще более шизанутого, чем она сама. Мое амебообразное прозябание помогало другим чувствовать себя уверенней. Я не удержался и добавил для понта:

— У меня не было выбора.

— И чего ей от тебя понадобилось?

Я стыдился признаться. Уж лучше сдохнуть, провалиться сквозь землю. Мне вовсе не улыбалась моя новая роль — парня, о котором говорят намеками, с усмешкой, жалостью, осуждением... Не катило мне носить это клеймо. За что? Почему я должен расплачиваться? Я заставил Сандру поклясться, что она никому ничего не скажет, не сомневаясь, понятно, что она разнесет весть по всему свету. Короче, в конце концов я выдавил:

— Она сказала, что у нее дочь от меня. Тринадцати лет. Жаждет со мной встретиться.

Сандра испустила продолжительное "вау!", восхищенное и ошарашенное. В любой другой ситуации я был бы счастлив сообщить ей новость, которая всколыхнула бы ее до такой степени.

И вот тут-то пошел полный психодел. Как только я произнес эти слова, девчонка стала существовать реально. Сама по себе. До этой минуты я думал о предательстве Алисы, о том, как подло было прийти и сказать мне это через тринадцать лет, о ее семейке, которая сговорилась все от меня скрыть... И вдруг материализовалась девчонка. Она жила где-то здесь в городе, росла без отца, мечтала со мной познакомиться.

Я тогда ничего не сказал, даже в уме отчетливо не сформулировал, не признался себе, но именно в ту минуту я понял, что должен ее увидеть. Хотя бы раз. Зато Сандра сказала, как только перестала ахать и охать:

— Пытаешься ее себе представить?

— Нет. У меня нет никакой дочери. Ты ведь меня знаешь. Разве похоже, что у меня есть дети?

— Похоже, есть.

Мы болтали и болтали, пока мой радиотелефон не разрядился, после чего я перезвонил ей по мобильнику, а когда сел ее телефон, она перезвонила мне по своему мобильнику. У меня шею свело, оттого что я так долго держал голову набок, плечом прижимая трубу к уху. За это время я приготовил себе чай, сварил макароны. Мы потеряли нить, трепались о том о сем, ловя кайф от самого процесса...

— По крайней мере, это послужит тебе уроком на будущее...

— Предлагаешь закупить партию тестов на беременность и до получения результатов никого не выпускать из койки?

— Нет, кончать только на фейс.

— Угу, или в анналы. А ты, я смотрю, не дура.

Мы проговорили до тех пор, пока я не услышал, что в квартиру входит Катрин. Я быстренько повесил трубку, точно школьник. Мы так часто делали. После многих часов телефонного трепа я был никакой, голова отупела. В мыслях не прибавилось ясности, зато убавилось остроты.

Катрин дулась, а у меня даже не было сил на нее за это разозлиться. Я оставил ее гнить, проглотил три экванила — это большие синие таблетки, мне прописала их служба психологической помощи, и я к ним очень пристрастился — и отправился спать, не сказав ей ни слова. Пусть будет ей наука. Вопреки обыкновению, она не зашла меня проведать. Просидела перед телевизором, дура непробиваемая, неспособная почувствовать, что в доме у нее разразилась катастрофа.

* * *

— Алло, старик, это Сандра. Какие новости? Ты дома или тебя нет? Ты не хочешь разговаривать?

Я снял трубку, постарался поддержать беседу в шутливом тоне. Вообще-то такое мне не свойственно: обычно я склонен гнать волну.

— У меня тут Хиросима.

— Выкладывай.

В голосе неподдельная обеспокоенность. На экране телевизора черноволосая девица в футболке с драконом извивалась, стоя на одном месте, а руками держалась за живот; казалось, она безуспешно пытается оторвать одну ногу от пола. Я стал рассказывать:

— Катрин требует, чтобы я съезжал. У нее появился кто-то еще.

— У Катрин?

Что Катрин не может жить без меня, не подлежало обсуждению. Она, понятно, иногда обижалась, что я сутками зависаю у телевизора, не даю ей приглашать подруг, отказываюсь есть замороженные продукты, не трахаю ее уже несколько месяцев... обижалась, но все женщины рано или поздно начинают ныть. Ее недовольство никогда мне ничем серьезным не угрожало. Стоило только прижаться к ней, подластиться, и она успокаивалась, признавала, что мне тоже нелегко, полоса такая стрёмная. Сатурн стоял в моем знаке зодиака уже целых два года, а она не хуже меня знала, что с этой планетой жить тяжко.

В ту пору у меня не возникало ощущения, будто я ее третирую. Мне самому было так тошно, что мое отношение к ней представлялось мне пусть несправедливым, но оправданным. Я полагал, она понимала, что это временно, а потом я выкарабкаюсь и уж тогда расплачусь сполна.

— Похоже, это серьезно. Утром она ушла с вещами. Дала мне неделю на то, чтобы я отсюда съехал. Неделю... Видите ли, этого достаточно, чтобы найти "другую такую же дуру", цитата.

— А что, собственно, случилось?

— Во-первых, ее шизанутый психарь сделал ее законченной психопаткой. Во-вторых, на работе ее охмуряет какой-то фраер, обещает златые горы. В-третьих, вчера к концу дня я был уже никакой и рано лег спать. А она увидела мои мокрые грязные ботинки и вообразила, будто я регулярно выхожу тайком и, совершенно понятно, ей назло. Затем обшарила мою куртку, тоже мокрую, нашла визитную карточку Алисы и заключила, что я встречаюсь с девками. Возбухала всю ночь. Вбила себе в голову, что я откапываю их в Интернете, полезла в комп, нашла сто тысяч порносайтов... нафантазировала всякого — это Катрин-то, всегда мечтавшая о спокойных безмятежных отношениях. Представляешь? Короче, проснувшись утром, я почувствовал, что мне вроде как полег-

чало, пошел ее поцеловать, а она меня мордой об стол... Я сделался врагом номер один.

— Ты ей объяснил про Алису?

— Нет, не стал. Сказал, подруга детства, дескать, в хреновом положении, никак не мог не спуститься к ней. Катрин не поверила.

— А почему ты ей не сказал?

— Подумал, что, если мы все-таки помиримся, а это, на мой взгляд, не исключено, я о своей болтливости горько пожалею.

— Неглупо. Да уж, тебе масть пошла, ничего не скажешь.

— Голова дракона в противостоянии с Нептуном, Меркурий на ретроградном движении, Сатурн ни с места... комплект.

— Ты иногда мыслишь по-женски, но мне это нравится. Кстати, а у малышки какой знак?

— Почем я знаю. Меня это не колышет. Я о ней и думать забыл. Спасибо, что напомнила, в каком я дерьме.

— И что ты намерен делать?

— Повеситься, эмигрировать в Венгрию, вступить в секту, стать наркоманом, придушить Катрин, а прежде выпустить кишки ее хахалю. Я всегда подозревал, что по мне нары плачут.

Шутки шутками, но в ту минуту я реально о чем-то таком подумывал.

— Я не желаю слышать слово "ответственность". Мне тридцать лет, я себя знаю, я уже не в том возрасте, когда можно запудрить себе мозги: я не способен жить нормально. Моя слабая голова этого не вынесет. Квартира, работа, начальник, налоги... спускаться в метро, найти подходящую подругу, оплачивать счета и день-деньской общаться с кретинами, чтобы заработать на шамовку... Нет. В гробу я все это видал, лучше в бомжи пойду. Буду аскать под окнами этой сучки, чтоб она в курсе была, до чего я дошел по ее милости.

Сандра кхекнула. Когда люди так вот легонько откашливаются, это они собираются сказать нечто, от чего им самим неловко; я приготовился к худшему — не привыкать.

— А насчет малышки ты подумал?

— Нет. То-то и уютно, что с уходом Катрин я от этой истории начисто отключился.

— Тебе нужно с ней увидеться. Если девочка хочет с тобой познакомиться, ты обязан это сделать.

— У тебя что, совсем башню свернуло? Добить меня хочешь, да? Какого лешего ты меня опять в это окунаешь?

Я бы, конечно, швырнул тут трубку, если бы не рассчитывал попросить у нее приюта — на время, пока не раскручусь. Поэтому я наступил себе на горло и стерпел ее ахи и охи.

Ее просто заклинило на этой малышке:

— Что мать у нее дура крезанутая, я не спорю. Что тебе это влом до крайности, тоже понятно. Но девчонка-то тут при чем? Она имеет право взглянуть на тебя хоть раз. Ты не можешь ее так вот кинуть.

— Очень даже могу. И дело не только в том, что я эгоист. Будь я ребенком, мне неприятно было бы узнать, что мой отец — это я. "Посмотри, деточка, этот клошар — твой папа. Ты счастлива?" Пусть лучше я останусь для нее мечтой.

— Ничего подобного. Я бы на ее месте была бы рада иметь такого отца.

Последнюю фразу она произнесла со страстью, из чего я заключил: ждет, стало быть, чтобы я ей вставил — а это, понятно, отбивало у меня всякую охоту. Когда я поселюсь у нее, сказал я себе, надо будет держать ухо востро и не попадать в двусмысленное положение.

Она меня раскусила и, как мне показалось, сильно напряглась при мысли, что ей придется меня вписать. Я решил подождать: может, ее замучит совесть, и она сама пригласит меня у нее пожить.

— Брюно, ты должен понять, что девчонка не виновата, ты должен с ней встретиться, ты обязан. У нее один отец — это ты; если она хочет с тобой увидеться, ты не имеешь права ей отказать. Ты можешь кидать кого угодно, но не маленькую девочку.

— Да отстань ты от меня, ё-моё. Зачем только я тебе рассказал.

— Затем и рассказал, чтобы я тебя подстегнула с ней встретиться.

— Давай закроем эту тему.

Но она не унималась, и меня в конце концов торкнуло, что она попросту нашла повод разругаться со мной окончательно. Чтоб не пришлось отказывать мне в ночлеге. Это очень в ее духе — обойти конфликт стороной, избегая лобовой конфронтации, ничего не высказывая в открытую.

Она, видите ли, такая добродетельная, чувствительная, когда проблемы не касаются ее близко, а вот приютить человека, когда ему так фигово, что дальше некуда, — этого она не может. Подруга называется... Я плюнул на вписку и оборвал ее:

— Знаешь что, Сандра, пошла бы ты на хрен. Я всю жизнь буду помнить, что в трудную минуту ты меня бросила. Понятно? Никогда не забуду.

И повесил трубку, мечтая, чтобы мои слова навели на нее порчу.

Смертельный яд разливался по моему организму, разрывал внутренности и нервные клетки, и противоядия я не знал. Меня мутило от собственного растерзанного состояния, хотелось из него выйти, но таблетки, которые я глотал, делали меня подавленным и вялым, а беспечности не прибавляли. Фуфловый наркотик, такая же лажа, как и все их медицинские штучки.

Я пошел выпить чаю; это Катрин меня приучила целыми днями прихлебывать чай. От каждой женщины остается след, какая-то привычка, какое-то словцо, в общем, что-то они в вас меняют. И живет в вашей душе нежное и горькое воспоминание о романах, начинавшихся так хорошо.

Я ждал, пока закипит вода, и смотрел на побуревший от газовой плиты потолок. Когда я сюда переехал, мы перекрасили кухню в желтый. Кухонька была узкой, полки заставлены баночками с чаем, пряностями и разными металлическими коробочками, по стенам — открытки, а холодильник облеплен фиговинками на магнитах. Не особенно чисто, зато уютно. Я не хотел, чтобы меня отсюда выгоняли. Я хотел вернуть первые месяцы нашей совместной жизни, когда по ее лицу было видно, как она счастлива, что я здесь, когда по утрам нам нужно было сказать друг другу столько важного о нас двоих, о мире, о нашем будущем. Когда она еще верила в меня, а я еще старался оправдать ее надежды. Она писала пальцем слова у меня на спине, я сосредотачивался и разгадывал. Нет, я не хотел уходить. Я даже запах ладана, от которого меня прежде тошнило, вдыхал теперь с наслаждением. С умилением смотрел

на пивные дрожжи, магниевые таблетки, чай с привкусом шпината и прочие хипповские штучки, еще вчера раздражавшие меня донельзя. Я не хотел, чтобы меня отсюда выгоняли, хотя сам все для этого сделал.

Я взял тарелку и шмякнул ее о стену. Понравилось — и звук, и как она разлетелась вдребезги. Разбил все тарелки, какие были, одной левой: правая болела. Затем принялся за стаканы. Наскучило. Хорошенького понемножку. Подумал было пройтись босиком по осколкам, а после заляпать кровью всю квартиру, но не стал.

Вернулся в гостиную вроде бы успокоенным. Сел перед телевизором, чтобы забить косячок, и тут обнаружил, что у меня кончилась бумага. От этого нервы мои расквасились в одну секунду; не сознавая, что творю, я повалился на пол и стал кататься и лупить себя кулаками, я бился об пол головой и вопил как резаный.

Пока не выбился из сил. Случившееся озадачило меня самого: я всегда полагал, что устраиваю нервные припадки, чтобы произвести впечатление на окружающих и что-нибудь с этого поиметь. Иногда срабатывало, иногда совсем наоборот. Но до сих пор я и мысли не допускал, что могу элементарно потерять над собой контроль.

Я ощупал себе голову — все так же левой рукой — и испугался: болело реально и вдобавок подташнивало... Позвонил в медицинскую службу SOS. Пусть пропишут мне стрессам — помнится, он хорошо действовал. И пусть отправят меня на "скорой" в больницу; из неврологического отделения я позвонил бы Катрин, сдержанным тоном объяснил, что стали известны результаты сканирования и жить мне осталось месяц; извинившись за беспокойство, попросил бы принести кое-что из вещей, потому что больше мне обратиться не к кому...

Приехала доктор. Худенькая такая брюнеточка с серьезным лицом, маленькими грудками, ну просто прелесть. Мне стало жаль ее, что ей приходится таскаться по вызовам с чемоданчиком и такой дивной попкой. Среди клиентов попадались небось всякие отморозки, и она выслушивала всю их галиматью.

Она померила мне давление, посветила в глаза маленькой лампочкой, пощупала голову, послушала сердце. Я балдел. Я представил себе, как бы я жил с такой вот докторшей и по утрам и вечерам просил ее проверить, все ли у меня в порядке. Будь рядом со мной женщина, которая могла бы меня поддержать и успокоить, я бы, глядишь, сделался иным человеком.

Чтобы она подольше не уходила, чтобы не вынесла превратного представления обо мне, я рассказал ей о своих злоключениях. Не хотелось, чтобы она думала, будто я закатываю истерики каждый день. Объяснил ей про Алису, про Катрин... Она слушала меня, сидя на краешке софы, скрестив руки на плотно сжатых коленях. Серая блузка, красивая тонкая шея; я мысленно дорисовывал ее ключицы, обводил их пальцем. Я воображал, как она обнимает меня, утешает; такого склада женщины умеют приласкать, нашептать нежные слова. Мою повесть она выслушала с большим вниманием, на секунду призадумалась, а потом, изящно наклонив головку и глядя своими большущими глазами мне прямо в глаза, произнесла тихо, торжественно и чуть грустно:

— Вы должны встретиться с девочкой. Понимаете, для нее чрезвычайно важно узнать своего отца.

Я любезно посоветовал ей сменить профессию и проводил к двери.

* * *

Дальше дни потекли как в тумане. Я смутно надеялся, что Катрин позвонит и попросит принять ее обратно — я бы согласился не раздумывая. Я ждал, что позвонит Алиса и скажет: так и так, мол, пошутила... страдаю шизофренией.

Каждое утро я намеревался пролистать записную книжку, поискать, где бы приземлиться. Но вместо этого заколачивал косяк за косяком и обнаруживал, что время летит ненормально быстро.

Я позвонил матери, сообщил, что Катрин нашла себе другого. "И тут прокол", — скупо прокомментировала маман; потом я попросил у нее немного денег, она не преминула подпустить патетическое: "ты знаешь, сколько тебе лет?", но согласилась выслать тысячу франков. Я беспощадно выторговал две. В разговоре она упорно старалась показать, как мне должно быть стыдно, — ну и фиг с ней. Зато я вставил по ходу, что мой дорогой братик, ее любимчик, не последнюю роль сыграл в моем разрыве с Катрин. Десять минут спустя в телефоне раздался его раздраженный голос. Я предоставил ему базарить с автоответчиком — собачиться самому охота отпала.

Я стал выходить на улицу. В табачный киоск, в магазин. И — ничего, как будто так и надо, как будто я так жил и прежде, все эти два года. Обидно даже. Вопреки ожиданию, я отнюдь не ощущал себя Робинзоном Крузо, мучительно приспосабливающимся к цивилизованной жизни. Однако был рад, что все-таки отсиживался до последнего: погода стояла холодная, люди кругом хмурились, всюду мрак, враждебность, шум.

А главное девушки: никакого сравнения с теми, что я видел по телевизору, неулыбчивые, нерасполагающие.

Однажды вечером притащил домой бутылку "Jack Da"[1] — я уже год как не пил, Катрин была дико положительная, вегетарианка, не пила и дурью не баловалась. Вот и все, что эта идиотка вынесла из рокешных тусовок. Первую рюмку я выпил с отвращением, вторая меня согрела. В конце концов я надрался и впал в эйфорию; вообразил, что все устаканилось, что наконец-то у меня появился повод подыскать квартиру побольше, а роман я напишу за шесть дней — почему нет, все дело в настроении. Насчет девчонки, так я вообще не понимал, какое она имеет ко мне отношение. Я лежал скрестив руки на груди, врубив "Stooges" на полную мощь и, бухой в стельку, радовался, что избавился от зануды, отучившей меня дринкать. Было ясно как дважды два: я не мог писать и на улицу не выходил, оттого что не пил...

Следующий день я провел в клозете, и ясности у меня поубавилось; меня рвало желчью и тем, что глубже, чему следовало оставаться внутри. С дринком пришлось завязать. Остатки Jack'а я вылил в раковину и скрутил здоровый джойнт, чтобы избавиться от похмелья. Меня плющило пуще прежнего, ни одной мысли я не мог сформулировать до конца — с бодуна все путалось. Что в моем положении было вовсе даже и неплохо. Растянувшись на диване, приложив ко лбу холодную банную рукавицу, я исходил жалостью к себе и смотрел телевизор.

1. "Jack Daniel's" — американское виски.

На канале AB1 негритянское племя в спортивных костюмах дергалось перед телекамерами, закольцованные клипы рэпа, шлюхи с чуваками на громадных тачках, прочая жлобская мишура. На канале J — компьютерные картинки, боевая машина будущего, в ней копошилась команда, которой полагалось метать бомбы через океан типа по локаторам. На Tiji желтенький мультипликационный песик катался на санках с другим бобиком, серым. А на Cartoon Network жалкий тип под Бэтмена сражался с седовласым меном; тут тоже фантастика, армия будущего, какое-то чудище в клетке, порывавшееся смыться. На Fox Kids принц Франц боролся на саблях против чела с короткой бороденкой, тот пытался сбросить принца с башни, а вышло как раз наоборот, и в итоге принц под выкрики "Да здравствует король!" красуется перед ликующим народом с чудо какой довольной принцессой. На Дисней-канале драконы и змеи окружали прикованного пацана, принцесса по имени Ди Ди размахивала мечом, и змеям это было не в кайф. На Game One — там какой-то кретин искал "тайники" и что-то заливал про фокусы — короче, я ни фига не понял. На MCM тетки, стоя под водопадом, лягали что-то позади себя. На MCM2 такие же факухи, но уже с парнем, дрыгались на фоне паркинга, выкидывая руки то вправо, то влево. А на MTV бесновались какие-то дети...

Я стал скакать с одной программы на другую. В свое время я несколько месяцев кряду вдалбливал Катрин, что хороший писатель — это тот, у кого все кабельные каналы под рукой, и что это совершенно необходимое вложение денег. В конце концов она согласилась. При воспоминании о ее покладистости у меня всякий раз подступала тошнота.

Целый день я смотрел программы для детей. Какой же фигней им забивают башку...

Выбить мозги тем, кому еще нет двенадцати, приучить их выпивать нужное количество кока-колы в сутки, залезть им в подкорку и нашпиговать ее всяческой туфтой: счастье — это быть, как все, оно достигается покупкой всяких фишек, а для этого надо слушаться, идти в ногу, и чтоб никаких желаний, не имеющих денежного эквивалента; никого не цеплять, соблюдать приличия — то есть быть счастливым, еще лучше — быть первым. Взрослые всей мощью своего общества цинично обрушиваются на собственных детей и убивают их со страстью. Потому что лишь одно имеет значение — угодил ли ты начальнику: удачно ли продал бургеры—CD—DVD—кроссовки—рюкзаки—побрякушки—футболки. Много ли ты их продал, по хорошей ли цене? Доволен ли начальник результатом? Любая иная мысль будет признана анахронизмом и изгнана одним пожатием плеча.

Никогда еще пропаганда не велась так успешно и никогда не была такой циничной. Даже в самых оболванивающих системах — сталинской, гитлеровской, сионистской, палестинской, католической или сайентологической — учителя сами были соответствующим образом отформатированы и верили в то, чему учили. Теперь все иначе: директора каналов, режиссеры клипов, продюсеры групп, маркетологи — все прекрасно понимают, что занимаются мошенничеством и накалывают невинных. Они воображают себя крутыми, думают, они акулы. В действительности же они угодливые шавки, добивающиеся хозяйской ласки. Ярые безмозглые коллаборационисты. Не скажешь даже, что они осознанно служат дьяволу. Их деятельность разрушительна и бессмыс-

ленна. Тайные агенты по совращению малолетних, тупые, готовые на все.

Мерзость всеобщей лажи огорошила меня, раньше я в это не вникал. Как и многие вокруг, я вообще мало во что вникал. Мы давно усвоили, что возмущаться бесполезно, выработали ко всему насмешливое отношение, свыклись с тем, что все туфта и не стоит наживать себе геморрой попусту. История научила нас считать негодование отстойной эмоцией.

Врубив канал для взрослых, я посмотрел кусочек "Моряка и Лулы"[1], вспомнил лето после выпускного класса. Меня торкнуло, что ее тогда еще не было на свете. Она не существовала, а потом вдруг возникла. Фокус какой-то, и притом сомнительного свойства, я подступался к нему и так и сяк и ни фига не понимал. Сама идея, что мы с ней как-то связаны, казалась мне омерзительной и притягательной одновременно.

Что я для нее? Предок, которого надо узреть своими глазами и забыть. Недостающее звено. Мертвец. Абстрактное понятие.

Я подумал, что папаша без машины будет выглядеть совсем уж беспонтово. Решил так: получу права, подыщу тачку. А тогда и подумаю о встрече. Тогда я, по крайней мере, смогу погудеть ей издали, показать, что я — это я.

Саму возможность знакомства я отвергал теперь не так категорично, как раньше. Слишком много обрушилось на меня сразу со всех сторон, и я устал выстраивать в голове баррикады.

Я еще не верил до конца в реальность происходящего. Упрямый мальчишка, засевший во мне, надул губы и сложа руки ждал, чтобы с потолка спустился Бог или взрослый и быстренько расставил все по местам.

На самом деле я ждал, что позвонит Катрин и скажет, мол, жить без меня не может, сейчас вернется и все уладит.

Но единственный звонок от нее раздался по истечении семи дней: она спросила, выматываюсь ли я.

Именно так и сказала: "выматываешься".

Я попросил ее встретиться со мной, поговорить, но она была неумолима, она выставляла меня за дверь, как паршивую собаку.

Я обвел взглядом комнату, подумал, не поджечь ли тут все к чертовой матери, но потом достал сумку и покидал в нее диски и свитера. Взял сигареты, конвертик с остатками дури — всего несколько зернышек, мобилу, кошелек и ушел, не закрыв за собой дверь.

Я ожидал сногсшибательного шока, взрыва — ничего подобного. Видимо, шок, произведенный сообщением Алисы, оказал обезболивающий эффект. Это как у зубного: делают тебе укол, а потом проходит несколько часов, прежде чем ты сможешь почувствовать собственный язык. Я потерял чувствительность. Не так, как от морфия, конечно, но в целом тоже удобно.

Я позвонил другу детства Тьерри:

— Слушай, старик, я тут в полной заднице. Можно я к тебе загляну?

1. "Моряк и Лула" — фильм Дэвида Линча (1990).

Он замялся, я догадался, что рядом его подружка — она меня на дух не переносила, говорила, что я клин. Мы и видеться перестали с тех пор, как он с ней. Он назначил мне свидание в забегаловке у него внизу. Я специально поехал на автобусе, проверить, хватит ли меня стремопатия или сойдет нормально. На остановке 31-го со мной стояли дамочка с коляской и орущим в ней младенцем, сгорбленный кашляющий и харкающий старик и китаец с огромными хозяйственными сумками. Когда автобус подошел, я держал зеленую кнопку на двери все то время, что дамочка загружала коляску, но вместо "спасибо" она только недоверчиво на меня покосилась, и пришлось мне самому порадоваться своей галантности и гражданской доблести.

В автобус вошли контролеры. Естественно, если я впервые за много-много месяцев воспользовался общественным транспортом и не взял билета, контролеры не могли не появиться. Такое уж мое счастье.

Спас меня пацан лет пятнадцати, долговязый, белокожий, глуповатого вида детина с волнистыми нелепой длины волосами. Он не желал предъявлять ни проездного, ни удостоверения личности, кипишился и шумел. Выкрикивал оскорбительные слова женщине в зеленом, которая им занималась. Подскочили два ее коллеги, хотели его высадить и отвести в отделение, но он стал вопить. Когда его чуть подтолкнули, он заорал, что ему сломали щиколотку и что он будет жаловаться. В общем, достал их окончательно, и они его выволокли наружу.

Из пассажиров ни один не выразил ни симпатии, ни удивления, разве только легкую досаду: шума много. Стань эти типы дубасить парня ногами, в автобусе никто бы не шевельнулся. Мы, парижане, умеем абстрагироваться от ближнего.

Отвращение к окружающей жизни не забывается, как езда на велосипеде.

За время, что мы не виделись, Тьерри как-то ссутулился, словно бы его бабешка крепко на него надавила. Он никогда не имел особенного успеха у женщин. Откровенно говоря, этим отчасти объяснялась наша дружба. Я, конечно, себе в этом не признавался, однако приятно таскаться повсюду с приятелем, на которого девушки не обращают внимания, это повышает твои собственные шансы и вообще удобно: никакого соперничества, никаких наколок, подозрений. Недостаток женского внимания не мешал ему быть хорошим товарищем, верным, дурашливым, веселым, фанатом "Motörhead" и камерунских "Неукротимых львов".

Я сел напротив него.

— Ты похож немного на Сальмана Рушди, только светлого, раньше я этого не замечал.

— Странно, что у тебя осталось так мало друзей.

— Вот незадача, черт возьми, чтоб с лицом Сальмана Рушди да не писать книг. Даже если бы писал, и то...

Разговаривая с ним, я потирал себе ляжки и все время ерзал. Я пребывал в каком-то эйфорическом возбуждении. Он спросил меня с недоверием, показавшимся мне унизительным:

— Что, собственно, ты делаешь на улице?

— Я покончил со своей стремопатией. Завязал, даже не понимаю, как это я просидел взаперти все эти месяцы. И очень вовремя завязал,

потому что Катрин завела себе какого-то хмыря и выставила меня за дверь.

Тьерри сразу преисполнился сочувствия. Недоверие улетучилось. Он от девок порядочно натерпелся:

— От баб все зло, все, блин, от них...

— Самое гнусное ведь что: она со мной нянчилась, как с младенцем, и в результате я теперь по уши в дерьме. Я не работаю, у меня нет квартиры... Я чисто конкретно на улице. Она сделала из меня беспомощного ребенка, а потом выкинула, как ненужную вещь.

Но Тьерри явно не отражал моей теории о злодейке Катрин, нарочно вогнавшей меня в детство, чтобы потом добить окончательно. На черта, спрашивается, нужны друзья, как не для того, чтобы поддержать тебя в заблуждении?

Он сразу стал в оборону:

— С жильем выручить не смогу, ты ж знаешь Селию, она...

— Знаю, она меня на дух не переносит.

— И вообще у нее ужасный характер, ужасный.

Уж если Тьерри жалуется на женщину, причем на женщину, которой он вроде нравится, значит, она и в самом деле несносна. У меня даже затеплилась надежда, что, может, она его в скором времени пошлет и тогда мы снова станем друзьями.

Внезапно я почувствовал отчаянную стреляющую боль в спине. Я выпрямился, выгнулся назад и уже вполуха слушал, что рассказывал Тьерри о последней ярмарке пластинок и дисков в Шамперре. Он был коллекционером. Мальчишкой он просто любил слушать музыку, потом это переросло в манию, и чем менее интересной становилась его жизнь, тем больше он сосредотачивался на редких пластинках. Забавно, конечно, смотреть, как он постукивает пальцем по винилу, оценивая толщину, но в общем-то это уже на грани бреда.

Тьерри вдруг показался мне отталкивающим. Он напомнил мне о том, сколько нам лет. Возраст его не украсил. На висках залысины, одет, как старый хардюшник, но без изюминки. А в таком прикиде изюминка-то как раз и необходима.

Я вспомнил, почему я перестал выходить на улицу, почему завязал с питьем, забил на встречи с друзьями. Мы все старели и не знали, как с этим быть. Неприглядное зрелище.

Про Алису я ему все-таки рассказал. Он, разумеется, никакой Алисы не помнил: "У тебя их столько было, всех не упомнишь". Тьерри держал меня за крутого ходока.

Он рассмеялся, похлопал меня по плечу и назвал папой. Я чуть было не завелся, а потом вдруг сам расхохотался. Вообще-то и вправду умора. Случись это не со мной, меня бы первого пробило на ржач.

На короткое время мы снова сблизились. Меня даже потянуло заказать себе пива, но в ту же секунду я представил себе, как храплю ночью поперек тротуара в обнимку со своей сумкой — картинка эта меня не слишком вдохновила, и я благоразумно продолжил сосать лимонад. На целый час все стало как прежде.

В конце концов он задал вопрос, к которому мне пора было привыкнуть:

— Ты собираешься встретиться с малышкой?

Я отмахнулся, оборвал его:

— Слушай, оставь меня в покое, а?

Он пожал плечами:

— Зря ты это так воспринимаешь. В сущности, тебе скорее повезло. У тебя есть дочь, стало быть, тебе не придется мучиться, что, как последний мудак, прожил жизнь впустую. При этом, заметь, тебя миновали подгузники, рыганья, сопли и прочее. Тебе форменным образом повезло.

Я выслушал его с недоверием. Затем он включил мобильник, подпрыгнул, увидев, который час, взглянул на чек, достал деньги расплатиться. Мы обменялись обычными в таких случаях комментариями:

— Черт, невероятно, до чего все дорого в этом городе.

Вставая, он попросил меня дойти с ним до банкомата, предложил мне — поскольку не имел возможности меня приютить — тысячу франков взаймы: больше, дескать, ничем помочь не может. Я ответил, что это и так очень много, и пообещал вернуть деньги в скором времени. Всякий раз, когда мне любезно предлагали денег, я ощущал прилив благодарности и легкую отрыжку стыда и оттого в течение нескольких часов чувствовал себя приободренным и полным решимости взять факанного быка за рога и поступить с ним, как он того заслуживает. Пыл мой сгорал, как солома, шелестелки эти я быстро спускал и снова оказывался наедине со своими стремаками.

Прощаясь, Тьерри мялся, ему было неловко бросать меня на улице на ночь глядя:

— Хорошо, ладно... Держи меня в курсе.

Мы натужно улыбнулись и разошлись в разные стороны. Я почувствовал себя мальчишкой, расстающимся с друзьями по летнему лагерю. В таких случаях плакать не принято. Нюни разводить, киснуть. Между тем ни с одной бабой и ни с кем вообще меня не связывало столько, сколько с Тьерри. Лучшее время в моей жизни — это когда мы пихались локтями и обменивались тумаками, копались в ящиках с пластинками, таскались на концерты и ощущали себя, не сознавая того, существом о двух головах, подключенных к одной мозговой сети.

Потом друзья вокруг нас стали взрослеть, говорить о деньгах, о своих успехах, обзаводиться детьми и планами, как сделать карьеру. Мы с Тьерри ухитрились выгадать несколько лет, не сдавались до последнего. А потом шутки кончились, занавес опустился, и теперь я уже плохо понимал, куда все катится.

* * *

Я пристроился в гостинице на бульваре Барбес, рядом с магазином "Шампьон". Грязновато, конечно, но не слишком.

Самочувствие — супер. Столько месяцев я не вылезал из депрессухи, неотвязной, как насморк, а теперь, когда меня накрыло реально, когда не видно было просвета нигде, я радовался, как ребенок, которому пообещали новую игрушку.

Лег одетым и в наушниках, врубил "Stooges". Подобно пресловутым прустовским "мадленкам", мелодии из "1969" возродили в памяти лица, обстановку и всю атмосферу... я ощутил, до какой степени обременен воспоминаниями, но в тот вечер мне это было даже приятно...

Я забил последний косяк и, засыпая, понял, что моя радость не просто физиологическая защитная реакция мозга на грозящую катастрофу. Радость вырастала из очевидности: я хотел увидеть, на что похожа моя дочь.

На другое утро я позвонил Алисе.

Часть вторая
Отец и дочь

> И еще мой отец говорил: этот мир не удался, и нет оснований полагать, что другой лучше.
>
> Поль Моран[1]

Эскалатор, поднимающий из тоннеля метро на поверхность земли. Вереница людей, жмущихся вправо, пропуская тех, кто спешит выкарабкаться побыстрей. Наверху уже проглянуло небо — расширяющийся квадратик ослепительного света.

Алиса, как мы и договорились, ждала меня у входа в парк, рядом с ней я увидел рослую девочку — Нанси не могла быть такой большой.

Я сник, меня подмывало развернуться, дать дёру к себе на Барбес. Как это все-таки несправедливо — с моим мальчишеским умом оказаться загнанным в тело взрослого человека. Если бы мир был устроен по справедливости, меня бы привела сюда мама, крепко держа за руку, научила бы, что сказать и как, да еще прикрикнула бы, вздумай я дурить. А вместо этого — нате пожалуйста — я сам должен идти уверенным шагом навстречу тринадцатилетней дочери.

Подойдя ближе, я понял, что это несомненно она, поклонился:

— Очень приятно. Надо же, ты совсем взрослая.

И сам порадовался: какой же я все-таки сукин сын — лицемер. Я прилепил себе на лицо доверчивую улыбку во весь рот и уже ее не снимал. Я чувствовал себя до такой степени затравленным, что спроси меня кто-нибудь тут же на месте, как девчонка выглядит, какого цвета у нее волосы, какое пальто, хорошенькая ли, я не сумел бы ответить. Я ничего не видел, не регистрировал никакой информации, просто улыбался, как последний кретин, стараясь устоять на месте, не смыться.

Мелькнуло в голове, что я бы, пожалуй, трахнул Алиску. И вообще, могли бы с ней приколоться.

Она, однако, обнадеживать меня не стала, была холодна как лед, нелюбезна. Улизнула почти сразу, не взглянув на девчонку; нет чтобы жестом каким-нибудь изобразить: "сожалею, мол, что так получилось", или сказать: "надеюсь, вы поладите". Нет, просто вскочила в такси, опаздывая, возможно, на важную встречу, а перед этим попросила меня забросить девочку домой к няньке. К чему я не был готов, так это к обеду с глазу на глаз, я предполагал, что сяду напротив Алисы и "дочки", присмотрюсь к ним, отвечу на два-три вопроса. Меня накрыло, что мать так легко доверила мне дочь, не выяснив даже, может, я давно шизанулся.

1. Поль Моран (1888–1976) — французский писатель.

На Нанси я боялся даже взглянуть:

— Есть хочешь? — произнес я с наигранной небрежностью, понтом прикрывая страх, — это как духи на потное тело.

Она кивнула и ринулась в ближайшую пивную. Наверное, я позеленел, имеющаяся у меня наличность никак не соответствовала типу заведения: облома не миновать. Однако же я смолчал. Сжался в комок, прикидывая в уме, сколько мне не хватит, и судорожно соображал, кого призвать на помощь.

В итоге отправил эсэмэску Сандре: "можешь радоваться — я на Порт-Шамперре с девчонкой, нечем расплатиться. Help[1]". Она тут же ответила: "еду", и я подумал, что она не такая уж дрянь.

Нанси понуро и скептически наблюдала, как я играюсь с мобильником. Последние сомнения относительно моего отцовства растаяли сами собой. Она была до ужаса на меня похожа. Мое лицо с наложенными на него там-сям материнскими черточками, только волосы неизвестно чьи, рот Алисин, а подбородок, должно быть, от Алисиного отца, насколько я его помнил. Такое вот странное существо, хотя несомненно одной со мной крови.

Глядя на нее, я испытывал неловкость. Во-первых, моя маленькая дочь была уже совсем не маленькой. Она доходила мне до плеча, все повадки дамские, со стороны я легко бы дал ей семнадцать. Во-вторых, моя маленькая дочь одевалась совсем не по-детски. Я, понятно, улыбался, глядя на то, как она вырядилась для нашей встречи, изображая такого толерантного, ненавязчивого, с юмором, но внутри меня переколбасило.

Сношенные, линялые "пумы", грязно-серые спортивные штаны сидели низко на бедрах, а поскольку она была полненькой, над ними валиком нависал животик, и я заподозрил, что ей нравится выставлять напоказ свою нескладность. В ней чувствовалось что-то агрессивное и одновременно какая-то подавленность. Паршивый джемпер тусклого зеленого цвета с капюшоном и драными манжетами. Я невольно отметил, что у нее уже появилась грудь — две нелепые острые выпуклости. Волосы падали на насупленное лицо, она, как видно, привыкла постоянно дуться.

Она скучала и не скрывала этого. Подперев рукой щеку и нарочито скособочив физиономию, она рассматривала старушек за соседним столиком.

Мне нужно было что-то говорить, я жалел, что пришел, и утешал себя только тем, что больше на эту удочку не поддамся. Стейк с пюре и баста.

Наконец она соизволила повернуть голову в мою сторону, зевнула во весь рот и буркнула:

— Воображаю, тебе мама наговорила, что я мечтаю тебя увидеть, но мне вообще-то начхать.

— Я все-таки твой отец!

Прозвучало неестественно. Гневно-обиженный тон изумил меня самого, и я расхохотался как безумный.

Маска пофигизма сошла с ее лица. Она скуксилась, сгорбилась суперкомично, затравленно огляделась, словно бы чего-то стыдясь. И я

1. Help — помоги (*англ.*).

вдруг заново пережил ощущение стыда, какой испытывал в ее возрасте, видя, как ведут себя иные взрослые, как они кидают понты, несут несусветную чушь, полную туфту, теряя всякое достоинство. Прошиб ужас от самой возможности уподобиться им. Никогда этого не вспоминал, а тут, увидев ее мину, сразу воткнулся. Заглянул ей в глаза и перестал смеяться. Собрался с духом:

— Я не знал о твоем существовании. Когда узнал, в ужас пришел. А потом, через несколько дней, понял, что это даже прикольно, и мне захотелось тебя увидеть.

Произнося это, я почесывал себе затылок, мялся, подбирал слова, всячески показывая свое замешательство в расчете на ее сочувствие. Она потерла себе нос и пройдошливым, типично мужским движением резко склонила голову, метнув на меня исподволь оценивающий взгляд. Где она это подхватила?

Напрасно я делал знаки гарсонам всякий раз, когда их видел, — они нас не замечали, и я почти не сомневался, что они это нарочно — может, неосознанно, но нарочно, — они чуяли во мне обломанного фраера, которому это заведение не по средствам.

Теперь Нанси разглядывала меня в упор, внимательно и безо всякого выражения на лице. Я спросил:

— Я тебя разочаровал?

— Нет, меня мама предупреждала.

— О чем?

— Чтобы я себе ничего такого не воображала.

— А ты б хотела иметь какого отца?

— С большим мотоциклом.

— Я езжу на метро...

— Мама сказала, ты, типа, нищий.

Мой социальный статус она, похоже, находила весьма занятным.

В конце концов нам все-таки удалось сделать заказ, она взяла лазанью на закуску и стейк с жареной картошкой. Я восхищенно присвистнул:

— Ты знаешь, сколько это здесь стоит?

— Я хочу есть.

— От этого оно дешевле не станет.

Она задумалась, не зная, как видно, насколько серьезно отнестись к моему ответу.

Ела она согнувшись, уткнувшись носом в тарелку и окунув туда прядь волос. Вилку держала всей ладонью, будто лопатку, заглатывала с жадностью.

Словом, достала меня, и я буркнул:

— Давай я тебя всей мордой туда макну.

Она резко выпрямилась, явно удовлетворенная моей реакцией. Переходный возраст, вспомнил я, не зря он считается поганым.

Я спросил, слушает ли она музыку, и она, оживившись впервые за все время обеда, сообщила, что раньше зависала на Бритни и Джей Ло, но теперь уже старовата для этой фигни. Назвала кучу хип-хоповских групп, именуемых скай-роком, о которых я и не слышал. Тогда она стала исполнять мне отрывки, размахивая ручонками, типа, какая она крутая, и потешно имитируя акцент предместий. Мне показалось, она нарочно пытается шокировать меня вульгарными словечками. Но

чувство ответственности и беспокойство, которыми проникаешься при общении с детьми, тогда еще не овладели мной. Я видел перед собой просто толстощекую девочку с блестящими глазами, дергающуюся за столиком в дорогой пивной и выдавливающую из себя блатные тексты. Она походила на мультипликационную белку. Подытожила она так:

— Я теперь слушаю только хип-хоп. Мамаша с ее расистскими идейками от него на стенку лезет.

Вся ее речь ершилась шпильками, которые она выпускала с наигранной наивностью. С невиннейшим видом она метала пробные бомбы, всякий раз поглядывая на меня и ловя мою реакцию.

Я боялся ей наскучить, разочаровать ее, боялся, что она сочтет меня нулевым. Старался завоевать ее симпатию. Подыскивал, что сказать. Тронув драный манжет джемпера, я спросил:

— Отчего это у тебя?

— А я их грызу.

И показала как: ухватив манжет зубами, потянула изо всей силы с идиотским видом.

— Очень умно, — сказал я.

Увидев, что я не слишком шокирован, она еще чуточку расслабилась. Ей небось осточертело постоянно находиться среди взрослых зануд. Смутно вспомнилось собственное отрочество. Родственники из всего делали трагедию, ко всему цеплялись, лишь бы поставить меня на место: мальчишка несносен, не знаем, что с ним и делать.

— А у тебя еще есть дети?

— Нет. Ну, насколько я знаю.

Она не скрыла разочарования. Я стал оправдываться:

— Не потому, что я не люблю детей, просто жизнь у меня такая...

— Значит, у тебя нет сына? Фигово. Я бы хотела иметь старшего брата. У меня, типа, был один, мама тогда завела жениха с четырнадцатилетним сыном. Он ездил на байке, обещал меня покатать, но не получилось... Мама разругалась со своим дружком.

Слово "четырнадцатилетний" она произнесла так, как я бы сказал "гитарист из 'Bad Brains'", — с придыханием.

— У тебя было много... отчимов за все это время?

— Ага, навалом... И все — кретины. Нам с мамой везет на кретинов.

— А теперешний?

— Лучше других.

— Симпатичнее?

— Богаче.

В отличие от прочих ее суждений, последнее не содержало подковырки. Она констатировала некую очевидность, не осознавая ее дикости.

Если бы мы были знакомы ближе, я бы обнял ее и сказал, что все это муть и фигня и чтоб она не втягивалась в эти игры.

Когда дошло до десерта, Нанси принялась яростно мешать шоколад, превращая его в плотную массу, совсем как маленькая.

Две разных версии ее самой боролись в ее теле и проступали поочередно. Она еще не сделала выбор между детскими часиками "Китти" и браслетом с шипами.

Я начал нервничать, что Сандра не идет, и слать ей обеспокоенные месседжи. Ко мне вернулось до боли знакомое ощущение неминуемой угрозы, подавленности, невозможности противостоять обстоятельствам. Так было до моего затворничества. Все невмоготу. Малейший облом, и тебя уже повело. Нанси наблюдала, как я нервозно вожусь с телефоном:

— Пишешь своей пассии?

— У меня нет пассии. Я пишу приятельнице, которая должна подвезти мне денег.

— Зачем? За жрачку заплатить?

Меня снова передернуло: у нее проскакивали выражения шпаны из предместья. Я подумал, что это негативный эффект введенных на радио квот на исполнение французских песен, от них-то у благополучных детей и возникает тяга к речи отморозков.

Она вынула из сумочки кошелек:

— Не бойся, у меня есть.

И в подтверждение своих слов достала пачку банкнот. У этой маленькой засранки и в самом деле было чем заплатить. Я покачал головой и рассмеялся через силу:

— Что, с мозгами не в порядке?

С годами я привык, что многие бабы гораздо лучше меня умеют зарабатывать деньги. Теперь, получается, и дети ходят с кошельками куда толще моего. От сознания, что это моя собственная дочь, легче не становилось. Я разом ополчился на себя, на мир, на ее мать... Ярость закипала во мне, хотя я еще не знал точно, на что ее обратить.

Сандра обещала подъехать, "такси в пробке, но недалеко, скоро буду". Мы с Нанси не знали, о чем говорить. Она подвела итог:

— Думаешь, мы еще увидимся?

Я ответил чинно, бодро, с чувством ответственности:

— Можно, если захочешь и твоя мама не будет возражать.

Она продолжила неумолимо:

— В ночной клуб меня сводишь?

— Ты еще мала.

— А разрешишь выкрасить волосы в синий цвет?

— Нет. Не думаю, что это понравится твоей маме.

— Может, отведешь проколоть язык?

— Нет.

— А татуировку сделать?

— Нет.

Она вздохнула, сокрушенная безмерной несправедливостью. Не зная, что спросить еще, она все-таки проканючила:

— Купишь мне кроссовки на платформе?

— Говорю тебе, я на нулях.

Она напрягла воображение, думая, что бы с меня получить:

— А ты случайно не знаком с Джоем Старром[1]?

— Нет.

— Ладно... А как насчет Аквабульвара?

— Нет проблем.

1. Джой Старр — один из первых французских рэпперов.

— Кул.

Обрушившаяся на нее обойма отрицательных ответов ее нисколько не смутила. Она задумалась, а потом заявила беспечно и с понтом:

— Вообще-то я знала, что ты не умер. Давно догадалась.

— Как?

— Никогда не отмечали день твоей смерти, фотографий твоих нет в доме, про родителей твоих — ни звука... Я знаю в школе девочек, у которых отцы умерли, — у них все совсем не так.

— И тебе не хотелось узнать, где я?

— Послушай, у меня своих дел до фига. Я, может, и занялась бы этим, но... попозже.

Она разговаривала со мной, как со старым человеком: осторожно, словно бы щадя и оберегая от жестокой реальности.

— А правда, что ты убегала из дома?

— Я два раза прогуливала школу и возвращалась домой в семь часов. Тоже мне побег.

— Что ты делала, когда прогуливала школу?

Она пожала плечами, надменно вздернула подбородок и, избегая моего взгляда, неумело солгала:

— Гуляла, ездила на метро, в кино ходила...

"Ездила на метро" она вывела таким тоном, будто говорила "убивала старушек", подразумевая что-то жестокое и порочное, от чего у маломальски разумного человека должен вырваться громкий крик негодования.

Интересно, как же все-таки проводила свободное время эта, в сущности, маленькая девочка, пытающаяся строить из себя крутую. Она между тем продолжила эксперимент:

— А мобильник мне купишь?

— No way[1].

Тут наконец возникла Сандра, вид улётный. За два года, что мы чуть ли не каждый день переговаривались по телефону, я не видел ее ни разу. Я понял, почему она долго ехала: чтоб так выглядеть, нужно время. Туника "электрик" поверх блестящих черных брюк, распущенные черные волосы до плеч, черные туфли на высоком каблуке, словно бы из сундука времен Второй мировой войны, придающие ее походке одновременно женственность и властность, длинное кожаное пальто в стиле "фанк". Пышная грудь, бедра, глаза светлые, серо-голубые, белая в веснушках кожа. Нанси впилась в нее взглядом, совсем позабыв, что возраст обязывает ее хранить скептическую мину. Вынув руку из кармана, Сандра протянула ее Нанси, Нанси увидела громадные перстни с черепами, орлами, фараонами и а-ля Hell's, и ее совсем повело.

* * *

Мы попрощались с Нанси у подъезда. Мне интересно было подняться взглянуть на няньку, но девчонка, похоже, к этому не стремилась.

Позвонил Алисе, сообщил, что все прошло ОК. Я ожидал расспросов и все такое: "как она тебе понравилась", "хорошо ли поела", "ты мо-

1. Еще чего (*англ.*).

лодец, тебе, наверное, пришлось нелегко", но мамаша была слишком "закручена", чтобы со мной балакать. Я удостоился лишь краткого "мерси" и обещания связаться.

Сандра ждала меня в пивной у стойки.

— Прикольно видеть тебя на улице.

— Подумать только, два года я внушал окружающим, что не могу выходить, они только-только дотумкали, и теперь пройдет еще два года, пока они усекут, что я-таки вышел...

— Стремопатия не одолевает?

— Пока нет. И потом у меня при себе лексомил, стрессам, экванил, урбанил, темные очки и еще смешные такие оранжевые пилюльки — мне их, когда я руку разбил, дали, — ступорят клево. Еще есть дианталвик — расслабляет.

— Ты нашел, куда вписаться?

— Гостиница на Барбесе.

— Ну да, там подешевле.

— Там девки офигительные. Я когда утром спускаюсь в бар выпить кофе, сажусь к окну и глазею. И хочется всем им сделать детей.

— Понравилось, значит?

— Это так, фигура речи.

Вообще-то я выбрал Барбес, потому что это недалеко от нее. Сандра продолжительно вздохнула:

— Хочешь, переезжай ко мне.

— Наконец-то!

— Нахал ты. Ведь понимаешь прекрасно, что мне это неудобно.

— А мне, думаешь, на улице удобно? Да ты не вибрируй: мы чудненько поладим...

* * *

Мы вышли и стали ловить такси. Стоял туман, машины ёле ползли и все время гудели. Я исподволь разглядывал Сандру.

Никогда не подозревал, что она ходит такая разряженная и губы красит так ярко, да еще носит байкерские перстни. Стремно оказаться вдруг в ее власти.

Площадь была запружена машинами; полный атас: туча застопоренных автомобилей с одинокими менами внутри, каторга натуральная. Я вспомнил Нанси, и ни с того ни с сего мне сделалось грустно. Сандра прыгала с ноги на ногу, пытаясь согреться.

— Это поразительно, до чего она на тебя похожа... Ты, наверное, сам ахнул.

— Обидно, что я не знал ее маленькой. Что она уже не увидит меня молодым. Интересно, каким бы я был, выложь Алиска мне это раньше.

За годы, прожитые с Катрин, я научился задним числом подмечать ошибки в собственной речи, но избавиться от них не избавился. Когда мы только познакомились, я бравировал тем, что ботаю, как дебил. Мне это казалось очень мужественным, дескать, я такой бывалый и прочее. Со временем я обнаружил, что разговаривать иначе у меня не получается, что оно ко мне прилипло, и веселого тут мало. Это вроде сыра, который в мышеловке: сначала радуешься как дурак, а когда захлопывается, спохватываешься — ан поздно.

Воспоминание о Катрин полоснуло меня по сердцу, я сжал в руке мобильник: неужели она мне так никогда и не позвонит? Неужели ей лучше, что она от меня избавилась?

Перед нами остановилось такси, за рулем миниатюрная арабочка, волосы стриженые, лукавая мордашка. Она тянула маленький косячок и вела машину как полоумная. Печальная, как блюз, мелодия гаї[1] заполняла салон.

Я сказал задумчиво:

— Боюсь, девочку ждут большие проблемы с ее матерью.

Сандра откинула голову назад, я заметил, что она выглядит измученной:

— Эти проблемы так или иначе возникают у всех девочек.

Она уставилась в потолок кабины и некоторое время сидела неподвижно, сложив руки на животе. Я глядел в окно, на тротуаре пешеходы с недовольными рожами ожидали, когда поток автомобилей остановится и можно будет перейти.

Сандра вскинула руки и скрестила их за головой, отчего грудь ее поднялась, напряглась призывно. Никогда не мог понять, нарочно ли девицы принимают такие позы или у них в самом деле это получается безотчетно.

Я отвернулся к окну, мысли мои спутались. Крепкие ли у нее яблочки, если их потрогать, любит ли она, когда ей прикусывают сосок, как ведет себя в процессе, закрывает ли глаза, напевает ли; от ее ляжек веяло уютом, это поразило меня еще при первой встрече. Она выглядела немного слишком отвязной, чтобы я запал на нее всерьез, но в то же время аппетитной и возбуждающей.

Таксисточка заинтересовалась нашей беседой:

— Сколько лет этой девочке?

— Тринадцать.

Она аж присвистнула:

— С девчонками тут надо поосторожней. Очень ранимый возраст.

Сандра встрепенулась, растянула губы в понимающей улыбке, склонилась к водительскому креслу, и они заговорщически зашушукались, сочувственно друг другу кивая. В их болтовне я не понимал ни слова, внимания на меня никто не обращал, я втянул голову в плечи и снова уставился в окно. Такой красивый город и такая, блин, мясорубка.

Раньше, когда речь шла обо мне одном, образ эпохи как "концлагеря, охраняемого варварами" меня мало колебал. Теперь же я сознавал, что Нанси предстоит вырасти в этом аду и расквасить свою подвижную рожицу о чертову реальность, и ужас сводил мне нутро.

* * *

Дома Сандра устроила все самым корректным образом. Указала мне мое место: диван-кровать, освободила в шкафу отделение для моих джемперов и дисков, потом изложила правила общежития:

— Без меня в мою комнату не входить. Когда я дома, желательно меня не беспокоить, особенно если я сплю или работаю. Всегда стучать.

1. Стиль в музыке, идущий от алжирского обрядового пения.

Не заваливать кухню коробками из-под всякой всячины. Если нет молока, спуститься и купить...

Я довольно скоро перестал слушать. Не больно приятное начало. Ощущение, что я семьсот пятьдесят первый человек, кого она пускает пожить. Это, между прочим, ломало весь кайф.

Затем она закрылась в комнате, чтобы закончить статейку о нео-металле. Хотел я ей высказать, что ни фига она в этом не сечет и потому лучше бы не совалась, а потом плюнул.

Чистенький пол, плюшевые игрушки, пылящиеся наверху стеллажа, книжки карманного формата в ряд по соседству с альбомами "Ташен", комиксы французские, комиксы японские — этот пестрый набор отражал, по мнению Сандры, ее собственные вкусы, однако точно такой же наверняка можно было увидеть у тысяч и тысяч девиц. Разбросанные на полу подушки, тощие, тянущиеся к свету растения напоминали о том, что здесь проживает тусовщица со стажем, не забывшая еще былых времен. На полу стопками, доходящими мне до пояса, сложенные CD — она получала их десятками каждое утро.

Нервозность тоненькой струйкой пролилась во мне от горла до самых кишок. Подступала смурь, хотелось лечь, задернуть занавески, запереться, спрятаться и тихо зализывать раны, как побитая собака. Я представил себе, что в голове существует специальный фильтр, отсеивающий все лишнее, вроде почек, но для души. У меня он, наверное, прохудился и пропускает, что должен задерживать. Потому-то все и действует на меня так болезненно, в меня просачиваются какие-то острые твердые частицы, накапливаются, мешают дышать.

Я открыл сумку, проглотил три урбанила и встал перед окном.

До меня вдруг дошло, что с Катрин все кончено взаправду, дошло впервые с тех пор, как она об этом сказала. Любая вещь в квартире Сандры напоминала мне о моей прежней жизни. Я знал наперед, что еще несколько месяцев буду зациклен на Катрин, буду чувствовать запах ее шампуня и противотабачных свечей, которые она зажигала по вечерам, мне будут мерещиться ее джемпера с вырезом буквой V, заколки для волос, которые она разбрасывала повсюду, недорогая губная помада из "Монопри", которой она не пользовалась... Еще несколько месяцев я буду неотступно перебирать в голове все мелочи, в которых воплощалась для меня Катрин, считать их материализацией женского начала, необходимого мне для счастья. Потом это пройдет. И, как уже бывало раньше, я переключусь на что-нибудь другое.

Для начала я ради интереса нарушил первейшее из правил и пошел к Сандре, хотя она работала. Просунув голову в дверь и взглянув мельком на огромную и очень удобную с виду кровать, я спросил:

— С нео-металлом все в порядке?

Сандра не отвела глаз от монитора. Работала она на крошечном столике в окружении бумаг, горами сваленных на полу. Она изобразила гримасу, обозначающую, вероятно, что я не вовремя:

— Если ты оставишь меня в покое, я через час освобожусь.

Я примирительно поднял руки:

— ОК. Я только хотел предупредить, что собираюсь смотреть "Звездный десант"...

С тем я закрыл за собой дверь. Видимо, в металле все-таки что-то не клеилось.

* * *

Не успел я разобраться, какой кнопкой включается DVD, а Сандра, забросив статью, уже сидела возле меня.

На столе перед нами она разложила принадлежности для маникюра. Будучи не дома и тем более только вселившись, я не решился сказать, что не переношу запаха растворителя, равно как и лака. И приготовился, что меня будет мутить в течение всего фильма.

Потом мы долго чертыхались, что нельзя прокрутить начало, когда идут всякие предупреждения о запрете на копирование, на то, другое, третье, да еще заставки студии "Universal", и вы вынуждены все это кушать.

— Это они умеют, они вас и в вашей собственной квартире достанут.

Сандра вопила "фашисты!" и от возмущения подскакивала на диване.

Зазвонил мой мобильник, оказалось, это Алиса, я вышел в коридор выслушать, что ей надо.

Она сказала, что девочка в восторге, только обо мне и говорит и хочет, чтобы мы поужинали у них втроем. Алиса, похоже, была сама не рада, что заварила эту кашу. Она долго листала ежедневник, долго раздумывала, потом наконец соизволила назначить день. Я же не мог удержаться от язвительных замечаний, поскольку не сомневался, что она делает это нарочно, показать желает, как ей, дескать, некогда. Я готов был поклясться, что она выпендривается, однако в дальнейшем убедился, что она и вправду порядком занята.

Когда я вернулся в гостиную, Сандра кивнула на экран:

— Внимание: шедевр киноискусства.

Катрин всему предпочитала скучнейшие, никакие, в сущности, французские комедии голубоватого оттенка. В ней чувствовался душок журнала "Телерама" и всей этой клюквы. Давненько уже я ни с кем на пару не смотрел идиотских американских страшилок. Сандра спросила:

— Все мирно?

— Малышка хочет меня видеть. Поэтому Алиса пригласила меня на ужин.

— Стремно?

— Есть малость. Но не позвони она, я бы тоже огорчился. Так что жаловаться не приходится.

— Хочешь, на картах погадаю?

Я ничего не ответил, только посмотрел на нее. Интуиция подсказывала мне, что ответа и не требовалось. Сандра пожала плечами:

— Я уже погадала. И могу тебе сказать: все сложится удачно.

— Тем лучше.

— Погоди: поплакать тебе все-таки придется, и не раз.

— Спасибо, что предупредила.

— А я думала, ты в это не веришь.

* * *

На другой день я решил прогуляться. Самое трудное — сделать первый шаг, преодолеть страх. А там, на воздухе, неуверенность и тревога рас-

сасывались сами собой. Не то что два года назад, когда у меня это только начиналось. В ту пору стоило мне дойти до первого перекрестка, как меня пронизывало ощущение неминуемой опасности, смешанное с сознанием собственной беспомощности, я поворачивал назад, и ничто на свете не могло заставить меня выйти на улицу снова. Это был кошмар в натуре. Теперь он благополучно развеялся, и я, как в былые времена, с наслаждением брел наугад, смотрел, как от квартала к кварталу меняется город, погружался из одной атмосферы в другую.

Более двух часов я в какой-то отключке шатался от Клиши до Оперы и назад через площадь Республики. Мне повстречалась девица с неправдоподобно длинными ногами, затянутыми в блестящие брюки, — ну чисто сирена. Я наткнулся на чуваков, развалившихся на тротуаре возле табличек с надписями, полными орфографических ошибок, — они, типа, денег просили. Сплошь да рядом попадались дети, бегущие впереди родителей, и дети, которых родители вели за руку. Что ж, нормально: с тех пор как у меня самого появилась дочь, город заполнился детьми.

Временами голова у меня шла кругом, так как не успевала переварить обуревающие меня эмоции. Я сам не понимал, что я обо всем этом думаю и куда подевались мои пресловутые язвительность и флегма, не говоря уже о цинизме. Все представлялось мне ясным, как после косяка космического масштаба.

Я позвонил Катрин: подмывало рассказать ей про Нанси. Мне, разумеется, хотелось, чтобы она разволновалась, чтобы ловила каждое мое слово, ну как Сандра, например. Но она осталась неподдельно холодна, и я не стал откровенничать. Мне было не так больно, как странно, что она не дрогнула. Возможно ли, чтобы я так скучал без малейшей взаимности? Затем смутно начала закипать ярость. Против тех, кто на нее влиял, ничего не зная о нас двоих, против нее самой, не сумевшей защитить наш эфемерный, как мыльный пузырь, мирок, позволившей ему лопнуть под давлением идиотских условностей вроде мнения ее психоаналитички или любимой подружки. А эта сука-психичка — интересно, с кем она засыпает по вечерам? А сучки-подружки — кто гладит их по спинке все воскресные утра напролет, кто так внимателен к ним, что готовит им всякие деликатесы? Она могла меня упрекать в чем угодно, но готовил я хорошо. Только под конец, видать, я ее так заколебал, что ей уже и моя забота поперек горла стала. Отношения осложнились. Она ворчала, что я ее закармливаю тяжелой пищей, чтобы она растолстела и никому не нравилась. Если вспомнить, то уже некоторое время все оборачивалось против меня, она, видать, хотела от меня избавиться. Я думал, это пройдет. Я совершенно искренне воображал, что в одно прекрасное утро встану и примусь за работу, что это случится само собой, я напишу роман одним духом, и она будет радоваться и гордиться, что поверила в меня. Конечно, я бы ей изменил... Зависая целый день перед телевизором, я только о том и думал — даже списки составлял, — как я их всех переимею и в какой последовательности, когда стану знаменитым, как Уэльбек. Но я бы изменял тайно, осторожно, не причиняя ей боли.

Я перезвонил ей и брякнул с ходу:

— Если ты хочешь ребенка, знаешь, я могу тебе его сделать. Меня это больше не пугает.

— А пошел ты знаешь куда!.. Мало ты мне жизнь попортил?

И повесила трубку. Меня это взбесило, я решил в своей книжке смешать ее с дерьмом, рассказать, что в постели она не ахти, описать ее гнусную манеру с самодовольством кассирши безапелляционно судить обо всем на свете.

При разрыве с любимым человеком испытываешь совершенно особенную боль. Очень отчетливое, единственное в своем роде, ни с чем не сравнимое ощущение. Мука, исполненная желчи и страха, пробуждающая в тебе какие-то зоны, о наличии которых ты и не подозревал. Точно так же, когда защемляется нерв в позвоночнике, ты вдруг понимаешь, со сколькими разными движениями связано это место, раньше для тебя как бы и не существовавшее.

У меня ныли ноги от усталости. Поначалу это было даже приятно — подтверждало, что я жив. Но вскоре сделалось мучительным.

В итоге я спустился в метро. Накануне я уже ездил на метро и надеялся, что излечился и от метрофобии тоже. Но позабыл, однако, о неумолимом часе пик.

Толпы людей устремляются по коридорам, норовя растоптать друг друга и едва уворачиваясь от встречного потока. Куртки темно-синие, коричневые, серые, черные, множество бритых черепов. Чудно все-таки оболванивать себя до такой степени без необходимости. Затаенная враждебность. Афиши, цепляющие тебя на протяжении всего пути: пляжи под голубыми небесами, мебель, кинофильмы, первые страницы газет.

Я прошел в конец платформы. Женщина с большущими чемоданами, японки кучкой, клошар, слушающий музыку в наушниках и прячущий корявые руки между колен. Пассажиры, теснящиеся у края платформы.

Резвая мышка шмыгнула у нас под ногами. Два пацана попытались ее раздавить, промахнулись, побежали вдогонку.

Первый поезд я пропустил — народу много. Другие ожидавшие постарались втиснуться любой ценой. Я за ними наблюдал. Только я да бомж не стали забиваться в переполненный вагон. Я видел, как они стоят впритирочку с постными лицами, того гляди заснут, покорные, со всем смирившиеся. Не замечая никого вокруг, каждый порывался ухватиться за свободный участок общего поручня. Не знаю, можно ли считать психическим сдвигом мое нежелание оказаться в этом вагоне.

Я пропустил второй поезд, менее набитый, но все-таки. Я сидел себе спокойненько на красном стуле и вдруг отчетливо вспомнил, как однажды мой поезд застрял в тоннеле: что-то произошло с электричеством, тогда-то у меня и случился впервые приступ стремопатии. Ты заперт под землей, закупорен в металлической камере, затравлен взглядами, сделать ничего не можешь, остается только терпеть и ждать. Сейчас начнем задыхаться, страшные картины наезжают одна на другую. Убивает беспомощность, невозможность бежать. Так вот все и началось, с панического страха в метро. Потом я несся как очумелый, пока не выбрался на воздух. Я сам не понимал, что это было. А потом потихоньку пошло-поехало, депресня и полное обломово. Я потерял два года жизни.

Некоторое время я сидел на платформе. Клошар заснул под треск своих наушников. Я смотрел, как люди ждут, садятся в поезд, выходят, направляются на улицу. Нет, мне с ними не по пути.

* * *

Перед тем как идти на ужин, я целый день прокексовал. Мои единственные кроссовки омерзительно скрипели, рубашки и джемпера были либо в пятнах, либо прожжены сигаретами, либо просто рвань. Я смурнел и возбухал. Сандра словно бы и не слышала, как я бухчу, чертыхаюсь, швыряю шузы через всю прихожую, хлопаю дверцами шкафа и распинаю себя перед зеркалом: "чтоб тебе провалиться, старый хрен, с твоей дерьмовой рожей". Она невозмутимо сидела на диване с пультом от телевизора в руках. Готовила статью о фильмах Расса Мейера[1]. Мне бы этим воспользоваться, сесть с ней рядышком, пересмотреть милые старые ленты. За этим приятным занятием провести день. Но я решил его испоганить. Меня раздражало, что она не принимает во мне никакого участия, не пытается меня успокоить, ободрить; пусть бы обругала, но хоть как-то отреагировала. В конце концов я встал перед ней, уткнувшись носом в оконное стекло, и, заложив руки за спину, произнес:

— К черту, я никуда не иду.

— Кончай страдать фигней, нечего тут спектакли устраивать. Напоминаю тебе: ты работаешь.

— Не в этом дело... У меня все-таки есть самолюбие. Я похож на старого оборванца.

— Надеюсь, ты не рассчитываешь, что я одолжу тебе бабок на покупку одежды?

В глубине души я именно на это и рассчитывал. Но она уже погнала волну.

— Я тебе не мамочка, так и запомни. Тринадцать лет не тебе, а ей, и заботиться надо о ней, а тебе уже тридцать, и ты мне осточертел. Что у тебя на уме? Хочешь трахнуть ее мать, да? Говоришь себе: девчонка еще недостаточно нахлебалась, надо бы еще матери впендюрить? А ты не видишь, что я занята? Тебя это раздражает, да? Ты тут вселился, тебя устраивает, что за жилье плачу я, так дай же мне спокойно работать. Что ты вообще своей башкой думаешь?

Ее гнев, повышенный тон подействовали на меня успокаивающе. Я оделся во все черное, заклеил подметку на кроссовках и нашел, что выгляжу вполне сносно.

* * *

На ужин я отправился пешком. По дороге мне встретился пацан на роликах с розовыми мигающими колесами. В стиле диско. А еще негр на велосипеде, в огромной шляпе и с каким-то диковинным инструментом за спиной; поравнявшись со мной, он спросил, как добраться до Восточного вокзала. Я объяснил. К ботинкам его были аккуратно привязаны веревочками картонные подметки, он говорил мелодичным, хорошо поставленным голосом. Выслушав меня, он поблагодарил и, стоя на педалях, отправился в направлении, противоположном указанному.

Холодок на улице был даже приятен — бодрил.

1. Расс Мейер (1922–2004) — американский кинорежиссер, один из основателей порнокиноиндустрии.

Оказавшись в семнадцатом округе, я стиснул зубы. Не любил я его.

Ближе к их дому стали попадаться проститутки. Вдоль всего тротуара. Юные, красивые, нарядные. Они стояли всего в нескольких метрах друг от друга, но между собой не разговаривали. В этом чувствовался какой-то сюр. Обычно, видя проституток, я проклинаю свою застенчивость и бедность, так как не могу пригласить их со мной пройтись. А тут — ничего подобного. Они стояли манящие, соблазнительные и все такое, но что-то в них было не то — мутантки какие-то, они не столько вызывали желание, сколько леденили кровь. Пройдя еще несколько метров, я понял, в чем дело: размалеванные или вовсе некрашеные, разные, все они были приблизительно одних лет с Нанси.

Меня удручило неожиданное вторжение морали в мою сексуальную жизнь. Неужели оттого, что у меня появилась дочь, я теперь превращусь в тухлого засупоненного старичка, убивающего радость вокруг себя?

Я сделал над собой усилие, присмотрелся к их ногам, улыбкам, позам, подумал, что они такие доступные и стоят здесь специально для "этого". Но ни фига: кроме раздражения, что они такие юные, я ничего не ощутил.

Правда, было там все-таки две-три, с которыми, если очень постараться, я бы, наверное, смог.

Просторный подъезд весь в зеркалах, чтобы добропорядочные люди могли оглядеть себя с головы до пят, прежде чем показаться обществу. Мне это дико не понравилось. "Да кем она вообще себя воображает, что живет в таком хаусе?" Каморка консьержки, никаких почтовых ящиков, лифт по последней моде. Каждая кафелинка на полу кричала мне о моем ничтожестве.

Дальше, в квартире то есть, мне еще похужело. Меня раздражало здесь все. От прихожей до гостиной, от низенького столика до любой побрякушки, от самого запаха этой хаты до печеньиц к аперитиву. Каждая вещь неприкрыто заявляла о своей цене — бешеной, шокирующей, подавляющей. Алиса вела себя как все снобки — будто ничего особенного не происходит, будто не сомневалась, что ханурики вроде меня чувствуют себя среди роскоши как рыба в воде. Ее бы в полночь на улицу Мира́; хотел бы я видеть, как она там покупает сигареты; а я б стоял и смотрел на нее таким же взглядом, как у нее сейчас: "Тебя что-то смущает? Не понимаю, это же так... естественно".

Нанси вышла из своей комнаты уже в пижаме: голубая плюшевая фигня, делавшая ее похожей на какого-то крезанутого медвежонка. Показала мне свои рисунки — кошек. Если честно, я понятия не имел, как тут реагировать; ну, промямлил что-то. Потом она уселась перед телевизором. Я испугался, что разочаровал ее, что она сочла меня старым занудой. Но позже понял: ей было важно только одно — что я пришел. И десяти дней не прошло, как я узнал о ее существовании, и вот я уже тут. Она была счастлива, она была бесконечно благодарна мне и больше ничего не требовала. А скажу я что-нибудь про рисунок или нет — ей по барабану.

Я присел на краешек дивана: не приведи бог уронить на него пепел или там капнуть чем-нибудь. Я с усилием сглатывал слюну, до того у меня горло сдавило. От злости, презрения и тоски.

Потом заглянул в детскую — феерическую, иначе не скажешь. Единственная нормальная комната в квартире, хотя и оклеенная всякими диснеевскими фишками. Все остальное — тухлая ботва, прущая наружу

мания величия, фасад, скрывающий пустоту и посредственность. Чтоб так обставить фатеру, надо точно королевой себя возомнить.

Нанси пожелала станцевать нам под Бритни Спирс. Когда она полезла за диском, я смолчал. Мне совсем не хотелось ее одергивать. Такое происходило со мной впервые за очень много лет, приблизительно с ее возраста. Всех остальных людей, которых я встречал, меня всегда подмывало отвести в сторонку и объяснить им в открытую, что они занимаются фигней и только притворяются, будто этого не замечают, и что лучше бы они перестали пудрить мозги себе и другим.

Когда она начала танцевать, у меня перехватило дыхание. Я ожидал чего-нибудь вроде номера из летнего лагеря для детей, когда их выряжают маргаритками, Робин Гудами или дьяволятами. Я, разумеется, не помню в точности, что там исполнялось, но общее впечатление осталось. Я думал, Нанси будет кружиться на пальчиках и подпрыгивать, взмахивая руками. Она же вдруг превратилась в маленькую опытную шлюху, и Алиса равнодушно за этим наблюдала. Девочка крутила попой, посылала воздушные поцелуи, опускалась, вихляя бедрами, и томно выпрямлялась. Я остолбенел. Когда она закончила, мать ей вяло поаплодировала. Мамаша, судя по всему, демонический аспект этой сцены попросту не словила. По мне, наверное, было заметно, как я шокирован, потому что Нанси залилась счастливым смехом:

— Кажется, папе мои танцы не по вкусу!

Она минуточку постояла, оценила эффект, произведенный словом "папа", порадовалась про себя, что вовремя догадалась его вставить, и удалилась слушать Бритни Спирс в свою комнату, откуда донесся чудовищный грохот. Видимо, она отрабатывала новые па. Алиса флегматично прокомментировала:

— У нее неплохо получается, скажи?

Я протянул:

— А она не маловата для таких танцев?

Алиса усмехнулась мне в лицо:

— Ты, оказывается, изменился. Я и не знала, что ты такой ревнитель нравственности. Если "папе" вздумается и впредь видеться со своей дочуркой, придется ему спуститься на землю, потому что девочка чертовски продвинута и развязна...

Я собрался с духом, решил повернуться лицом к молодежи, ее сегодняшним нравам, осовремениться:

— Ты хочешь сказать, что она уже...

— Ну нет, до этого еще не дошло.

— Тогда я правильно сказал: она еще мала для таких танцев.

— Она подражает тому, что видит по телевизору.

— Надеюсь, у вас нет эротических каналов?

— Я забыла, что ты чудак.

Алиса забрала волосы в пучок и закрепила их на затылке шариковой ручкой. Она действовала мне на нервы, в ее тоне слышались жалость и снисходительность, будто я какой-нибудь дебил-садовник, а она из милости готова меня нанять. Я спросил:

— Чего-то я запамятовал: я тебя в зад трахал?

Вместо того чтобы ответить "я тоже не помню" и закрыть тему, Алиса изобразила суперобиду. Поразительно: она от меня дочь тринадцать лет скрывала, а я, видите ли, даже пошутить не имею права.

Мы ели какую-то лабуду, доставленную по заказу, мне редко встречался кто-нибудь зануднее Алиски. Чтоб такое самомнение, чтоб так кичиться факанным комфортом, и не только материальным: она всю себя упаковала в броню из идиотских предрассудков. Голова у нее была забита чистой шизой: биржа, недвижимость, зеленые растения, мебельные магазины, фирменные тряпки, роскошные отели, знаменитые рестораны... Борясь со сном, я попросил ее показать фотографии Нанси, она прошлась туда-сюда по квартире, не переставая душить меня всякой чушью, а потом уселась на место и сказала, что фотографий не нашла.

Нанси ела перед телевизором под кассету с Мадонной, прокручивая каждый клип по пятнадцать раз. Периодически она вставала и танцевала перед экраном на свой лад. Когда я видел, как она двигается, мной всякий раз овладевало беспокойство. С одной стороны, я испытывал облегчение: она танцевала хорошо и не выставляла себя на посмешище, с другой стороны, именно это меня и угнетало — что она танцует слишком хорошо. Я желал всей душой, чтобы это у нее поскорей прошло, до того как она повзрослеет. Воспоминание о девчонках на улице преследовало меня.

Мамаша семьсот пятьдесят раз на семьсот пятьдесят ладов сказала ей, чтобы она шла спать, после чего Нанси встала и перед уходом поцеловала меня, навалившись всем корпусом. Я не очень понимал, как ее обнимать, у нее были габариты взрослой женщины и места, которых не следовало касаться. Мне показалось, она, может, даже и нарочно, чтоб меня смутить, пихала мне в руки свое большое тело. Я вообразил себя отцом юной извращенки. Представил себе, как однажды, придя из школы, она заявит, что я ее изнасиловал, тогда как я ни о чем подобном и не помышлял. И вот сижу я в тюрьме, без вины виноватый, презираемый сокамерниками, и жизнь моя разбита. Зато в тюрьме я точно начну писать, утешил я себя.

Родители остались наедине. Я ожидал, что мы будем говорить о серьезных вещах, что Алиса расскажет мне о девочке поподробней, объяснит, чего ждет от меня. Или, может, бросится мне на шею, истерзанная тринадцатью годами желания. Но напрасно я рассчитывал на конструктивную беседу, она пригласила меня только потому, что так представляла себе протокол о приличиях в начале третьего тысячелетия: она находит отца своей дочери, зовет его перекусить. Конкретного сказала только одно: она не против, чтобы я заменял няньку по средам во второй половине дня.

На протяжении всего вечера Алиса не спускала глаз с мобильника, нервозно теребила сигарету, крутила ее туда-сюда в пепельнице.

— Она хорошо учится? У нее много подруг? Занимается спортом?

Мамаша слушала мою болтовню с тоской во взгляде, но безо всякой растерянности; подперев подбородок рукой и вздернув выщипанные брови, она ждала, что я и сам пойму неуместность своих вопросов.

Она словно бы и не сомневалась, что мое увлечение девочкой скоро пройдет, что та не заслуживает длительного внимания.

— Она спрашивала про меня? Что ты отвечала?

На моем лице, должно быть, читалось волнение, я понял это по откровенно насмешливому выражению в глазах Алисы. Непробиваемая баба: все, что выпирало, выходило за рамки, не укладывалось в определенные понятия, подлежало осмеянию. Она замуровала себя в скорлупку и, в силу воспитания, принимала свое убожество за сословный лоск. В ее семье еще не так давно поднимались на эшафот с заранее заготовленной остротой на устах.

— Во сколько лет она заговорила? А газеты она читает?

О чем бы я ни спрашивал, Алиса сама себе противоречила, путалась, неловко уходила от ответа, если и отвечала, то кратко и уклончиво, а потом переключалась на себя. Я получал три слова о дочери и нескончаемую повесть о матери.

— Чем она интересуется?

— С этого года — мальчиками. Ей надо спуститься на землю, перестать витать в облаках и строить иллюзии.

— Мне как мужчине не слишком-то приятно представлять себе дочь с парнями ее возраста. Но, разумеется, она имеет полное право ими интересоваться...

— Ага! Только они ею не интересуются, в этом вся беда!

— Откуда ты знаешь?

— Ты ее видел?

У нее это вырвалось непроизвольно, но она нисколько не смутилась. Пошла заварила себе еще тимьяну в японском чайничке, стоившем уж никак не меньше минимального пособия.

Тут зазвонил ее мобильник, она примчалась из кухни бегом, схватила его, изменила голос и даже облик, превратившись вдруг в совсем юную девочку, какую я когда-то знал. Чистая фантастика, провал во времени. Прежняя Алиса, ласковая, игривая, глуповатая и порочная, материализовалась у меня на глазах; даже повесив трубку, она еще осталась девчонкой:

— Это мой друг. Он сейчас приедет. Был на ужине, дело затянулось.

Как это часто случается с женщинами, она принялась оправдываться, хотя я ни о чем ее не спрашивал:

— Он очень много работает, иногда у него не хватает на меня времени. Понимаешь, он очень независимый человек.

Я взял сигареты и зажигалку и собрался уходить. Она меня удержала:

— Нет-нет, подожди, он непременно хочет с тобой познакомиться.

Мы уставились в телевизор; Алиса каждые пять минут смотрела на мобильник — на случай, если он звонил, а мы не обратили внимания...

Через час примерно я ушел, так и не дождавшись ее дружка. В дверях Алиса бормотала:

— Не знаю, где он застрял...

"Групповуха у него затянулась, а не ужин", — чуть не брякнул я, но осекся: слишком походило на правду, чтобы быть смешным. А, ладно, мне ее все равно не рассмешить.

Двери лифта захлопнулись. Насчет Алисы я правильно подметил с самого начала: в определенном смысле возраст ее не испортил. Что касается, например, желания затеряться у нее между ног, тут, пожалуй, рейтинг ее даже повысился. В ней появилось что-то трагическое, надломленное, делавшее ее хрупкой и желанной. Внизу мне повстречался

невысокого роста чел, подъехавший на джипе. Я догадался, что это он. Костюмчик безупречный, сам из себя ничего, если кому нравится, чтоб с гнильцой. Он тоже понял, кто я, и мы друг другу слегка улыбнулись. Ничего физиономия, приветливая. Но уж больно тачка здорова, и ботиночки бешеных бабок стоят — от этого меня опять повело.

* * *

Я прошел пешком до станции "Абесс", хотелось домой, к Катрин, было больно, что она не звонит. Я жалел, что уехал от нее, лучше б я приковал себя к оконной решетке. Пришлось бы тогда вызывать спасателей, чтобы они меня освободили и потом забрали, а я бы отбивался и орал не своим голосом. Ей бы это надолго запомнилось. А так получилось слишком просто для нее и слишком несправедливо по отношению ко мне.

Вставляя ключ в замок, я думал: хорошо бы Сандра уже легла — хотелось побыть одному. Ничего подобного, она болтала по мобильнику и при моем появлении шмыгнула к себе в комнату. Я успел заметить, что она недовольна и пытается закруглить беседу, говоря в нос: "Я правда совершенно больна, созвонимся в другой раз". Но собеседник не отставал, и она провисела на телефоне еще по меньшей мере четверть часа.

Я свернул большой косарь безо всякой, впрочем, уверенности, что он мне поможет.

Вошла Сандра: лицо напряженное, на виске бьется жилка. Я ее такой никогда не видел. Она улыбнулась через силу, села со мной рядом и стала как полоумная переключать программы. Мне хотелось наорать на нее, напомнить, что меня, между прочим, бросила женщина и что я вернулся с малоприятного свидания, а потому не обязательно срывать на мне свое дурное настроение. Она сглатывала слюну так, будто вот-вот подавится, я протянул ей свой джойнт, придал голосу жизнерадостности:

— Кто-то портит тебе кровь?

Из глаз у нее неожиданно хлынули слезы, слезы холодной ярости:

— Это был один тип с телевидения. Понимаешь, я работаю над серией передач, мне очень хочется их сделать, и платят хорошо... Мечта, короче. А этот гад там главный.

— Ну?

— Он разговаривает со мной как со шлюхой. Я не знаю даже, что ему отвечать, чувствую себя запутавшейся девчонкой. Я ненавижу себя за то, что хочу сделать эту работу, за то, что не послала его подальше, за то, что он ко мне клеится, что позволяет себе звонить мне в такое время и говорить, какие у меня красивые глаза и как в коротенькой рубашонке я могу простудиться, я ненавижу себя, черт возьми, потому что я такое дерьмо...

— Ничего страшного не случилось, Сандра, ну подумаешь, не нашлась что ответить...

Но ее уже развезло. Я ее такой не знал. Я тогда впервые понял девиц, которые страдают от собственной доброты. Раньше я над этим смеялся, но теперь, поглядев на нее, просек, что тут и вправду мрак. Невозможно было ее утешить, отвлечь, объяснить, что ничего особенного не произошло. Она ревела не переставая, а разрядка не наступала. Она расковыривала рану и норовила, чтобы до кости.

— Ага, а если я ему отвечу, он сочтет меня дурой недотраханной, типа, юмора не понимаю... как будто я должна визжать от счастья, когда трехсоткилограммовая туша со свинячьим рылом называет меня "моя милая". Разве мужики готовы подставлять ему свою задницу? И если он скажет: "ах, какая у тебя попочка!", они что, улыбаться будут? А когда он наконец въедет, что я под него не лягу, тогда как? Я же все наперед знаю: начнет рассказывать направо и налево, что я работаю непрофессионально, что мне того-то не хватает и то-то я не понимаю, в итоге меня выпрут, и я вынуждена буду помалкивать, потому что таковы правила игры, я должна все это кушать из-за того, что у меня есть сиськи... А я хочу сделать эту гребаную работу, потому что мне надо платить за то, се, пятое, десятое и мне все надоело...

Она зачем-то резко встала, стукнулась со всего маху ногой о стол, взвыла и плюхнулась обратно на диван вне себя от ярости:

— Я чувствую себя, блин, по уши в дерьме, я чувствую себя загнанной в угол... Кругом одна мерзость, я сама себе противна.

Ей было так плохо, реально, что я ощутил прилив симпатии к ней, она сделалась мне вроде как ближе, человечней, что ли. Оттого, что жизнь и ей тоже давалась нелегко, сбивала ее с толку и травила душу. Я начал догадываться, что Сандра, строившая из себя преуспевающую даму, внутри чувствовала себя не больно-то уверенно. А если так, то мы и в самом деле могли стать друзьями на равных, мне не нужно было искать, как принизить ее до моего уровня, как сорвать с нее маску, найти больное место и воткнуть туда нож. Я потер ей спину, как маленькой девочке, которая ушиблась:

— Сказала бы ему, что у тебя дружок — боксер, причем очень ревнивый.

— А почему я должна врать?

— Потому что ты работаешь в куче дерьма, Сандра. Дело не в том, хочет он тебя трахнуть или нет. Не он, так кто-нибудь еще унизил бы тебя каким-нибудь другим способом, не сомневайся. Ты работаешь в клоаке — естественно, ты облеплена дерьмом. А как иначе? Все мы по жизни вынуждены тащить на себе чужое дерьмо. Чего ради ты себе душу растравляешь, прокручиваешь это все по второму разу? Повесила трубку — и забей...

— Извини, конечно, но от тебя это особенно интересно слышать...

Она пощипывала себе мочку уха и чуть-чуть улыбалась, и, хотя она продолжала корчить кислую мину, я видел, что настроение у нее переменилось.

— Ну а у тебя что?

— Алиска идиотка. Соблазнительна, но идиотка.

— Одно другому не мешает.

— Наоборот даже. Я теперь по средам буду пасти малышку.

— Мамаша с девочкой ласкова?

— М-м... Знаешь, она из серии "я мать, но это не мешает мне быть женщиной". Дочь ей совершенно очевидно мешает. Конечно же, ее оправдывает то, что она очень молода.

— Матери бывают стервозны с дочерьми. Очень даже часто.

— Это ты в журналах вычитала?

— Они хотят мальчишек. Девочки им не так интересны. Ты не замечал? Женщины гордятся, что произвели на свет сына, как будто у них

самих от этого маленький член вырастает. Сын — это их пропуск в мир действия, в запретную для них область... А дочка вроде как ничего тебе не добавляет, кроме того, что начинаешь чувствовать себя старухой, когда та подрастает и становится привлекательней тебя.

— Это все общие слова.

Между тем я прекрасно понимал, о чем она говорит. Знал, как матери восхищаются сыночками, когда те метелят друг друга, в мамашах от этого гордость пробуждается: "парень что надо!", сами науськивают отпрысков на грубость, счастливы, что такое породили, расправляют плечи, говоря об их половых гормонах, радуются, что дитятко их не слушается — типа, это доказывает, что они настоящего мужика произвели. Каким тоном они произносят "мой сын", лопаясь от самодовольства! "Мы с сыном" — вот совершенный союз. Сыновья никогда не выступают против них, не бросают их, не пеняют, что матери стареют. Я во множестве семей наблюдал такую задвинутую любовь матери к сыну и тем яснее видел, что моей матери было начхать, девочка я, мальчик или щенок, все один черт: я мешал ей жить, и баста. Мальчишкой я любил подраться, но никто не замечал, что я с особым удовольствием лупил тех, кого мамочки прибегали забирать из школы, к кому мы ходили полдничать, у кого мамаши, кажется, только тем и занимались, что в ожидании драгоценного чада пекли ему пироги и зашивали курточки. Маменькиных сыночков я узнавал и во взрослых мужиках, чуял их и дожидался своего часа, чтобы накостылять им как следует, по стенке размазать. Они имели нечто, чего я был лишен, и от этого у меня развивался комплекс неполноценности. Мне хотелось, чтобы они исчезли. Но со временем список тех, кому надлежало исчезнуть, дабы я почувствовал себя лучше, разросся до такой степени, что осталось мне только смурнеть в одиночку.

* * *

Явившись к ним в среду утром, я держался настороже. Понимал, что надобно сохранять дистанцию, потому что моя роль папочки из шляпы фокусника могла накрыться в любую минуту.

Я приканал туда в девять ноль-ноль, чтобы забрать Нанси на весь день. Алиску явно разочаровало, что я пришел вовремя, бодренький и в хорошем настроении. У нее в голове сложился иной образ: бродяга, безмазовый, ненадежный, трудновоспитуемый. Она основывалась на старых воспоминаниях и на расхожих представлениях о "злых мальчиках". Ах ты кукла буржуйская: разочарована, видите ли, что я оказался недостаточно опустившимся. У самой зубы в порядке, волосы блестят, кожа ухоженная, но для понта недурно еще прихвастнуть, что, мол, водишься с одним панком. Перед нашей встречей она, должно быть, долго обсасывала прошлые дела. Я тогда любил пиво, драки, сорокапятки "Infanterie sauvage" и постоянно вляпывался в какие-нибудь истории. А теперь я ее, понимаете ли, разочаровал. Она хотела иметь своего Абеля Феррару[1] по выходным, большого уличного дикаря — подружкам на зависть.

1. Абель Феррара — американский кинорежиссер, автор фильмов про наркоманов.

В роли просто нормального парня я выпадал из придуманного ею сценария. Одновременно я, типа, показывал ей, как она была неправа, что ничего не сказала мне раньше. Ради этого, собственно, я и явился минута в минуту.

Перед уходом она засыпала меня советами, запретами, наставлениями, требованиями... в которых звучало не столько беспокойство, сколько отношение ко мне как к несовершеннолетнему и желание напомнить, что мне как лицу безответственному следует вести себя осмотрительней.

Затем я остался с Нанси. Для начала я несколько раз глубоко вздохнул. Я, понятно, немного трусил, не знал, что с ней делать, но оно получилось само собой: надо было просто все время говорить "нет". "Можно я сама себе волосы подстригу?", "Давай я тебе сделаю прическу?", "Я не хочу никуда идти, давай смотреть клипы по телику?", "Давай ты купишь мне диск Эминема, а маме мы ничего не скажем?", "А можно я войду в Интернет?", "А можно я сразу оденусь, а умываться не буду?", "А что если я пойду в майке?", "Говорят, Джой Старр живет у заставы Клиньянкур, поедем найдем его дом?"

* * *

Заметив, что я сочувствую ей в минуты хандры, Сандра подло этим воспользовалась и потребовала, чтобы я сопровождал ее на вечеринку. Давила на меня жестко. Я на таких тусовках не был уже сто лет, забил на них еще до всякой стремопатии. Она пустила в ход все средства, чтобы меня вытащить.

— Увидишь, там будет полно знакомых.

Это-то меня и беспокоило. И на этот раз реальность оказалась пострашней моих худших опасений.

Шум мы услышали еще со двора, квартирка маленькая, набита битком. Вид у всех скорее кретинический. И что самое скверное — все моего возраста.

У меня от этого кишки сводило: морды убитые, опухшие. Поведение неадекватное — слишком много лет под торчем; эти люди не въезжали, что вышли уже из того благодатного возраста, когда кайф делает тебя блистательно интересным. Их изнуренные лица выглядели трагично. Печальная картинка, но все они были слишком удутыми, чтобы это понимать. Шуточки с бородой, выдохшиеся, как и остряки, их произносящие. Фальшивые слова, заученные жесты, повторяемые по инерции. Жесты времен тусовки и бурной молодости. Но молодость прошла, и меня от них тошнило.

Девки с подреставрированными сиськами, только подчеркивающими их возраст. Меня вообще колбасило от повального распространения неохватных грудей. Это убивало всякое очарование.

Мозаика разговоров, группка тут, группка там. Кретины с бокалами в руках брызгали слюной, путая свое умственное истощение с разочарованностью бывалого денди.

Не нравились они мне. Я постоял в одной комнате, в другой, послушал их, посмотрел. Нет, не нравились. Меня начинало от них вести.

Возле музыкального центра собралась кучка помоложе, попродвинутей, одеты все как при Помпиду: облегающий джемпер и брюки в обтяжку.

Я не выпил ни грамма — боялся размякнуть, не хотелось общаться с этими людьми, не хотелось, упившись в нуль, разговориться с ними, забыв, что́ я о них думаю.

Перед сортиром оказалась очередь, это меня тоже разозлило, потому что я рассчитывал уединиться там, прийти в себя.

Потом меня отыскала Сандра:

— Взбодримся?

Я пошел за ней в дальнюю комнату. Из заднего кармана камуфляжных штанов она достала транспортную карточку в обложке, где было упаковано все необходимое. Крохотный свернутый пакетик, засунутый под билет, кусочек соломки из Макдоналдса, которую она примяла большим и указательным пальцами, сплющив с одного конца.

Движения ее были неторопливы: церемониал здесь не менее важен, чем все остальное.

Я словно перенесся на годы назад, мы тогда с ней часто пыхали вместе. Помнится, я бывал счастлив в эти минуты, как будто бы это не я, а персонаж какого-то фильма. Мрак развеивался, я жаждал разговоров и душевного общения. Из кайфа рождался другой я, более удачливый.

Присев на корточки возле ночного столика, Сандра насыпала две дорожки, потом поднялась и галантно пропустила меня вперед.

Я опустился на колени, наклонился, вставил трубочку в ноздрю и вдохнул.

Знакомое едкое и приятное ощущение на нёбе. Я встал и засмеялся:

— Сколько сразу всего вспоминается!

Сандра кивнула в знак того, что хорошо меня понимает, втянула свою порцию, распрямилась:

— Мы хорошо жили в юности. И этого у нас никто не отнимет.

— В какой момент все обломалось? Что мы сделали не так?

— Не мы сделали, Брюно, нет... Я давно хотела тебе сказать: не нужно корить себя и думать, что ты в чем-то лажанулся. Дело не в нас, Брюно, в этом мире никто не счастлив. Никто. Сам посуди. Разве что очень маленькие дети.

— Так было всегда.

Она потерла себе нос перед зеркалом, смачно втянула воздух, чтобы все пошло куда надо. Потом призадумалась, снова развернула крошечный бумажный пакетик и насыпала немного порошка на столик.

— Вторая всегда лучше идет.

Внезапно я почувствовал себя жутко в нее влюбленным. Мне захотелось обнять ее, приласкать, обладать ею. При этом реально, физически я бы не перенес даже прикосновения.

Короче, я не двинулся с места.

Когда мы вышли из комнаты, мне было как-то не по кайфу, я ощущал странную подавленность. Я не достиг того, к чему стремился, не знаю, чего именно. В общем, привычная неудовлетворенность. Зато теперь я уже не скучал, и время полетело с дикой скоростью.

Сначала я направил свое внимание на блондиночку, которую заприметил на кухне. Она стояла, прислонившись к холодильнику, и сочиняла целый роман из эсэмэсок. Дешевая маникюрша, светло-каштановые волосы забраны в пучок, губы по контуру обведены коричневым карандашом. На подбородке и на лбу полно прыщей, кое-как замазанных тоном. Розовый джемпер, оканчивающийся выше пупка, расклешенные траузера, здоровенные бутсы на толстой подметке. В целом вид какой-то замызганный, но трогательный. Влекущий. Чем-то она меня привлекала: свежестью, добропорядочностью, что ли. Может, грустью. Хотелось быть с ней, приголубить, защитить. Вместе с тем толика вульгарности обещала, что в постели она будет хороша. Архетип девушки доступной, но достаточно закомплексованной, чтобы это демонстрировать. Я подошел к ней, преисполненный доверия, и сказал в простоте:

— Ты мне нравишься. Думаю, ни один парень не видел тебя такой, какой вижу я. Мне хочется в тебя влюбиться.

Должно быть, мне не хватило убедительности, или темперамента, или еще чего-нибудь. Она взглянула на меня растерянно и потрясенно. И поспешно вышла из кухни.

Тогда я прибился к какой-то рыжей телке, фантастически тупой, но бесподобной внешне. Я ее хорошенько разглядел, пока с ней говорил: у нее все было натуральное. Она такой отпадной родилась. Глупа в высшей степени, так, что это даже становилось поэтическим и волнующим. Одна мысль, что она брошена в этот мир со своими куриными мозгами и обалденными сиськами, делала ее возбуждающей. Опасности подстерегали ее со всех сторон, ей необходим был мужчина рядом. Она ловила каждое мое слово, от души смеялась любой отстойной шутке, я было даже подумал, что она принимает меня за кого-то другого. Уже убедил себя, что ничего тут не выгорит, буду охмурять ее до утра, а потом она меня отошьет, окажется, что у нее нет хаты, а у меня — денег на гостиницу, или еще какая дурацкая отговорка. В общем, я уже намеревался на нее плюнуть, но она за меня уцепилась и попросила ее проводить.

Я ушел с ней под руку, вполне довольный собой. Перед уходом нашел Сандру, предупредил; она оживленно беседовала с каким-то долговязым татуированным придурком. Слушая его, она крутила дурь в ладошке и элегантно втягивала. Я ощутил своего рода гордость от того, что знаком с такой бабой. К тому же мне приятно было показать татуированному чудаку, с какой герлой я ухожу, полагая, что его это заденет.

Она жила в комнате для горничной, звалась Стефани. Удивительная девушка. Проще и скромнее, чем можно было ожидать при ее внешности. Мы с ней дули огромные косяки, слушая Бьорк, Бека Хэнсона и "Daft Punk". Я уже настолько забалдел, что даже и эта музыка катила. Ночь пролетела как во сне. Только я не кончил. Впрочем, ничего удивительного: вот уже несколько дней, когда я рукодельничал, мне удавалось кончить только с большим трудом, доведя до боли. Стефани отнесла это на свой счет и вела себя очень трогательно. Ее старания не увенчались успехом, но все-таки приятно.

На другое утро у меня болело в носу. Когда я проснулся рядом с ней, меня накрыло чудовищно. Она была мила, весела, как девочка, соблазнительна и в постели не притвора. Короче, всем хороша. Кроме одного — не Катрин. И потому, когда это восхитительное создание прижима-

лось ко мне, я лишь с большей остротой вспоминал, что потерял женщину, с которой хотел быть вместе.

* * *

Мы стали видеться с Нанси каждую среду. Шатались по городу: ничего лучшего я не придумал, но ей, похоже, нравилось. Всякий раз, когда я предлагал ей сходить в кино, она отвечала: "Я это уже смотрела". По большей части врала. Она вообще кучу всякой бредятины сочиняла. Поминутно играла какую-то роль. К реальности это имело смутное отношение. Предпочитала небылицы. Меня, в отличие от ее матери, это не раздражало и не беспокоило. У нее вообще-то здорово получалось, она выдумывала множество разных персонажей, изображала их, описывала. Все это лишь свидетельствовало о ее богатом воображении, и я говорил себе, что оно ей в дальнейшей жизни пригодится.

Мы всякий раз обследовали какой-нибудь новый квартал. Я помнил их с того времени, когда мальчишкой шлялся по улицам без гроша в кармане. Торчалово научило меня городской жизни. Оказалось, я знаю уйму уголков, внутренних дворов, диковинных скульптур, закоулков, садиков. Иногда мы шли, задрав носы, и выискивали, где квартиры пошикарней.

Еще мы посмеивались над прохожими, Нанси рассказывала мне эпизоды из "Баффи"[1] и про то, как изгонять вампиров. Я показывал ей, что Нотр-Дам похож на гигантский космический корабль, который вот-вот взлетит, она кивала, чтобы меня не огорчать.

Она любила, заслышав знакомую мелодию, влететь в магазин и начать танцевать между рядов. Она и меня пыталась втянуть, раздувала щеки, выделывала потешные па. Я уже привык, что она вертит задом, как сучонка; вообще-то выглядело прикольно.

— Как ты думаешь, мы будем когда-нибудь потом жить вместе?

— Я думаю, потом у тебя будут занятия поинтересней, чем жить со старым отцом.

Она меня боготворила, и это было приятно. Она непременно желала идти со мной под руку, что меня несколько выводило из равновесия. Я боялся, что прохожие станут на нас коситься, заподозрят во мне отвязного педофила. Но ничего такого не случалось.

Я был ее героем и очень старался не ударить в грязь лицом. Но ее любовь была настолько цельной, безоговорочной, прочной, всеобъемлющей, что мне нечего было особенно опасаться. Ее привязанность не требовала доказательств, не зависела от того, что я сделаю или скажу.

— Так что, ты книгу закончил?

— Почти. Скоро дам тебе почитать.

Я действительно хотел написать эту книгу, не начинал, правда, еще, но был тверд в своих намерениях как никогда.

Мне хотелось написать ее для Нанси. С другими не получилось. Мать говорила, что ей это скучно. Подруги — что я их утомляю. Зато тут я собирался взять реванш.

1. Сериал про вампиров.

В одну из сред шел дождь, и мы поехали на метро до станции "Ле-Алль". Спускаясь в тоннель, она заметно нервничала, хотя старалась не подавать виду:

— Я вообще-то уже ездила на метро, и не раз.

Она очень трогательно храбрилась. Я взгрустнул, что в ее возрасте ее уже мучают страхи, и это избавило меня от моих собственных. Постепенно я начинал понимать, что ее отделяет от реального мира целая пропасть. Ее приучили бояться самых обычных вещей, опасаться всего, что может случиться мыслимого и немыслимого, ее представления замыкались каким-то обрубком жизни. Взяв ее за руку, я совершенно безбоязненно спустился в метро.

С ней я становился другим человеком, она придавала смысл моим поступкам, моему возрасту. Я чувствовал, что выполняю определенную миссию, что-то делаю наконец и в кои-то веки у меня это получается. Я знал, как ее ободрить, умел ее рассмешить, да и кое-что объяснить. Мы гуляли, развлекались, оттягивались. Впервые в жизни я ощущал, что поступаю хорошо, без жульничества и обмана. Что имею право на эту роль и что она мне нравится.

Если панк-рок был катастрофически непригоден для подготовки к реальной жизни, поскольку не учил ни послушанию, ни состязательности, ни покорности, ни подавлению собственных чувств, то он оказался подходящей школой общения с юной девицей. Во всяком случае, я не пытался подрезать ей крылья, чтобы потом втиснуть ее в соответствующую ячейку общества. Я не хотел ее ломать, не заставлял молчать, но умел заткнуть, если это реально требовалось. В целом я справлялся неплохо.

Меня, конечно, пугал ее возраст, я боялся, что она вдруг отвяжется. Как будто она сидит в поезде, поезд должен вот-вот тронуться, а я в окно наспех пичкаю ее советами, которые могли бы пригодиться в дороге. Я желал ей проскочить между струями дождя, овладеть золотым ключиком, найти потаенные сокровища, желал ей сориентироваться в этой жизни лучше, чем я и ее мать.

В каком мире будут жить сегодняшние дети, когда повзрослеют?

— Пойдем в японский ресторан?

— Нет, там слишком дорого. Найдем пиццерию.

Подобные ограничения ее поражали, казались экзотическими и привлекательными.

Среды с Нанси стоили мне уйму денег. Каждый вторник Сандра собирала пачку CD, и я шел их продавать.

Я был шокирован ценами на всякую фигацию для детей: шмотки, игры, книги, DVD, плееры, кроссовки, сумки, любая мелочь стоили целое состояние. Почему не делают витрин с тонированными стеклами и не пишут крупно над входом: "Только для богатых"? По крайней мере дети не презирали бы нас за то, что мы не имеем средств приобрести фишки, которые сует им под нос реклама на улице и по телевизору. А так приходится объяснять, что не можешь купить самую, казалось бы, элементарную вещь.

Нанси рвалась в магазины "Колетт", "Анжелина" и даже в бутики "Прада". Я дергал ее за рукав:

— Ты что, спятила? Я в такие места ни ногой, там от жлобья не продохнуть.

Она косилась на меня озадаченно и с интересом. Мои слова западали ей в голову, и в следующую среду она брякала на всю кондитерскую, указывая на довольно суровую с виду даму:

— Видал, папа, как это старое жлобье пытается пролезть впереди нас?

Любая мелочь осмысливалась ею и где-то там оседала, она поглощала информацию с удвоенной скоростью и, переработав ее на свой лад, тут же пускала в обращение. Подобно тому как маленькие дети быстро осваивают новые слова и запоминают их раз и навсегда, подростки вроде Нанси жадно впитывают новые идеи, и эти идеи налагают на них неизгладимый отпечаток.

В этом возрасте все видится в увеличенном масштабе, фильмы кажутся потрясающими, диски — апокалиптическими, книги меняют жизнь.

Я нашел безотказный способ заставить ее читать, что я хочу:

— Только не говори маме, что я купил тебе эту книгу. Обещаешь?

Время от времени у меня в телефоне раздавался раздраженный голос Алисы:

— Нанси сказала, что ты позволишь ей проколоть брови. Брюно, ты НЕ ВПРАВЕ решать такие вопросы.

Она артикулировала чуть ли не по слогам, а я смеялся в душе, что она попалась на удочку:

— Алиса, только не делай вид, что ты этому поверила.

Раздосадованная своей ошибкой, она продолжала с ходу:

— Она должна перестать врать.

— Она пользуется ситуацией, это нормально в ее возрасте.

— Откуда тебе знать, что нормально?

Алиса злилась, что я, едва появившись, легко поладил с Нанси. Уже через две недели девочка стала получать приличные отметки; таким способом она показывала миру, что ей хорошо.

Еще Алису бесило, что я не работаю. Что я свободен по средам, разгуливаю руки в карманах и без мобильника. Что у меня есть время смотреть кино, читать книги, фланировать. Она не представляла, насколько это для меня мучительно, унизительно, несносно. Ей казалось все так клево: никакой ответственности, свобода, вечное безделье, защищенность от неприятностей взрослой жизни.

Со своей стороны, я очень скоро перестал воображать, что она чего-то там достигла. Она усаживала свою тощую задницу в тридцатитысячные кресла, отоваривалась в "Фошоне", а не в "Ашане", лопала устрицы, как я сандвичи. Но чувствовала она себя все равно голимо, это было ясно как день.

В сущности, жизнь у нее была хуже, чем у кассирши. Дерьмовая жизнь, адское расписание, всегда у телефона, всегда поблекшее под сло-

ем косметики лицо, вечно без сил от усталости, вечно на нервах, душевная пустота вокруг.

В прежние времена люди из состоятельных семей, вроде нее, вели красивую жизнь и ничем другим не занимались. Женщины не жертвовали своим очарованием и не горбатили, как прислуга. Алиса получила воспитание, ни в коей мере не сообразное с тем, с чем ей предстояло столкнуться в реальной действительности, она выросла в иллюзии, что мир все такой же, как прежде. Ее ни к чему не приготовили.

Класс, к которому она принадлежала, оправдывал свое существование — оправдание сомнительное, отвратительное, жестокое, но все-таки оправдание — наслаждением. Демонстрацией хорошего вкуса, утонченности, умения жить... Эта махонькая привилегированная прослойка была фицджеральдовской "точкой схождения" изнуряющего труда людей всей планеты. Весь мир вкалывал ради того, чтобы несколько человек проводили время красиво, со вкусом, стильно. И, разумеется, не гнули спину.

А теперь даже эти люди, собственно они-то в первую очередь, ишачили, как рабы, тянули лямку безо всяких гарантий, не имея времени ни на что. Эксплуатация стала жестче, но уже не служила ничьему счастью.

Вот за что Алиса на меня злилась. Она воображала, что я оказался хитрее. Алиса, делавшая все как положено — слушавшаяся родителей и католическую церковь, запрещавшую аборты, работавшая не жалея сил, верившая в материальные ценности, исполнявшая все, что требовалось для того, чтобы иметь все, что нужно, — чувствовала себя обманутой. И вымещала обиду на мне, что, понятно, глупо.

Я же не показывал ей, что мне не сладко без дома, без кредитки, без каких-либо доходов, без перспектив. Делал вид, что мне все ха-тьфу, — из удовольствия ее побесить.

Среди пустопорожней болтовни Нанси регулярно раскладывала бомбочки, владела этим искусством в совершенстве:

— Но ты все-таки любил мою мать?

Я искренне отвечал "да", рассказывал, что Алиса была милой, трогательной, о других же ее качествах умалчивал. Говорил, что любил, но недолго, а потом все забылось.

— Вы расстались из-за переезда?

— Ну да, ты была еще червячком, присосавшимся к материнскому чреву.

— Получается, как Ромео и Джульетта.

— Приблизительно, только мы не умерли.

* * *

Просыпаясь по утрам, я каждый день принимал целую серию радикальных решений. Если честно, в глубине души я все еще надеялся поразить Катрин, когда она позвонит и захочет со мной увидеться. Весело насвистывая, провести по модным ресторанам, дать ей читать мою книгу, написанную с радостью и вдохновением, познакомить ее с дочерью, с которой у нас установятся близкие дружеские отношения, предложить, как бы между прочим, пойти в субботу после обеда за покупками с моей кредитной картой... И тогда она пожалела бы, что бросила такого мужика.

Пока я потягивался на разложенном диване, мне казалось, что выкарабкаться наверх проще простого: надо только найти издателя, который даст мне переводы, параллельно поискать других заработков, заняться спортом, выбрать приличный бассейн, где можно плавать ни на что не натыкаясь, стрельнуть у кого-нибудь денег, чтобы в следующую среду сводить Нанси в кино. В самое ближайшее время обзавестись маленькой квартиркой и, само собой, начать книгу... Я радовался, что так хорошо все спланировал. И главное, верил в реальность своих планов.

Но, встав с постели, я готов был рыдать как мальчишка, поскольку совершенно не понимал, с чего конкретно начать.

Тогда я забивал косяк. Потом начинал метаться по дому, что-то искать, меня обуревали какие-то неясные мысли, от которых через пять минут не оставалось и следа. Сандра дала мне телефон знакомого издателя. У меня ушло трое суток на то, чтобы ему позвонить. Утром в день встречи мне свело шею. Но Сандра упорно долбила мне, что идти все равно необходимо, и в итоге я выдвинулся, замышляя про себя, что пересижу это время в баре, никуда не пойду и не позвоню. Потом, правда, сам осознал дикость такого поведения.

И потащился на встречу, проклиная Сандру: "я не мутант, не приспособленец, у меня, прошу прощения, есть чувства, а также остались еще некоторые левые идеи". Я прождал этого парня полчаса в стреме, что он вообще не явится и придется мне платить за чай самому. Я вовсе не жаждал знать, сколько стоит горячая вода в заведении такого рода.

Позади меня какой-то мэн излагал жалостливым тоном:

— Он, я знаю, начинает смекать, что я вступаю в когорту Великих. Я на верном пути. Мне все об этом говорят.

Ему отвечала дама с хриплым голосом, его, типа, ободряла, выказывала участие чуть ли не материнское, но высокомерия ей это не убавляло:

— Ты писатель. Настоящий.

— Это все начинают понимать... Я живу, так сказать, по-спартански, но, знаешь, я уже на пределе... Ты должна прочитать мою книгу.

— В выходные.

— Увидишь, читается запросто. С легкой душой.

При последних словах я обернулся и глянул на психа, их произнесшего. Возраст определить невозможно, одет простачком, детская улыбка, пухлые щеки, светлые глаза — возненавидеть такого трудно, он не вызывал ничего, кроме легкого презрения.

Потом пришли американцы. Чувак, писавший книги с легкой душой, оказался журналистом, он держал микрофон, пока шизанутая напарница задавала вопросы. Ну точно как в дурной комедии:

— Кстати о Даноне... Профсоюзы, а также компартия объяснили сотрудникам, что те лишились мест из-за биржевых спекуляций. В подтексте — пенсионные фонды.

Какой-то парень быстро-быстро шепотом это перевел, а интервьюируемый ответил решительно, но беззлобно:

— This is a lie[1].

1. Это ложь (*англ.*).

Дамочка выслушала его с одобрением, шея у нее была дрябловатая, очки сидели на самом кончике носа, время от времени она заинтересованно гмыкала.

Американца прорвало:

– Выступать против глобализации глупо. Это все равно что говорить: "я против того, чтобы наступало утро" или "я против солнца".

Все засмеялись, испуганные и немного удивленные: оказывается, где-то еще существуют люди настолько наивные, что борются с очевидностью... Испуганные и восхищенные, что сами они такие добропорядочные, всепонимающие и покорные.

Если смотреть на мир из квартала, в котором мы находились, а в особенности из этого бара, какой и в самом деле смешной казалась ретроградская настороженность по отношению к совсем не такой уж скверной системе... Разве плохо мы тут сидим, разве не ограждены от неприятностей, не защищены надежно в нашем пятом округе!

Тип, с которым у меня была назначена встреча, возник передо мной совершенно неожиданно, извиняясь, что не смог принять меня в офисе: у них как раз ремонт... Я сказал:

– Напротив, здесь очень мило.

При этом мне хотелось повеситься или, лучше, лопнуть прямо тут на месте, чтоб их наконец хоть чем-нибудь да забрызгало.

Не знаю уж, от простуды или от торчалова, только говорил этот парень очень тихо и очень быстро, вынуждая наклоняться к нему через стол и напрягать слух. Кроме того, я отродясь не слышал, чтобы люди изъяснялись таким слогом – я как будто включил радио на волне "Франс культюр". А "Франс культюр" я не слушаю. То, что он там нашептывал, мне приходилось переводить про себя на обычный французский. Сдавалось мне, что все это фуфло, но окончательно я еще не разобрался.

Самое неприятное в общении с такими вот клиентами из пятого округа – хорошо одетыми, с хорошей зарплатой, хорошего роду и воспитания, образованными, на хорошей работе и прочее – то, что они убивают всякую веру в человечество. Когда чушь несет какой-нибудь ступ за стойкой парижского тотализатора, я могу вообразить, что, если бы им слегка заняться, он стал бы мыслить более четко. А эти из пятого округа подписывали моим иллюзиям смертный приговор. Они имели все возможности, но остались дубаками из дубаков.

Мы сидели в шикарном баре, где звуки приглушены, а незаметные официанты не оставляют вас своим вниманием и окурки в пепельнице не задерживаются более двух минут. Разительный контраст с Барбесом. Здесь каждая мелочь целенаправленно внушала вам: а вокруг – хоть потоп. Мы принадлежим той части мира, где все прочно стоит на своих местах. Той части мира, которая извлекает прибыль из хаоса.

В юности я и представить себе не мог, что буду когда-нибудь сидеть в подобном заведении, курить и помалкивать. Я верил железно, что пройду между струями дождя не замочившись, никогда ничего не попрошу и сотрудничать мне не понадобится. Но что-то дождь зарядил очень частый, и приходится лавировать, не то тебя вовсе смоет.

Мне особо выступать не пришлось, все время говорил он. Возможно, я был одним из немногих, перед кем он мог произнести спич. Держался он

со мной мило. Но был туповат. Это сказывалось даже в одежде: когда тратишь столько денег на шмотки, отчего бы не выбрать что-нибудь классное, он же имел жалкий вид. Он виновато объяснял, что и в самом деле ищет переводчиков, но условия рынка таковы, что издательство не может платить много, ему самому это неприятно, но поделать он ничего не может.

Может и еще как может, только вместе с коллегами он с таким усердием угождает начальству, что забывает думать. На все готов ради хозяйской похвалы... Приводным механизмом работы служит угроза увольнения, страх оказаться непригодным, выброшенным на улицу. Угроза изгнания — это такая неисчерпаемая жила: изгнание из шикарных кварталов, из центра города, из благополучной жизни, изгнание с территории, с предприятия, из квартиры, из банков, клиник, престижных школ, из гражданства, из молодости. Презрение к отторженным возникает не с бухты-барахты, оно инстинктивно поддерживается обществом и подсознательно нацелено на то, чтобы сделать оставшихся более послушными. Люди так боятся попасть в отщепенцы, что с отчаянным усердием предупреждают все желания хозяина. За ними уже не нужно следить, не нужно ими руководить, стимулировать их...

Домой я вернулся пешком в довольно-таки подавленном состоянии. Всякий раз, когда я начинал искать работу, на меня нападала тоска. И я сам до конца не понимал, то ли вправду существовали причины для раздражения, то ли я реально лоботряс и меня колбасит при одной мысли, что придется вкалывать.

Я перешагивал через бомжей, натыкался на женщин, сидящих на тротуаре с протянутой рукой и что-то гундосящих себе под нос, а потом на женщин, стоящих на тротуаре в ожидании клиентов.

Всю дорогу меня преследовала реклама, за сорок пять минут я нахлебался ее больше, нежели по телевизору: на улице программы не переключаешь. Роскошная волнующая реклама Диора: женщина в рамке выставила зад, ждет, чтобы ее взяли, изнасиловали, затрахали. Для пропаганды они используют собственных дочерей. Корректным считается именно это: всегда быть готовым к тому, чтобы тебя поимели.

Пройдясь по богатым кварталам, нетрудно убедиться: окружающее дерьмо уже никому не приносит пользы. Женщины закомплексованы, они стыдятся собственного тела, всегда недостаточно изящного, недостаточно молодого, недостаточно хорошо одетого. Угодливые газеты обеспокоены: дескать, эмансипация женщин сделала мужчин более изнеженными, менее мужественными. Ни намека, однако, на то, что мужчин кастрирует работа к ничьей уже выгоде.

Старый мир давно дал течь, они знают, что им суждено исчезнуть, и, коли так, желают исполнить это с размахом фараонов: чтоб все подчиненные сгинули вместе с ними. Они переписали историю, но из памяти у них не изгладились давние счеты к трудовому классу, столько раз едва не выбивавшему почву у них из-под ног. Теперь, когда их старый порядок уже не держится на плаву, они стремятся прихватить с собой на дно все, что могут, и ничего не оставить после себя.

* * *

У Сандры повсюду были включены радиоприемники и все на разных частотах. В гостиной я слышал, как пацаны базарят насчет хип-хопа, на

кухне звучал Лоран Вульзи[1], в ванной какие-то интеллектуалы умничали по поводу дерьмовой книжонки.

По вечерам Сандра промывала мне мозги. Она по складу чисто медсестра.

Мы с ней по-прежнему не спали. По иным ее прикидам я догадывался, что она не против. Но у меня как раз прошла охота. Может, оттого, что она не скрывала своей. Или, может, я боялся, как бы она не обнаружила, что я не кончаю. То-то бы она заинтересовалась. Достала бы свои гадальные карты, маятники, "И цзин"[2], книги по психологии, засыпала бы вопросами, словом, замучила бы.

Я ждал, что оно у меня все само пройдет. Мне казалось, что, пока я об этом не говорю, все еще может поправиться.

Кроме того, в глубине души я думал, что так даже и неплохо: Алискин фокус не повторится.

Сандра была истинной дочерью Евы: она всегда доискивалась причин, вытягивала секреты, хотела все разузнать. Полагала, что откровенным разговором можно излечить человека от страха, слабостей, неуверенности, надо только вникнуть. Я не слишком этому верил, но мне было приятно, что она регулярно копается в моей душе.

— Значит, твой отец ушел, когда тебе было двенадцать лет? Чертовски интересно! Понимаешь, получается, что теперь, с Нанси, ты можешь как бы прожить этот этап заново, что-то в себе разблокировать, снять отрицательные последствия.

Я не очень внимательно слушал, что она болтала. Просто приятно, когда тобой интересуются. И потом, мы выкуривали столько дряни, что на другой день я все равно не помнил, о чем говорилось накануне.

— Почему ты не пишешь? Психологический барьер?

— Никакого барьера. Это нормально, многие авторы годами созревали.

— Но надо же что-то делать. Не пишется — займись чем-нибудь еще. Если честно, мне с тобой ништяк, я рада, что ты здесь... Но нельзя же прожить всю жизнь на содержании у девиц!

— Пока есть желающие...

— А когда не будет?

— Черт, что ты привязалась? Не видишь разве, что вгоняешь меня в трабл?

С Сандрой оживало что-то давно забытое. Она была в чистом виде продуктом панковской аристократии: из простой семьи, всегда без гроша, всегда в погоне за работой, квартиры в поганых кварталах, однако ее ломало обратиться к человеку, который ей не нравился. А таких, которые ей не нравились, было полно. Подчиняясь суровому протоколу, она лопалась от злости, когда приходилось приспосабливаться ради поганых бабок. Она была наделена здоровым пофигизмом и достоинством старого пирата, прямоту считала делом чести. Слово держала, ходила с высоко поднятой головой, сохраняла верность в дружбе. Сбалансированное сочетание японской мужественности и викингской утонченности; во всяком деловом предложении она сразу видела его изнанку и непременно отпускала какую-нибудь остроту.

1. Лоран Вульзи — популярный французский шансонье.
2. "И цзин" — "Книга перемен", лежащая в основе древнекитайского искусства предсказаний.

Мы часто спорили о том, когда именно все покатилось под откос: после падения Стены, после появления CD, смерти Курта Кобейна или после Второй мировой войны... Наши мнения об истоках великого бардака не совпадали.

* * *

Однажды Алиса попросила меня взять Нанси на неделю, на время пасхальных каникул. Я ответил "без проблем" и поспешил домой предупредить Сандру.

Та аж подпрыгнула от восторга, поскольку давным-давно мечтала повидать малышку. Я же разволновался. С Нанси я привык общаться один на один, я боялся что-нибудь нарушить в наших отношениях, боялся оказаться не на высоте.

Я обошел квартиру, посмотрел на нее новым взглядом — скептическим: фигурка Восставшего из ада[1] на электрическом стуле, фотография Ричарда Керна[2] в рамке и еще какой-то связанной девицы, на полке книги Слокомба[3], Анни Спринкл[4], коллекция видеокассет "cannibale", стопка японских комиксов, на стенке — сцена из "Человека со шрамом"[5], когда его убивают... Все, что еще вчера казалось мне нормальным, теперь выглядело подозрительным.

Сандра угадала мои мысли и принялась запихивать всю эту фигню в шкаф. Потом решила прибраться и, как это часто бывает с женщинами, дошла до полного безумия... Терла кафель над раковиной зубной щеткой, обмакнутой в жавелевую воду, чтобы шовчики побелели, ушными палочками чистила стиральную машину... Я наблюдал за ней с недоумением. Потом взялась за дверные ручки и выключатели — в жизни не подумал бы, что их тоже моют.

* * *

Нанси была в восторге, когда я утром явился забрать ее на неделю "к себе". На станции "Барбес" она собрала все рекламки, которые там раздают, — в отличие от прочих граждан, она нисколько не чуралась контактов с арабами. Потом вступила в беседу с каким-то долговязым психом. Я в панике оттащил ее за руку. Я чувствовал себя так, словно волочу за собой атомную мини-бомбу, готовую взорваться на любом перекрестке. Вообразить Нанси одну в городе было сущей пыткой. А долго ли можно будет водить ее за ручку?

Район ей жутко понравился. На ходу она бросала беспокойные взгляды некоторым пацанам, и я стискивал зубы, видя, что пацаны отвечают ей такими же взглядами, я прекрасно понимал, о чем они думают и что бы с удовольствием сделали.

1. "Восставший из ада" — фильм К. Баркера (США, 1987).
2. Ричард Керн — американский фотограф, режиссер документальных фильмов, звезда андеграунда.
3. Ромен Слокомб — французский писатель, автор детективов и научно-фантастических книг.
4. Анни Спринкл — бывшая порнозвезда, "королева" постпорнмодернизма.
5. "Человек со шрамом" — фильм Бриана де Пальма (США, 1983).

Я принялся мечтать о мире, где живут одни эфебы, тихие ласковые юноши, интересующиеся только поэзией. Там бы мою девочку оставили в покое.

— Я хочу носить юбку, но у меня нет подходящей обуви. Купи мне сапоги, а?

— И не подумаю, ты и так хороша.

Она обошла квартиру, осталась довольна. Слишком быстро, на мой взгляд, нашла общий язык с Сандрой. Они уединились в комнате, как две кумушки. Потом Нанси вышла в туфлях на высоких каблуках, накрашенная, в очень короткой юбке и облегающем топе... Я сжал челюсти и едва сдержался, чтобы не влепить Сандре пощечину. Выражение моего лица ее насмешило:

— Что это с тобой?

А затем шепнула мне, пока Нанси вертелась перед зеркалом:

— Она напоминает тебе девочек, с которыми ты в свое время вел себя не так джентльменски, как тебе хотелось бы сегодня?

— Зачем ты это поощряешь?

— Ничего я не поощряю... она девочка, девочка. Понимаешь?

Чтобы окончательно отбить у меня аппетит, Нанси достала из сумки "Мулен Руж" и принялась танцевать.

Танцевала она обалденно. Это мне совершенно не нравилось.

"Хотите провести эту ночь со мной?"

Она кружилась и сияла. А я грустил, что не знал ее маленькой.

* * *

За всю неделю она больше ни разу не пыталась изображать перед нами дамочку. Словно бы испугавшись того, что́ открыла в себе в этот вечер, она спряталась в образ маленькой девочки. Это было ее прощание с детством. Последняя неделя детства.

Проснувшись чуть свет, она бежала в гостиную и ставила "Баффи". Когда я, проходя мимо, видел какой-нибудь отрывок, меня всякий раз ломало: рыжуха, затянутая в черный винил, попирала коленями закованного в цепи чувака и наносила ему ожоги спичками; кретин-панк пил "Jack Da", напевая мелодии Сида Вишеса; жуткие чудовища терроризировали героиню — двусмысленность сюжета сомнений не вызывала. Я с любопытством поглядывал на Нанси: что она из этого понимает? И уводил ее гулять.

По вечерам мы с Сандрой приходили в нервозное состояние: мы решили не курить травку при девочке, и ближе к ночи нас плющило пострашному. Мы начинали ее донимать: "Ты правда не устала?" или "Поздновато уже, пора тебе спать".

Я стремался Алискиной реакции, воображал, как она врывается к нам и устраивает скандал. Что в скандалах она сильна, я не сомневался.

И потом, если чего и не следовало делать на глазах у Нанси, так это торчать. Логично, в общем: в тринадцать лет я бы с ума сошел, если бы увидел, как мать дует косяк, а потом глупо смеется, развалившись перед телевизором. Я бы сгорел со стыда, меня бы стошнило от отвращения.

Общаясь с Нанси, я все пытался возродить в себе бывшего мальчишку.

Мне его чертовски не хватало. Не хватало его горячности, непосредственности, смешливости... Что-то тогдашнее угасло — я даже не знаю в точности когда; я оказался по другую сторону. Пропало воодушевление, душевный подъем, который я думал пронести через всю жизнь.

В четверг мы пошли все вместе к друзьям Сандры — предполагалось, там будет много детей.

Большой дом, очень милая публика, хотя и какая-то невыразительная. И кругом ребятня. Нанси отправилась к детям, а мы остались скучать со взрослыми. Когда мимо нас с воплями проносился ребенок, один из его родителей начинал орать, другой же знаками его успокаивал. Я с облегчением отметил, что старики теряются перед детьми так же, как и я. Выходило, дело не только в том, что я узнал ее слишком поздно.

Потом дети забились в кабинет и засели перед Интернетом. Время от времени они возникали, обычно по двое, приходили жаловаться к нашему столу. Не могли договориться, что именно делать в Интернете. Потом исчезали, появлялись другие, тоже оскорбленные, стояли возле нас две минуты, уходили.

У Нанси, видать, было все в порядке, мы ее часа два не видели. И вдруг послышались вопли, конкретные. Из кабинета, держась за голову, вылетел раскрасневшийся, зареванный пацан. За ним, повесив нос, шла Нанси, огорченная и готовая к тому, что ей сейчас влетит.

Она ему врезала. Не знаю уж почему. Он что-то сказал, ей не понравилось, и она его стукнула. Присутствующие уставились на меня, я сгорал со стыда; меня не удивляло, что у моей дочери трудный характер, но вот роль папаши, отправляющего правосудие, была мне в новинку.

Кто-то сокрушенно произнес "а еще девочка". Вместо того чтобы обрушиться на дочь, я обернулся, отыскал глазами говорившего и отыгрался на нем:

— Ну и что, что девочка? А если бы это сделал твой сын, лучше было бы, что ли?

Сандра меня поддержала:

— Да что вообще такое? Почему девочка должна сносить оскорбления, не реагировать?

Короче, мы в таком трогательном согласии испоганили им вечер. И сразу после этой сцены смылись.

В такси я старался изобразить строгость и неодобрение. Однако на моем лице, да и на лице Сандры, прочитывалось другое: прикольно все-таки, что она отколотила гадкого мальчишку. Он нам сразу не понравился. В итоге я произнес:

— Ну ты даешь, здорово ты ему вмазала... то есть вообще-то это плохо, понимаешь, ну нехорошо... но все равно ты здорово ему вмазала...

Я не мог скрыть, что целиком на ее стороне. Что разделяю ее гнев, понимаю чувство внутреннего дискомфорта, когда ты никого не устраиваешь.

Нанси долго донимала таксиста и заставила-таки его поставить скай-рок; мы возвратились в хорошем настроении: эдакая беспутная семейка.

Вечером, когда Нанси ушла спать, мы замастырили огромный джойнт, дабы компенсировать все недополученное за день, и Сандра, не отрывая глаз от телевизора, положила голову мне на плечо:

— Знаешь, из тебя клевый отец получается, просто потрясный.

Комплимент мне понравился. Впервые я, выслушав похвалу, не испытал ощущения, что всех надул. Роль отца мне удавалась. Возможно, у меня к этому талант.

Мне надо было в тот вечер обнять Сандру и поцеловать. Надо было следовать за ходом вещей. Но я воздержался. Как будто у меня вся жизнь впереди.

* * *

В конце недели Нанси убрала всех кукол и свои детские диски и подсела на металл. Мы не очень поняли, что происходит. От старшего брата одной подруги она услышала про "Watcha" и отыскала у Сандры диск. "Это хорошо?" — спросила она. "Дерьмо", — ответили мы, и она запала на него, еще не успев послушать.

Она позвонила подруге, чей брат:

— Слушай, спроси у брата, он знает "Pleymo"?

В ожидании ответа она придерживала трубку плечом и болтала с нами о том о сем, потом неожиданно прерывалась:

— Знает? Скажи, что у меня есть... Вау! Это отпад.

При этом она смотрела на себя в зеркало и принимала соблазнительные позы, отчего мне хотелось лечь и умереть.

Нанси слушала "Watcha" и "Pleymo" поочередно, подряд, беспрерывно и на полную громкость, как это теперь принято, и скакала по всей квартире, будто зацикленная мажоретка.

Как и многие ветераны, мы с Сандрой болезненно относились к музыке, которой увлекалась нынешняя молодежь. Мы обвиняли их в том же, в чем наши предшественники обвиняли нас: что у них извращенное восприятие, что все они кретины, что не знают главного, не присутствовали при самом важном. А оно, понятно, происходило тогда, когда нам было двадцать.

Металл раздражал нас еще больше, чем Бритни. Сандра не выдержала:

— Ты нас достала своим прыганьем с утра до ночи... Придется сводить тебя на "Kickback"[1].

Я вздрогнул и уставился на Сандру с негодованием, она меня успокоила:

— Это прослушивание, в "Черном шаре".

Что ж, если там соберутся только журналисты да избранная публика, будет обстановка как на джазовом концерте, чуть побольше шума. Это еще куда ни шло. Хорошо бы оно и впрямь выглядело пристойно, потому что Нанси уже было не остановить: при мысли о концерте она реально лезла на стенку от восторга.

— Ты никогда не была на концерте?

1. "Kickback" — "Откат", французская группа металлистов.

— В детстве я видела Элен, а еще "Spice Girls", Дженет Джексон и MC Солара[1].

— ОК. Пойдем на "Kickback".

Едва я взглянул на очередь перед входом, мне сделалось суперстремно, а Нанси принялась повторять:

— Это самый прекрасный день в моей жизни. Я вам буду вечно благодарна.

При этом она таращила восхищенные глаза и была похожа на белку в экстазе... Вокруг стояли двухметровые детины сплошь в татуировках и пирсинге, все в бесформенных джинсах, едва державшихся на ягодицах. Я злобно сдавил Сандре руку:

— Это ты называешь прослушиванием?

— Прямо не знаю, что сказать... Может, журналисты от металла бешеней других?

Я боялся, что Нанси улизнет и пойдет болтать с первым встречным. Но она спокойно стояла рядом, только глазища пялила. Нетрудно было догадаться, что она уже мысленно сочиняет версию, которую расскажет в школе, и высматривает детали для придания рассказу достоверности.

Начался концерт. Я напрягся, как всякий раз, когда попадаю на сейшн с гитарами. Я выискивал недостатки и недоверчиво косился на веселящихся. Однако знал по опыту, что правда всегда на стороне тех, кто отрывается.

Я усадил Нанси на стойку в глубине зала. Выпрямив спину, положив руки на колени, она сияла, завороженная обилием шума.

Я сделал ей знак, чтобы она ни с места, подумал, что Сандра все-таки рядом с ней, и пошел вперед, посмотреть, что там на подиуме. С намерением, понятно, поехидничать и позлословить.

Однако, подойдя ближе, я вынужден был признать, что оно катило. Что-то еще живо, порадовался я и ощутил боль, так как мне там не осталось места.

Зачем жизнь представляется нам такой захватывающей и волнующей, если потом все должно поблекнуть, скукожиться, утратить вкус?

На авансцене метались светящиеся парни, вмазывали кулаками по воздуху или по соседу и ногами то в пустоту, а то и по башке; яростная разрядка, лица перекошенные, сосредоточенные и счастливые.

Я держался в стороне и, прислонившись к стенке, наблюдал за происходящим с грустной улыбкой.

И вдруг увидел Нанси посреди этого мордобоя. Несколько секунд ушло на то, чтобы узнать ее и отреагировать. Еще несколько — чтобы добраться до нее сквозь махаловку. Я схватил ее, и тут только парни на сцене въехали, что она девочка и к тому же совсем еще маленькая. Они помогли мне оттащить ее в сторону. Детский сад им тут был не нужен.

Когда мы вылезли из пекла, Нанси бросила на меня счастливый взгляд, притянула к себе, чтобы я наклонился и лучше ее слышал, и проорала:

1. MC Солар — "король" французского рэпа.

— Я вся потная!

А то я не заметил: пот лил с нее градом, волосы слиплись. Еще она крикнула:

— Это самый прекрасный день в моей жизни!

И запрыгала на месте, подражая танцу, от которого я ее отвлек.

Запрещать ей трясти головой я не стал. Я отвернулся на тридцать секунд взглянуть на музыкантов — она снова исчезла и снова оказалась там. Я увидел, как она беснуется вместе с парнями, и на мгновение замер. На первый взгляд она ничем не выделялась и даже прекрасно вписывалась в их компанию, потому они и не привели ее сразу ко мне. Она лупила кулаками изо всех сил, исходила яростью, лицо ее непроизвольно перекашивалось. Она была моей крови. Я и не знал, что предрасположенность к озлоблению передается по наследству, как цвет глаз.

Я уволок ее в дальний угол зала. Мы нашли Сандру, она пила пиво и что-то орала долговязому татуированному кретину, с которым я ее видел на вечеринке.

Мы вышли на улицу. Нанси ликовала. Я объяснил ей:

— Ты не должна лезть вперед на таких концертах. Там рубка.

— Мне никто не сделал больно, и мне ни чуточки не страшно. Не забывай, я как Баффи. Там круто!

Взгляд ее витал где-то далеко, она воображала, что расскажет в школе, как будет кидать понты, и от этого приходила в экстаз.

Я уперся и продолжал выговаривать:

— Нет, вперед выходить очень опасно. Ты не должна этого делать, даже если будешь без нас. Слышишь?

Она не воспринимала мои слова всерьез, в тот вечер она открыла для себя что-то очень важное, и мне следовало понять, что ей необходимо прийти сюда еще раз.

— Потому что я еще мала? — спросила она со смехом.

— Потому что ты баба, черт побери. И нечего тебе там делать.

Мои слова произвели эффект пощечины. Она остановилась и уставилась на меня, потрясенная. Я сделал вид, что не заметил убийственного взгляда Сандры. Нанси выглядела совершенно несчастной. Я вздохнул:

— Все равно в следующий раз меня здесь с тобой не будет.

Откуда мне знать, как надо разговаривать с девочками.

* * *

Возвращая Нанси домой в конце недели, я несколько смягчился в отношении ее матери: каникулы прошли потрясно, да, но девчонка в доме — это атас. Я начал понимать, что Алиса не всегда справляется с ситуацией, а иногда и чувствует себя совершенно беспомощной. Она делала, что могла, вот и все.

После каникул она выглядела измученной. Я впервые был с ней искренне любезен:

— Если тебе что-нибудь нужно в другие дни, скажи, не стесняйся...

Она к такому не привыкла и послала меня подальше:

— Не бери в голову.

* * *

Так все и продолжалось до лета... Среды я проводил с Нанси. Она крепко запала на металл, Алиса винила в этом меня: "это она чтоб тебе понравиться", а я усматривал тут прекрасный повод начать слушать хорошие диски.

К моей радости, Нанси перестала одеваться как чучело.

Я сдал в срок два перевода, принес Сандре немного денег...

Понемногу начал забывать о Катрин, лишь иногда воспоминание выстреливало пронзительной болью.

Переспал с булочницей, кончить опять не смог, зато она проявила чудеса изобретательности, желая мне помочь. Я пришел к выводу, что так оно даже совсем неплохо...

Словом, до лета все складывалось тип-топ. А вот после пошел наворот.

Часть третья
На ковре-бомбомете

> Чрезмерно ли требовать от этой странной разновидности выброшенных на берег рыб, какой является род людской, чтобы они предусматривали немыслимое — для блага эволюции.
>
> Уильям Берроуз

В начале сентября я ждал Нанси у нее дома.

Лежал на спине, скрестив ноги на подлокотнике дивана, и в балконную дверь глядел на Эйфелеву башню. Она стояла прямая, четко вырисовываясь на фоне серого, исполосованного розовым неба. Я достал из пакетика два леденца-медвежонка, одного желтого, другого красного, их химические вкусы образовывали приятное сочетание.

Затем услышал, как грохнула дверь лифта, повернулся ключ в замочной скважине. Привычные звуки, приносящие успокоение. Я взглянул на часы — Нанси пришла рано, после школы нигде не задерживалась. Не меняя позы, я спросил:

— Ну как, старуха, все в порядке?

Она бросила портфель на пол, а пальто на диван. Плюхнулась в красное кресло у меня за спиной — так обычно садятся психари, — включила телик и вздохнула:

— Как бы я хотела иметь других родителей.

— Очень любезно. Тебя кто-нибудь обидел?

— Не повезло мне. Черная несправедливость.

Она пробубнила это на одной ноте и снова принялась вздыхать. Я выждал в надежде, что у нее пройдет. Потом, едва не свернув себе шею, изловчился и взглянул на ее физиономию. Мрачная. Мрачная реально. Нет, само не пройдет.

Она посмотрела на меня, нахмурилась:

— Ты стибрил у мамы траву.

— Во-первых, я ничего не тибрил. Во-вторых, у мамы нет травы. В-третьих, не надоело тебе злобствовать?

Нанси поднялась и изрекла:

— Ясное дело, дул. В коллеже, они когда обпыхаются, у них такие же глаза, как у тебя.

Я продолжил шутливым тоном в расчете, что подействует:

— А хамить не надоело?

Не помогло, она проскрежетала сквозь зубы:

— Кончайте держать меня за маленькую и делать всякую фигню за моей спиной, достали уже.

Летом она резко перескочила из детства в отрочество. В один вечер: ей все осточертело, мы все кретины, так продолжаться не может. Время она выбрала не самое удачное: мамашу кинул ее хахаль — понятно, депрессуха и все такое. Теперь я оставался с Нанси чаще, чем раньше, приходил вечерами. Парочке: мать на грани самоубийства и дочь на грани нервного срыва — моя никчемность могла пригодиться.

Я пошел на кухню к Нанси. В рекордно короткий срок она успела извлечь и вывалить на стол шоколадные муссы, плитки "Галак", вафли с малиной, печенье с орехами и "Баунти". Политику ее матери я тут совсем не понимал: зачем держать все это в доме, если девочка и так переедает? Но выговаривать Алисе не стал, ни про еду, ни про что другое — больно полоса для этого неподходящая.

За лето Алиса сильно изменилась, постарела лет на десять. Сникла вся, словно время и впрямь навалилось на нее своей тяжестью. Поначалу, узнав от Нанси, что мамашин дружок дал дёру с девчонкой из своей конторы, я только посмеялся. Но, увидев, как это рубануло Алису, смеяться перестал. Я всегда симпатизировал людям, у которых что-то не клеится. Это уравнивало меня с ними. Алиса же выплескивала свое раздражение на меня, и я поистине героическим усилием заставлял себя с ней любезничать. Сандра, правда, уверяла, что не такой уж скверный у Алисы характер, а все дело во мне, типа, что у меня проблемы с "материю". Оттого, дескать, что моя мать меня не любит, я переношу свою неприязнь к ней на мать Нанси. Когда Сандра внушала мне подобную фигню, я обычно молчал от неловкости за нее. Не знаю уж, имела ли эта мистико-психоаналитическая галиматья какой-нибудь смысл, только я нахлебывался дерьма всякий раз, когда проявлял внимание к Алисе; во мне ли было дело или в ней — но контакта у нас не возникало. На мой взгляд, проблема заключалась в том, что мы с ней никогда и словом бы не перемолвились, если бы нас не вынуждали к тому обстоятельства.

Нанси стояла набычившись: что-то задело ее очень глубоко. Наморщив лоб, она усердно пихала в себя сладости. Я подошел к ней сзади, положил ей руку на плечо, приготовясь к тому, что она меня отошьет: она только и делала, что всех отшивала. Но она меня не оттолкнула и даже не возражала, когда я, сев с ней рядом, притянул ее к себе. Я понял, что огорчение ее в самом деле велико. Она обвила меня руками за шею, приникла ко мне и заплакала. Это меня совсем подкосило: я никогда еще не видел, чтобы она плакала. Я не стал сразу приставать с расспросами, а обнял ее покрепче, погладил по волосам, приговаривая:

— Поплачь, это хорошо, выплачься...

Я заметил, что изо рта у нее на мой бежевый джемпер вытекла струйка шоколадной слюны. По природной дурости я рассмеялся.

Она разжала объятия, распрямилась, заправила прядку волос за ухо. Я сказал:

— Тебе идет, когда у тебя вот так блестят глаза. Ты красивая, и, надеюсь, ты это знаешь.

Она не удержалась и быстренько нагнулась взглянуть на себя в стекло духовки.

Я встал, протянул ей бумажную салфетку, чтобы вытерла глаза. Она уже взяла себя в руки, на лице ее гнев вытеснил печаль. С проворством, удивившим меня самого, я убрал со стола все сладости.

— Съешь яблоко на полдник, ужин будет не поздно.

Она метнула на меня уничтожающий взгляд, я хмыкнул:

— Ну-ну! Разве это я ною, что я толстый, всякий раз, когда ем пирожок... По мне, ты и так хороша.

Я постоянно осыпал ее комплиментами. Сандра внушила мне, что в отроческом возрасте ей это необходимо. Что ей требуется поддержка и комплименты нужны ей, как цветку вода.

Нанси недовольно хлюпнула, схватила яблоко, будто это граната и она собирается вынуть из нее чеку, и надкусила его... Я взял ее за руку и усадил рядом с собой:

— Скажи мне, что случилось?

Глаза ее затуманились слезами, я потер ей спину, забеспокоился: может, это из-за меня.

— Ты правда подумала, что я курил, и это тебя расстроило?

Она ответила упрямо и жестко:

— Ты наширялся. Но из-за этого я нюни распускать не стану.

— Даже если бы я курил, слово "наширяться" тут не подходит.

— У вас — не знаю... А теперь так говорят.

Я хмыкнул. Меня всегда смешило, когда она разговаривала со мной, как я в детстве со своими родителями. Она еще пыталась дуться, но, подкупленная моим чистосердечием, не смогла сдержать улыбки. Затем уселась ко мне на колени. Она уже стала великовата для моих колен, но регулярно это проделывала.

— Я серьезно, это несправедливо, что вы мои родители.

— И как ты пришла к такому выводу?

— За Одиль заехали в школу предки. Они меня подбросили, поскольку это по пути, и...

Она прикусила губу, чтобы не расплакаться снова.

— Осторожно, у тебя пузыри в носу. И что же родители Одиль? Они такие клевые, только и мечтают, чтобы она шаталась ночью по кабакам и приводила домой парней, покупают ей тяжелые наркотики пачками и требуют, чтобы в школах отменили математику?

Она раскачивалась взад и вперед, будто умом повредилась, и молча мотала головой. Я продолжил в том же духе:

— А если какой учитель осмелится сделать ей замечание, родители заявляются в коллеж и — ломом его. А когда едут отдыхать, непременно берут с собой диски Лила Бау Вау[1]...

Я понимал, что морочу ей голову пошлым юмором, пользуясь тем, что ей всего тринадцать лет. Я мог бы хоть весь вечер разглагольствовать

1. Лил Бау Вау — малолетний рэппер родом из штата Огайо, начал музыкальную карьеру в шесть лет, прославился в тринадцать, снимался в кино.

на тему "родители Одиль, они 'ой'[1]", но Нанси меня оборвала и, глядя прямо перед собой, произнесла тихим голосом, спокойно и отчетливо:

— У нее скоро будет сестричка. Они все ужасно рады. Сразу видно, они любят друг друга. У них нормальная семья. А у меня ее нет. Это несправедливо.

Такого я никак не ожидал. Я воображал, что она разыгрывает спектакль, потому что схлопотала пару. Или какой-нибудь парень не пожелал одолжить ей куртку, или еще не знаю что... Ее слова полоснули меня по сердцу, будто кто ножом саданул. Я гладил ее по спине, не находя, что сказать:

— Мне очень жаль, Нанси, очень жаль...

— Чего тебе жаль?

Она в ярости соскочила с моих колен. Настоящая маленькая женщина. Но это еще не все: передо мной стоял человек ожесточенный, и такой она останется на всю жизнь. Она закатила глаза:

— Ему жаль! Моя мать с ума сходит оттого, что ей уже скоро сорок, а жизнь не сложилась. По вечерам ножом режет себе запястья, точно молоденькая. Это ты знаешь? А теперь еще новое: высасывает бутылку виски, ночью я встаю и помогаю ей блевать, она ревет не переставая, сам видел, на что она стала похожа. Да ни на что... У меня мать — жалкая никчемная женщина, это смешно только в телевизионных комедиях. А ты, ты, конечно, очень мил, но у тебя даже дома нет, работы нет, подруги нет... и книгу свою ты никогда не напишешь, потому что ты неудачник; ты только десятилетним можешь показаться классным и прикольным. И кем я вырасту в такой компании? А? Неудачницей, да и только. Это несправедливо.

Она хлопнула дверью, ушла и закрылась у себя.

Я остался сидеть, вцепившись руками в стол. Меня подмывало пойти за ней и отлупить хорошенько. Войти к ней в комнату и врезать ей со всей силы. Но я понимал, что нас это никуда не продвинет. Что она права. Положение осложнялось. А в сложных положениях у меня всегда возникало лишь одно желание: послать все к такой-то матери и смыться.

Я слышал, как она рыдает у себя на кровати. Я уже и сам не знал, злюсь ли я на нее, презираю ли, сочувствую ли или мне вообще все это по диагонали...

В итоге принялся доставать посуду из машины.

* * *

Сандра была категорична:

— Ты должен ее поддержать. Она сейчас как бы переходит реку по острию бритвы. Твое дело поддержать, больше ты ей ничем помочь не можешь. Ты правильно отреагировал. Когда такое происходит, ты должен промолчать, успокоиться и потом ее поцеловать. Ты ее поцеловал?

Зажав во рту сигарету и сощурив глаза, она разбирала бумаги: одну стопку складывала на стуле, другую на столе, третью позади себя на полу — на выброс, бумаги последней категории предварительно рвала пополам.

1. Ой, панк/ой — одна из наиболее радикальных разновидностей пост-панка, зародившаяся в Англии на рубеже 70—80-х гг.

— Ну да, мне стало ее жалко, и я пошел ее утешать.

— А потом?

— Посмотрели "Баффи", послушали "System of a Dawn". Пришла Алиса, видела бы ты, как она изменилась... ё-моё, я и не думал, что этот хмырь так много для нее значит. Совсем другая женщина. Положительный момент: мне ее так жалко, что даже не тянет ее отдуплить.

— Я рада за тебя. А в остальном не парься, просто полоса такая. Перемелется. Что Нанси устраивает сцены — это нормально, гормоны играют. Но вообще-то ей есть с чего беситься.

— Ты видела, сегодня по кабельному опять "Киллера" крутят. Давай сварим макароны и посмотрим?

Она резкими движениями разорвала три страницы, сглотнула слюну и буркнула, не глядя на меня:

— Сегодня я ухожу.

— Опять к этому?

— Опять. С ним ничего, прикольно.

— Мне показалось, он полный кретин.

— В общем, нет. Он не похож на моих обычных хахалей. А учитывая, что я всегда лажаюсь, я подумала, может, не вредно попробовать.

Я принял это и на свой счет тоже: злится, стало быть, что мы ни разу не переспали. С бабами всегда так: если ты ее хочешь, она недовольна, дескать, ты только об одном и думаешь; если же ты об этом не думаешь, она, понятно, тоже недовольна.

Сандра встречалась с тем татуированным занудой, которого я уже видел. В первый раз, когда она не пришла ночевать, я воспринял это нормально. Типа, я либеральный, терпимый, уверенный в себе и не поддамся ревности, как дурак...

Во второй раз я не понял, зачем она к нему идет снова. Я его, конечно, не знал, но по ее же рассказам выходило, что он чувак гнилой, пусть с примочками, припанкованный, но все равно гнилой. И с ней обращался не так, как следовало. Не так, как обращался бы я, будь я на его месте, от которого, впрочем, сам же и отказался. И опять выходило, что во всем виноват я. И до чего же мне это обрыдло.

На третий вечер я вынужден был констатировать, что не люблю одиночества. Что мне оно дико не по кайфу. Что я ревную. Что меня плющит и я желаю, чтобы он сдох. И мы остались бы вдвоем.

Но жаловаться я, понятно, не мог и помалкивал в тряпочку.

* * *

Случаются недели, когда наваливается все сразу... На другой день я отправился на бульвар Сен-Жермен сдавать перевод. Мэйлов они не принимали. Дискеты тоже. Это издательство немного не догоняло в смысле Интернета, принтеров и прочего. Максимум, с чем они были знакомы, — ксерокопия.

От них заглянул в книжный магазин, болтался там довольно долго, подумывая, не украсть ли биографию Э. Бункера[1]. Но не стал, ушел.

1. Эдвард Бункер — американский писатель, известный своей скандальной биографией, неоднократно сидел в тюрьме за различные преступления, в том числе грабежи и убийство.

И встретил Катрин. За время, что мы не виделись, она превратилась в совсем другую женщину, хотя и очень похожую на прежнюю Катрин. Она коротко остригла волосы, символика образа "я освободилась от мужчины-угнетателя и стала эмансипированной" повергла меня в уныние, но я не подал виду. Прическа ей в общем-то шла, молодила ее, глаза казались больше. Она сильно похудела. Грудь у нее всегда была маленькая, бедра узкие — похудев, она стала плоской как доска. Тело пацана. Прежде она мне нравилась больше, но я опять же смолчал.

Чудно́ было ее видеть. Я давно уже перестал о ней думать и теперь испытывал странное ощущение. Мы чувствовали себя одновременно и стесненными, как чужие друг другу люди, и очень близкими.

Увидев меня, она не улыбнулась, но устремилась ко мне, как снаряд к мишени. Словно ждала этой встречи. Она не радовалась, не волновалась, она упорно шла к цели, а цель заключалась в том, чтобы выказать мне презрение.

Я предложил ей пойти выпить кофе в надежде, что она откажется, — уж больно неловко все складывалось. Она устало согласилась.

— Что новенького? — произнесла она с вызовом, выставив вперед маленький подбородок.

Сила ее ненависти меня потрясла. Я попробовал пошутить:

— Вау! Да ты меня все еще любишь!

— Поскольку ты меня не спрашиваешь, я сама тебе скажу, что у меня новенького: я стала начальницей отдела DVD в магазине "Вирджин", с Мартеном у нас все хорошо, и я жду ребенка.

А я и забыл, что ее дружка зовут Мартен, как Алисиного. Это меня развеселило. Я сказал:

— Поздравляю. Послушай, Катрин, перестань смотреть на меня так, будто собираешься плюнуть мне в лицо. Да, я оказался не на высоте, ты меня выставила, я, черт возьми, был хорошенько наказан... Неужели ты теперь всю жизнь будешь на меня злиться за то, что я страдал агорафобией, когда жил у тебя?

— Я вижу, какая у тебя агорафобия...

— У меня выбора не осталось. Ну и потом, я изменился. Знаешь, что со мной случилось?

Она покачала головой и презрительно сощурила глаза. Не припомню, чтобы меня еще кто-нибудь так ненавидел. Я подумал, что мой рассказ ее немного смягчит:

— Помнишь, ты нашла у меня в кармане визитную карточку?

— Помню ли я?

Голос звучал оскорбленно, будто все случилось вчера. Эта телка, оказывается, запала на меня так, как я и не подозревал.

— С этой девицей я не виделся тринадцать лет. Она кровь из носу хотела со мной поговорить, поэтому я и вышел. Я тебя не спрашиваю, помнишь ли ты, что я вышел... Так вот, она мне сообщила, что у нее от меня дочь.

Минут на пять Катрин перестала меня ненавидеть и мобилизовала всю свою энергию на то, чтобы въехать:

— Дочь?

— Зовут Нанси. Ей тринадцать лет. Так что, видишь, я тоже стал папой! И еще скажу тебе: здорово, что ты ждешь ребенка, это, знаешь, клево. То есть конкретно сейчас с Нанси не очень клево... Не знаю, как это

у тебя было, но сдается, девчонки часто бывают несносными в этом возрасте...

Катрин смотрела на меня широко открытыми глазами, полными недоверия:

— Это что, очередной бредовый вымысел?

— Нет. Мне нравится, что ты употребляешь слова нашего президента. Но это правда. А в остальном не беспокойся, я все так же нищ. Ну, работаю чуть-чуть... ничего потрясающего. У меня все равно уходит неделя на то, чтобы решиться войти в метро, я по-прежнему заглатываю все антидепрессанты, какие существуют, и впадаю иногда в чудно́е состояние...

— Почему ты мне не сказал?

Она была шокирована сильней, чем я, когда узнал про дочь. Я пожал плечами:

— Сам не знаю... В сущности, не было времени поговорить. Вечером я лег спать. А утром ты так рассвирепела, что я слова вставить не смог...

Катрин сильно побледнела. Я сообразил, что совершил чудовищную глупость. Она зарыдала:

— Почему, черт возьми, ты мне ничего не сказал? Я бы тебя не бросила... Я думала... я думала... Я бы не ушла, если бы ты сказал...

Она повторила это раз десять. Я стал ее успокаивать:

— Брось, не расстраивайся, все кончилось хорошо. Меня это подтолкнуло, как пинок под зад, ты нашла подходящего парня... Теперь ты ждешь ребенка, это здорово... Грустно, конечно, немного, но не с чего уж так горевать.

Я знал, что беременные, они все со странностями, поэтому не слишком волновался, и вдруг она завопила на все бистро:

— Да не люблю я его, твою мать! Если бы ты мне сказал, я бы осталась с тобой, я хотела ребенка от тебя!

Она кричала с такой страстью, что я не знал, куда деваться. Официант за стойкой улыбался во весь рот.

Я был совершенно обескуражен.

* * *

— И тебя это не удивляет?

— Она просто идиотка. Что за фигня: она тебя бросила, ни разу не позвонила, забеременела, а когда ты ее встречаешь, она, видите ли, рыдает, что не должна была от тебя уходить? Да это черт знает что...

Сандра развила бешеную деятельность: решила постирать шторы. Ходила от окна к окну с табуреткой в руках, отважно на нее взбиралась и снимала очередную занавеску. Я таскался за ней по пятам и стоял у нее за спиной, чтобы в случае чего поддержать. Насчет Катрин она завелась как следует:

— И вообще, если говорить откровенно, у нее кисель в коробке: ты вел себя с ней как последняя скотина, она от тебя ничего хорошего не видела... Что за блядские приступы мазохизма? Не понимаю...

Лично меня такой поворот событий только радовал. Давно уже ничего в моей жизни не волновало Сандру до такой степени. Мне приятно было воображать, будто ее раздражение вызвано страхом, что я вернусь к Катрин, то есть страхом меня потерять.

С тех пор как Сандра стала встречаться с татуированным, я все обдумал: нам надо быть вместе. Правда, я ничего конкретного не предпринимал и с Сандрой своими соображениями не делился. Но для себя я это четко сформулировал, что само по себе казалось мне шагом вперед. Она запихнула шторы в стиральную машину и повернулась ко мне:

— Ты все еще ее любишь?

Если она и волновалась, то отлично это скрывала. Я ответил:

— Нет. Сцена в баре меня огорчила, но... не потрясла. Знаешь, с мальчишескими чудачествами покончено. Чтобы я стал жить с бабой, беременной от другого, — нет уж! Даже если бы я ее обожал. Дудки! Следующего ребенка я сделаю нормально с женщиной, которая не будет ничего от меня скрывать, я хочу видеть, как он родится, и должен тебе сказать, что буду с удовольствием вставать ночью и давать ему соску.

Я, типа, раскручивал себя в глазах Сандры, на будущее. Она виду не подала, что ее это интересует.

Она собиралась на свидание со своим пирсингованным придурком. Я, как обычно, проводил ее шуткой:

— У него что, пирсинг на кончике члена?

— Отвяжись.

— Если нет, не понимаю, что ты в нем нашла.

— А с пирсингом понимаешь?

— Тьфу, не говори гадостей, меня сейчас стошнит.

Я остался дома один в отвратительном настроении.

* * *

По телевизору — ничего, я забил косяк: чтоб чем-нибудь себя заинтересовать, мне надо было хорошенько убиться. Как всегда по вечерам, набросал четкое расписание на завтрашний день. Составлять длинные перечни неотложных дел, насущных решений, необходимых звонков — это занятие меня успокаивало, даже если в конечном итоге я ничего из намеченного не выполнял. Как всегда по вечерам, я поклялся себе, что завтра примусь за роман. Когда забуреваешь, голова полнится мыслями, и я воображаю в подробностях, как завтра сяду за работу.

Туфта! Я гнил и выхода не видел.

Вдруг вспомнил о матери, и тут пошел чистый психодел. Дескать, срочно надо отвести к ней Нанси — мать должна увидеть ее перед смертью.

Мать родила меня в восемнадцать лет, и теперь ей не было еще и пятидесяти. Разумом я понимал, что в ближайшее время она вовсе не собирается нас покидать. Но в тот вечер я высадился на измену по полной. С маразмом пора было кончать.

Если разобраться, с Кэт все разрушилось по моей вине, раньше следовало въехать, что... она мне нужна. И что Сандра трахалась на стороне — тоже моя вина, надо было самому. Была частица моей вины и в том, что Алиска в свое время не попыталась мне написать или позвонить, ну, понятно, в общем... Последние месяцы я старался не вспоминать, но ведь я тогда факался со всеми герлами подряд и от Алисы этого не скрывал. Я не показывал ей, что нахожу ее соблазнительной, прикольной, трогательной. Доля ответственности лежит и на мне. Пустяк, конечно, в сравнении с тем, что сделала она... Но все-таки... Нищета-сука пресле-

довала меня неотступно, прилипла ко мне навечно, как ничто другое на свете, въелась, стала мной, и расставаться с ней я не желал. Только в конце концов она меня раздавит, расплющит и сама распластается на моем месте. А я так и не научился остерегаться ее, держаться от нее подальше.

Мучительные мысли роились у меня в голове, и тут зазвонил телефон; автоответчик был включен, я не стал подходить: скорее всего звонили не мне. Это оказалась Алиса, голос мрачный, заплетающийся от транков, перемешанных с алкоголем. Я снял трубку, она рыдала – ну полная непруха!

– Нанси у тебя?

– Ты думаешь, что говоришь?

– Полный кошмар, звонили из школы: ее выгнали. Продавала коноплю.

– Не реви так, это еще не... в общем, неприятно, конечно, но нельзя же так... Черт! Алиса, уже почти одиннадцать, почему ты звонишь только теперь?

Я разозлился, что она звонит так поздно, поскольку уже укурился и плохо соображал.

– Не хотела тебя зря беспокоить. Мы с ней разругались, и она ушла. Я больше не могу, Брюно.

– Ушла?

– Я выпила успокоительные, легла. Потом что-то меня разбудило, я зашла к ней в комнату, а ее нет.

– Ты ходила в полицию?

– Я только оттуда, но я больше не могу...

Я догадывался, к чему она клонит, и боялся это услышать, но и отвертеться не отвертишься. Я спросил:

– Ты хочешь, чтобы я приехал?

– Хорошо бы.

– Ловлю такси и еду.

* * *

Когда ты на Барбесе, слова "ловлю такси" следует понимать буквально. Тем более что я белый... Я дошел пешком до мэрии восемнадцатого округа, лихорадочно вглядываясь в проезжающие автомобили, в одном месте перебежал дорогу и уже вцепился в водителя, но получил традиционный ответ: у него кончается смена, и ему не по пути. На стоянке ждать пришлось недолго. Я сразу узнал женщину за рулем: она везла нас, когда я переезжал к Сандре. Тоска. А с другой стороны, забавно: редко случается встретить одного и того же водителя.

– Застава Шамперре.

– Как предпочитаете ехать?

– Давайте по Периферическому. Если это быстрей...

Лучше бы я ничего такого не произносил. Она восприняла мои слова конкретно; мне пришлось вцепиться в ручку над окном; я напрягся, не переставая твердить себе, что я мужчина и не к лицу мне просить миниатюрную женщину сбавить скорость.

Попробовал позвонить Сандре на мобильник: "Оставьте ваше сообщение". У меня сжалось сердце: предала, бросила, и она тоже. Я наго-

рил сообщение, резюмировал ситуацию. Они с Нанси изредка обменивались мэйлами — может, ей удастся что-нибудь узнать.

Таксистка обернулась ко мне, одновременно набирая скорость, а я еще крепче сжал ручку, с прискорбием сознавая бесполезность моих усилий.

— Девочка сбежала из дома? Сколько ей?

Малышка ее явно интересовала. Я предпочел бы молчаливого парижского шофера, который пассажиров своих в упор не видит. А тут пришлось отвечать; впрочем, я сохранил холодность:

— Тринадцать. Разругалась с матерью и ушла. Больше я пока сам ничего не знаю.

— Вы разошлись?

— Мы не сходились... то есть сходились, когда ее делали, но это делается быстро.

Она засмеялась, смех ни мужской, ни женский, а словно бы смех эльфа.

— Тринадцать лет — трудный возраст для девочки, — добавила она.

— Догадываюсь...

Нас обогнала гоночная машина с четырьмя отвязными юнцами; музон гремел у них на полную мощь, мчались, вероятно, со скоростью километров 400 и скользили по Периферическому бульвару, как по автодрому.

За окном с вызывающим идиотизмом мелькали эмблемы разных фирм. Я снова вспомнил Фицджеральда: "наши родители оставили нам искаженный мир".

Я злился на Нанси: думает только о себе, капризничает, мать изводит. Я еще не начал волноваться — ярость пересиливала.

Заметив, что меня не тянет на разговор, таксистка замолчала как раз когда мне захотелось ее послушать. Я спросил:

— Чудно́. Я уже ездил с вами, и вы уже говорили, что тринадцать лет — трудный возраст. У вас тут что-то личное?

Она протянула мне косячок, совсем маленький, незаметный. Я затянулся.

— Когда мне было тринадцать, родители надумали меня укротить. Мы жили уже здесь, во Франции, они чертовски хотели интегрироваться, а меня поместили в психарню. Чтоб мне голову в порядок привели. Они были достаточно продвинутыми и знали, что существует такая штука — психиатрия, но не смыслили в этом ни бум-бум. Полагаю, они рассчитывали, что мне вскроют череп и два-три нейрона поставят на место. Как запчасти в автомобиле. Номер не прошел. Психиатрия в Европе — это каменный век. Они пишут умные книги, а сами еще на том уровне, когда зубные врачи рвали зубы клещами... Только мозг — не зубы, его нельзя рвать не разобравшись, особенно клещами... Какую-то пользу я все-таки извлекла: повидала кучу сверстников. Получила пищу для размышлений...

Она охотно шла на разговор и, как это случается с иммигрантами, тянулась к правильной речи, умела построить фразу, подать ее с пафосом... Разве что гашиш мешал.

— Мозг в этом возрасте, — продолжила она, — очень хрупкий механизм. Все в становлении. Ты ничего не чувствуешь. Не чувствуешь боли, не ощущаешь повреждений. Может, тебе внутри уже все разбомбили, а ты думаешь, что оно идет путем. Сил-то избыток... А понимания —

ноль. Первый встречный дубак нагонит тебе ботвы и западает в голову надолго.

Я был удивлен таким поворотом разговора. И огорчен одновременно: гнев постепенно уступал место боли, волнению, растерянности. Но тут, по крайней мере, я ступал на привычную почву.

До заставы Шамперре оставалось недалеко. Я спросил:

— А что, по-вашему, делать нам, взрослым?

— Не суетиться... Во всяком случае, я никогда не видела, чтобы отбившегося от рук подростка удавалось усмирить дисциплиной. Можно отсрочить кризис, но все, подавленное силой, рано или поздно всплывет.

— Остановите у светофора.

Она остановилась, обернулась и посмотрела на меня в упор:

— Подростки, я думаю, похожи на большинство взрослых: они не знают, чего хотят, не умеют угадать, что для них хорошо. А хорошо для них то же, что и для взрослых: нужно им каждый день повторять, что их любят и им доверяют.

— Трудно доверять соплячке, которая сбегает из дома, стоит сказать ей слово поперек.

— Вы не хуже моего понимаете: проблема не в этом. Сейчас она одна на улице, ночью: как бы ни было плохо вам и вашей дамочке, в опасности-то она. Под угрозой ее жизнь. И успокаивать надо ее, успокаивать и еще раз успокаивать. Пока она не уразумеет, что напрасно впала в истерику. В противном случае она будет считать, что правильно поступила. Если вы ее сдадите на попечение властям, ну, любым, вы ей только подтвердите, что она не зря вам не доверяла. Или вы ее сломаете.

Неподалеку кучка проституток устроила скандал. Одни вопили на каком-то гортанном языке, по-видимому восточном, другие — на языке волоф[1]. Вряд ли они друг друга понимали, но орали с остервенением. Странная картина: изящные, хорошо причесанные дамочки в мини-юбках надсаживали глотки, как дикарки. Рук не распускали, только кричали.

Возле них остановилась полицейская машина, из нее вышли трое в форме: двое белых мужчин и одна черная женщина. Женщина встряла в самую гущу и, расставив руки, заорала с сильным мартиникским акцентом, перекрикивая их всех:

— Знаете что? Хватит, вы людям мешаете! Прекратите цирк, слышите? Невозможно уже! Решаем просто: африканки идут к Порт-Майо, восток остается на Шамперре.

Девицы постояли, покачали головами. Потом разошлись, черные в одну сторону, белые в другую.

— И чтоб вас больше слышно не было! — крикнула им вслед полисменша.

Я расплатился и поднялся к Алисе.

* * *

"Я не дерьмо собачье".

Это записка, которую Нанси оставила у себя на кровати. Округлый ученический почерк, синие чернила.

1. Волоф — одна из народностей, населяющих Сенегал.

Алиса вступила в довольно любопытную стадию зомбированности. Она ходила за мной по пятам поникшая и загробным голосом рассказывала без конца одно и то же:

– Она пришла из школы и сказала, что получила четырнадцать по грамматике. Довольная, веселая. А потом позвонили из школы и попросили меня прийти завтра утром. Оказывается, она уже не первый месяц сама расписывается в дневнике. Пререкается на уроках, плохие оценки по всем предметам, а теперь и того чище... Принесла в школу марихуану продать ее другой девочке... Что делать? Что делать?

– Ты не представляешь, куда она могла пойти?

Алиса хлюпала и мотала головой. Она напомнила мне мою мать, я представил себе, как та сидела одна по ночам, когда я сбегал из дома. А я считал, что правда на моей стороне, обида заслоняла все, и мое бессердечие казалось мне справедливым.

Ситуация между тем складывалась тупиковая. Я присел на кровать Нанси. Неподключенный телефон "Mickey", старая афиша "Spice Girls", коробка с "Баффи", кассеты "Звездных войн", Мадонны, книги Сабрины, "Гарри Поттер", сказки, прозрачная сумочка с облачками, набитая косметикой, в рамке с дельфинами – фотография матери, а рядом моя, лошадь для Барби, перчатки, кроссовки "Найк", духи "Лолита", старый-престарый плюшевый слон, открытый "Blink 182" на стопке дисков... Живущая здесь девочка была сейчас где-то на улице, одна.

Я гнал из головы все мысли о том, что может случиться с девчонкой ночью в Париже. И все же то и дело вспыхивали в голове картины: улыбчивые старички, эксцентричные соблазнители, банды юных кретинов, верзилы-вербовщики.

Обидно было, что она не позвонила мне. Что мы, оказывается, не так уж близки, и она не позвала меня, когда ее накрыло реально.

Почва ускользала у меня из-под ног. И постоянно вспоминалась мать. Дети для тебя – всё. Все силы – на них, все мысли – о них. А в результате сидишь тут совершенно беспомощный и ждешь. И ничего другого не остается, как только надеяться, что с ними ничего не случится.

* * *

– Я вспоминаю, какой я была, когда мы познакомились... Я совсем иного ждала от жизни. Но праздник обломился, и очень быстро. Понятно, все поехало после рождения Нанси... Я постоянно делала что-то не то. Я, как мадам Бовари, всю жизнь разочаровывалась, ожидала чего-то несбыточного, воображала там всякое... И вот имею... Я зла ей никогда не желала. Делала так, как мне казалось лучше.

Алиса легла на диван. Я нашел у нее диск Марвина Гея "What's going on" и слушал больше его, нежели ее.

Не нравилось мне, что она так обнажается, что ее повело на откровенности. Возникало ощущение, будто я подслушиваю то, что мне не надо слышать, пользуюсь тем, что она не в себе, и выведываю секреты. И так уже эта история с утаенной беременностью шарахнула меня необратимо. Девчонка, говорившая мне "люблю" в июне, в июле скрыла от меня дочь. Ни разу не позвонила, ни разу сердце у нее не екнуло. Оправившись от депрессухи, эта дамочка легко захлопнет дверь перед носом

такого ничтожества, как я. Еще и возненавидит меня за то, что слишком открылась.

Она печально улыбнулась, чем завершила в моей голове образ чахоточной больной, слабой, прозрачной, трогательно хрупкой.

— Если бы ты знал, сколько раз я хотела тебе позвонить... но тебя не было в справочниках, и вопрос решался сам собой. Я тебя любила... Когда Нанси была маленькой, я ей часто повторяла, что очень любила ее отца... А теперь она меня попрекает чуть ли не каждый день: я ей, видите ли, врала, я кретинка, что не разыскала тебя раньше... И наверное, она права. Но мне надо было выбирать между родительской поддержкой и твоей, я сделала, как мне казалось, разумный выбор.

Алиса говорила, говорила, пока не доходила до фразы, от которой ей хотелось плакать, тогда лицо ее морщилось, слезы подступали и выливались наружу.

Зазвонил мой мобильник, мы оба вздрогнули. Пока искал куртку, включился автоответчик.

Я напряг слух, надеялся услышать Нанси; мерзкий робот продлил напряжение: "память вашего телефона может сохранить еще. Не более. ЧЕТЫРЕХ. Сообщений", после чего раздался голос Сандры.

Я перезвонил ей, она спросила:

— Ты где?

Голос дрожал, но психика у нее была устроена, как моя: ощущение хаоса, неминуемой опасности автоматически запускало в ней некую программу действий в чрезвычайных ситуациях. Она была потрясена, но держалась хладнокровно. Я почувствовал, что ее ведет реально, и это меня поддержало. Она взяла все в свои руки:

— Я немедленно еду домой: кто знает, может, она пойдет к тебе.

— ОК. Я боюсь оставить Алису.

Алиса, услышав, что это не Нанси, расслабленно опустилась на диван. В душе я злился на нее: в такую минуту она оказалась дополнительной обузой. И говорила все о себе да о себе. В итоге я вынужден заботиться о ней вместо того, чтобы сесть в такси и объехать город. Она была нетранспортабельна, абсолютно никакая, живая рана. Короче, устроилась так, чтобы занимались опять-таки ею, она не умела реагировать иначе.

Сандра попыталась меня успокоить:

— Она мне рассказывала об одном мальчике, они встречаются уже некоторое время.

— Да? Почему же она мне ничего не говорила?

— Она полагает, что ты суперправильный в этом вопросе.

— Ты должна была мне рассказать.

— Чтобы ты ей мозги компостировал?

— Может, это было бы лучше.

— Он вроде бы с ней мил. Его зовут Саид... Саид и Нанси, прикольно, да?

— Обхохочешься. Где он живет?

— Она не говорила. Я только знаю, что он околачивался возле ее лицея.

— Карманник, стало быть. Ну успокоила...

— Знаешь, парень может воровать "роллексы" и быть при этом вполне симпатичным. А он вроде бы симпатичный... Ну, как она рассказывала.

Я тотчас вспомнил, сколько раз я слышал о "карусели", но раньше мне это было ни к чему.

Нашим детям достался искаженный мир.

Никто не учит их, как жить в мире, кишащем опасностями. О нем не говорят вслух, это совсем не то что выбирать между обувью "Puma" и "New Balances", шоколадом и оранжадом. Мир, к которому мы не готовим детей, поджидает их у порога.

* * *

Светало, Алису расплющило вчистую, она расклякла, под глазами нарисовались черные круги. Я сидел рядом в кресле и заглатывал кофе. Она не замолкала, что-то объясняла срывающимся голосом, изливала душу, жаловалась.

— Конечно же, я жалела, что она появилась на свет, — говорила Алиса с отсутствующим видом и почесывала шею. — Она мне это ставит в упрек, я отрицаю, но на самом деле, разумеется, жалела. Я была к этому не готова. Я еще до ее рождения поняла, что теперь я у родителей в руках и что все для меня кончено. При этом я ее действительно люблю. Без нее было бы еще хуже, она — все, что у меня есть... Но жизнь она мне испортила: я не могла спокойно работать, если трахалась, то так, чтобы она не слышала, я не могла уйти вечером, не могла предугадать, когда она заболеет, а это случалось всегда некстати... И, понятно, мне не нравится, что она взрослеет, напоминая мне ежеминутно о моем возрасте и о том, что у меня все уже позади и жизнь я свою прокакала... Но, черт побери, я хочу, чтобы она вернулась... Она — все, что у меня есть, понимаешь? Мне ничего не удалось, ничего, кроме нее.

Наверное, она ждала, что я скажу: "нет, нет", но у меня не было сил. Мне претила ее откровенность, получалось как в церкви: признал ошибку, и тебя, считай, простили. Достаточно поистязать себя и пробормотать слова сожаления.

Снова зазвонил мой мобильник, я подумал, что это Сандра, не спеша взял трубу, однако на ней высветился незнакомый номер, начинающийся на 02.

— Здравствуйте, это Брюно Мартен?

* * *

— Алло! Тьерри? Это Брюно. Я тебя разбудил?

— Видишь ли, я работаю допоздна, а сейчас еще нет шести. Ты правильно мыслишь — разбудил.

— Извини, пожалуйста, мне нужна машина, а из моих знакомых она есть только у тебя. Мне сейчас позвонили из Орлеанской полиции, там задержали мою дочь, мне надо поехать ее забрать.

Я заикался, адреналин разлился во мне, проникая повсюду — в пальцы, в горло, внутри меня прыгал какой-то бешеный комок, сбивал дыхание. Я испытывал невероятное облегчение: Нанси жива, мы знали, где она, улизнуть она не сможет, мы ее скоро увидим. Но более всего я сго-

рал от нетерпения, хотелось скорее прибыть на место, убедиться, что полицейские ее не обидели, поговорить с ней, быть с ней рядом...

Тьерри мгновенно проснулся, а я-то боялся, что он не поймет, уклонится, найдет предлог. Он был из того же материала, что и Сандра: трудности его вдохновляли. Я услышал, как он прорычал своей подружке: "заткнись!", а потом мне коротко:

— Выезжаю. Ты где?

— Если хочешь, поведет Сандра, тачку вернем к обеду.

— Я сам тебя отвезу. Я не за машину боюсь, просто так лучше — я поеду с тобой.

Радость захлестнула меня. Напряжение было слишком велико, оно прорвало защитную оболочку, я почувствовал себя обнаженным, я кожей касался мира со всем, что есть в нем доброго и злого. Ободряющие голоса друзей вытащили меня из кошмара, в который погрузила Алиса; она же не переставала стонать и заламывать руки из-за того, что Нанси сидела в участке и задержали ее в ворованном автомобиле.

Я мигом все сообразил:

— Значит так: я звоню Сандре, она будет ждать тебя у метро "Барбес" через десять минут. Идет? Потом вы звоните мне, и я спускаюсь с Алисой.

— Алиса тоже едет?

— Я не оформил отцовства, необходимо присутствие матери, чтобы ее выпустили.

Полушепотом я добавил:

— По правде говоря, можно было бы обойтись и без нее.

* * *

На автостраде Тьерри наверстал все свои прошлые грехи, все те случаи, когда его не было в нужную минуту, — он точно самолет вел. Мы поочередно вспоминали эпизоды, когда сами оказывались в участке.

Алиса и тут пыталась нам отравить жизнь:

— Ты как будто гордишься ею.

Сандра ее успокаивала:

— Она жива и здорова, а это самое главное, нет? Ничего страшного не случилось, в этом возрасте многого не догоняешь... Не стоит драматизировать.

Если честно, мы и в самом деле гордились ею, гордились, что она прошла этот путь. Это хорошо, что полиция научит ее врать, таиться, не доверять властям, презирать их втихомолку и, уставившись в пол, подавлять в себе ярость. Пусть знает, что в любую минуту какой-нибудь кретин может задержать тебя, оскорбить, наказать незаслуженно. Мы в полном их распоряжении. Я не радовался за нее, но и вправду гордился, что она не тряпка. Ну так пусть понимает, на чем оно держится и как устроен этот добрый старый мир.

Я был в отличном настроении. Мне нравилось, что мы мчимся на бешеной скорости, что с моей дочерью все в порядке, что со мной рядом Тьерри и Сандра и что случившееся одинаково подействовало на нас троих: напомнило непутевую юность, наши попытки пробить головой стену и последующие неудачи и наше вечное ха-тьфу.

Алиса нас проклинала, мы выступали против нее единым фронтом, стоило ей открыть рот. Но и она тоже невольно оказалась частью нашей компании, компании очумелых чудаков, взбудораженных проделкой несмышленой девчонки.

* * *

Я был потрясен, когда она вышла из участка с ордером в руках, с болтающимися шнурками и своими вещичками и, опустив голову, направилась к нам, как приговоренная к электрическому стулу.

В ту ночь я по-настоящему стал ее отцом. Беспокойство и наступившее затем облегчение пробили брешь в моей душе, и в эту брешь хлынула любовь, какой я никогда не испытывал, ни с чем не сравнимая по силе, неугасимая.

Алиса натянула на лицо маску тяжелобольной, она была неподражаема в этой роли. Облаченная в свое благородное страдание, она смотрела на Нанси с ужасом и укором. Какое-то мгновение они стояли друг против друга, потом Нанси взглянула на меня, и я распахнул объятия. Я молча прижал ее к себе, как прижал бы подругу. Почему я, такой понимающий с друзьями, не могу с пониманием относиться к ней? Только потому, что имею право наорать на нее и смешать с дерьмом?

В голове складывалась какая-то нелепая речь:

— Если тебе суждено через это пройти... что я могу тебе сказать? Я не стану любить тебя меньше. Я через это прошел, и теперь я на другой стороне. Я полз, обдирал морду об асфальт, натыкался на стены, но я это преодолел...

По крайней мере одно я умел, одному научила меня жизнь: прижимать к груди людей, когда им плохо, делать вид, что мне не страшно, что ничего особенного не происходит, стоять на ногах, когда рушится все вокруг, верить, что еще выкарабкаемся.

* * *

Домой мы возвращались в полном молчании. Дружка своего Нанси оставила в участке: ту машину вел он, и он взял все на себя. Или на него все повесили. Одна только Алиса не понимала, что Нанси встретится с ним, как только его выпустят, только Алиса предполагала поместить дочь в пансион и пинками под зад наставить на правильный путь. Мы трое молчали и старались как могли дать почувствовать Нанси, что не держим на нее зла, но перепугались сильно. И что, когда нужно, мы всегда будем с ней.

Тьерри отвез нас к Алисе. Мы пили кофе, вяло поглядывая в телевизор. Нанси не раскрывала рта. Только шепнула мне, чтобы я не оставлял ее наедине с матерью. Ей было стыдно, у нее наступила реакция, я никогда не видел ее такой притихшей.

Я пошел на кухню посмотреть, что делает Алиса. Вся сникшая, она стояла у окна. Услышав, что я вошел, повернула ко мне лишенное всякого выражения лицо и прошептала подавленно:

— Я жалею, что разыскала тебя и сказала о ее существовании. Твое появление не мешает ей идиотничать, не мешает меня добивать. Зато ты мешаешь мне воспитывать ее так, как я хочу. Я загнана в угол: с од-

ной стороны она меня судит, с другой — ты. Я в тисках. Я предпочла бы, чтобы тебя не было.

— И что бы ты делала?

— Я бы ее посадила под замок. Кажется, именно этого она и добивается — чтобы ее повязали. Я упрятала бы ее в клинику. Ей нужно быть под наблюдением. Но, полагаю, ты не согласен?

Я воздержался от ответа, опасаясь, что она закатит истерику, от чего никому лучше не станет. Я оставил при себе соображения типа "упрятать в клинику надо тебя". Алиса продолжила наступление:

— Тебе не придется иметь с ней дело каждый день. Жить в постоянном напряжении, вздрагивать всякий раз, когда звонит телефон, ждать, что она еще выкинет. Когда я подхожу к квартире и вставляю ключ в замок, у меня душа замирает, я не знаю, что я застану дома... Теперь еще буду бояться, что ее нет.

— Я могу взять ее к себе, если хочешь. На всю неделю и вообще... Я с удовольствием возьму ее к себе.

Алиса резко выпрямилась, я приготовился к порции оскорблений, однако в глазах ее блеснула заинтересованность:

— Ты это серьезно?

— Вполне... Я, знаешь, не так уж занят.

— Но твой образ жизни...

— Приспособлюсь...

Не скрою, я дико испугался того, что сам же и предложил.

Алиса что-то прикидывала в уме, в ней боролись уязвленность, интерес и недоверие.

Я вернулся в комнату, сел рядом с Сандрой, я бы с удовольствием заглотал два-три лексомила, но боялся, что вырублюсь, а мамаша за это время упечет куда-нибудь дочь. Нанси держалась поближе к нам и молчала, потрясенная тем, что ее не ругают. Завтра же я поговорю с ней серьезно... От этого разговора меня плющило заранее.

Мы сидели на диване и клевали носом. Я сказал Сандре:

— Тебя, может, ждут. Так иди, мы разберемся...

— Нет, меня больше никто не ждет.

Я взглянул на нее искоса, она почесывала себе бровь, приоткрыв рот, и смотрела в окно на крыши Парижа. Чувствуя, что я ожидаю пояснений, она шмыгнула носом и добавила:

— Достал он меня вчера. Лох он и есть лох.

Я испытал облегчение. В сущности, жизнь не так уж скверно устроена.

Зазвонил телефон. "Ты о чем?" — услышали мы заспанный голос Алисы. Уже в следующую секунду она очнулась, вскрикнула: "Во Всемирный торговый центр?" Потом она еще что-то бормотала, затем резко повесила трубку и вошла в гостиную. Лицо — бледнее прежнего. Я подумал сначала, что у нее проблемы на работе.

Алиса включила телевизор.

Искать нужный канал не пришлось. Горела первая башня. Комментаторы ахали и охали, и тут самолет врезался во вторую. Ну чисто кино: на переднем плане чувак с микрофоном пытается осмыслить, что произошло с первой, и пока он там разглагольствует, оно — шарах! — по второй. В эту минуту что-то изменилось в мире.

А потом они обе рухнули. У нас на глазах.

Алиса разрыдалась, непроизвольно. Рушился весь ее мир, рушился наглядно. Нанси обняла ее за плечи; девочку, кажется, тоже торкнуло, но не с такой силой. Просто она привыкла видеть, что старики не выдерживают этой жизни.

Сандра сжала мою руку. Мы думали с ней одно и то же. Говорить об этом здесь и сейчас не стоило. Нам было до ужаса, до боли страшно того, что может случиться дальше. Но все перекрывала радость, что старый мир разваливается ко всем чертям. Ничего хуже его лживой успокоенности наверняка не будет.

Мы все давно изнемогали. Задыхались. Стонали по углам: "Ничего не поделаешь, начальство велело", выли: "Ничего не поделаешь, такова система". Организовано отлично — саморегулирование на всех уровнях. Террор в чистом виде. Надежнейшая из тюрем, куда мы загнали себя сами, так что и надзирателей не требовалось. А малейший проблеск надежды немедленно гасился свинцовым колпаком.

Мы жили с холодным ужасом в сердце, нас заставили поверить, что ничего невозможно и не о чем мечтать. Отчаяние. Пустота. А если лучик надежды — его под свинцовый колпак.

Я смотрел, как Нанси обнимает мать, баюкает ее. Меня больше не пугало, что она поселится с нами. Мне не страшно было ехать с ней к Сандре и делать все, что от меня потребуется. Я принадлежал к числу людей неприспособленных, которые только в хаосе и обретают себя.

Что-то сломалось. Я взглянул на Нанси, мне было больно за нее. Нашим детям достался искаженный мир... Отпрыски богачей стебались, в ярости вытаптывая все вокруг.

Нанси ошарашенно смотрела на экран. В кои-то веки у нее было сосредоточенное лицо. Потом она сказала:

— Елки-палки, это ж в первый раз: что-то происходит реально и на моих глазах...

В воображении маячила война. Уже столько времени все вокруг сотрясалось, трещало по швам, катилось не туда. Отчетливо рисовались развалины, дым, засады, кровавые репрессии и прочая чертовщина по нарастающей. Все прежнее окажется в таком случае предвоенным периодом, и скоро трудно будет поверить, что мы в нем жили. Картина получалась возбуждающая и ужасная. Не глядя на Нанси, я протянул ей руку.

Я представил себе, что за морока воспитывать ее до двадцати лет. Бессонные ночи, непредвиденные выходки, дурные знакомства, вранье, сомнения, постоянное беспокойство...

— Знаешь, я чертовски рад, что ты со мной.

Надо радоваться тому, что в жизни есть что-то стоящее, и не бросаться им.

Герта Мюллер

Эссе. Рассказ

Перевод с немецкого и послесловие Марка Белорусца

Приспособленье тонких улиц

Речь на открытии Дней немецкой литературы в Клагенфурте 23 июня 2004 года

РАЗ в году в комнату заносили теленка и укладывали на диван.

На протяжении дня через каждые полтора часа моя бабушка говорила: "Облако тикает мне в голову". Одно с другим связано. В начале лета дед поехал на телеге к реке набрать песка. Он слишком долго простоял в холодной воде и уже на следующий день почувствовал режущую ломоту во всем теле, как будто даже дома о его плоть билась река, кружа в ледяных водоворотах. Дед почти не мог двигаться. Стоило ему шевельнуться, как тело словно разламывалось на куски. Врач в городе сказал, что нервы у деда в затылке окоченели от холода. От нервов, мол, мы все зависим, это такие нити, что тянутся от мизинца аж до малого пальца на ноге и делают нас гибкими. Нити в затылке удерживают нас и при ходьбе, без них мы бы свалились, как чурбаки.

Врач сделал деду на затылке операцию, она не удалась. Дед лежал как колода, когда его из больницы отослали умирать домой. Мне, ребенку, объяснили, что врач вместо того, чтобы нити в затылке связать, их все перерезал. С тех пор для меня слово "связывать" имеет большое значение. То, что суставы нас слушаются, не обходится без СВЯЗЫВАНИЯ, иначе мы свое тело не смогли бы отправить на ночь спать, а утром поднять для дня. Оно в нашем распоряжении, пока как следует связано. После — мы в его распоряжении.

© Herta Müller, 2004
© Марк Белорусец. Перевод, послесловие, 2004
Редакция благодарит Герту Мюллер, любезно предоставившую нам право на безвозмездную публикацию ее речи.

Умирать деда отослали до того, как я родилась, но он пролежал в постели до моих двенадцати лет. Лежание причиняло ему боль, оно было мучительным, кожа — как сплошная рана. Он лежал на трех надутых резиновых мешках. Один — поперек плеч, другой — на крестце, третий — под коленями. Для меня в детстве его стоны были чем-то таким же обыденным, как для других человеческая речь. Они являлись принадлежностью комнаты, где он лежал, будто голос был не его, а воздуха или мебели, стены, плафона или двери. Каждые полтора часа деда поднимали и клали на мешки чуть по-другому, слегка повернув на правый или на левый бок. Он весил немного, но для того, чтобы поднимать и перекладывать его двенадцать раз в сутки, это было немало.

Куда бы бабушка ни пошла — на двор, к соседям, на огород или в поле, — повсюду она двенадцать лет таскала с собой в сумке будильник. Сумка была сплетена из полосок черной и красной кожи, засаленных и обвисших от частого пользования. Сапожник трижды пришивал новые ручки, они протирались. Будильник в сумке звонил через каждые полтора часа, когда бабушке пора было поворачивать своего мужа. Заслышав звон, она все бросала и мчалась домой. Стоило ей немного опоздать, как страдалец кричал на нее, загнанную, что он не хочет кричать, но не кричать не может. А она кричала ему в ответ, что она не хотела опоздать, но иначе не могла. Двенадцать лет ее существованием и его умиранием дирижировал с полуторачасовым интервалом будильник, оберегая и подавляя.

А раз в году мой отец заносил новорожденного теленка в комнату деда и клал напротив кровати на диван, чтобы дед теленка мог видеть. Диван был обит зеленой тканью, разрисованной пионами. Теленок лежал на пионах в головах дивана, я садилась рядом на те же пионы, но в ногах. Страдалец, наверное, целых полчаса глядел неотрывно на теленка, будто считал на нем волоски. Меня он при этом вообще не замечал. И я больше поглядывала не на него, а на теленка и на пионы величиной с кулак. Многие совсем раскрылись, и внутри у них виднелась кудрявая желтая сердцевина. Иногда мой взгляд сталкивался со взглядом деда. Это походило на обмен ударами, смотреть прямо в глаза считалось недопустимым. Между нами, думается, недоставало близости, чтобы это вынести, чтобы увидеть друг друга насквозь. У страдальца в глазах горел восторг. Его взгляд, сверкающий нестерпимым голодом, был устремлен на теленка. Испытать ртом такой беспощадный голод невозможно. Ведь когда голоден рот, еды становится все меньше, съедаемое исчезает в глотке. Но когда голод в глазах, съедаемое, не уменьшаясь, торчит перед глазами. Поскольку съедаемое никак, ни на миллиграмм даже, не убывает, его становится тем больше, чем дольше едят голодными глазами. От разглядывания оно уродливо разбухает, восприятие соприкасается с материалом воспринимаемого объекта, и сам объект все больше отдается зрительному голоду. Страдалец домогался своей доли в этой свежей новорожденной телячьей плоти. Счастье не переполняло его, а охватывало и волочило за собой. У него было измочаленное счастьем лицо.

ОБЕРЕГАЕМОЕ и ПОДАВЛЯЕМОЕ, СЧАСТЬЕ и ИЗМОЧАЛЕННОЕ — какие слова здесь встречаются. Чего стоит их различие, если ситуация, в которой они возникают, делает их ОДНИМ-И-ТЕМ-ЖЕ.

Бабушка, конечно же, никогда не говорила: "Облако тикает мне в голову". Но когда я о ней пишу, она должна это сказать. Не ради меня сказать, а ради себя. Я должна для бабушки эти слова придумать — для того,

чтобы будильник занял у меня в тексте место, соответствующее по масштабу его месту в бабушкиной сумке из красных и черных полос кожи, КОЖИ ЖИЗНИ, хочется сказать. Чтобы этот будильник ПОДАВЛЯЛ и ОБЕРЕГАЛ, и, если мне удастся, нежно давил и уродливо оберегал. Чтобы словами коснуться лезвия бытия, бабушка должна сказать ВСЕРДЦЕЗВЕРЬ и добавить: "Твой всердцезверь — мышь". Она должна была стать бабушкой, запевающей себя до смерти, ибо никакая болезнь ей при смерти не поможет, не поможет и другая бабушка, что — придумано и это — замаливает себя до смерти.

Литература — слово пресное. Литературе я ни полслова не должна, все слова я должна самой себе. Себе одной, ведь это я хочу высказать то, что меня окружает.

Я написала некогда: "Где это место. За утром дня как не бывало. ...есть еще во мне одно слово, одно малое судорожное сказание. Замолвить надо еще за влагу в глазу.

Чтоб глаза я еще поднять могла, надо сказать, кто нам отягощает уста, кто умаляет слово, и его как не бывало".

Земляки из Баната, если можно их так назвать, окрестили меня осквернительницей родного гнезда, шлюхой и ведьмой. Румынская тайная полиция объявила меня врагом государства. С обеих сторон меня травили, и обе стороны трудились рука об руку, даже если они об этом не подозревали. Им ни к чему было сговариваться, ибо предпосылкой для них служило одно и то же: они ненавидят тех, кто будоражит их упорядоченный мир.

Обе эти атаки утвердили меня в мысли: нападая, они тем самым признают, что находят себя в моих текстах. И злобствуют оттого, что не хотят представлять себя такими, какие они есть, но будь они другими, где бы им взять столько ярости и злобы.

Со словами в тексте выходит так же, как с теленком на диване. Когда пишешь, этому сопричастен голод в глазах. Голод в глазах пожирает слова до тех пор, пока они не увеличатся. Голод и увеличение — это диктатура текста, только и всего. Вне текста слова противятся увеличению, вовне оно неуместно и даже неприлично. По ту сторону зрительного голода снова слова становятся обычными и уменьшаются до своей потребительской ценности, возвращаясь в нормальную жизнь непишущих людей. К счастью, происходит именно так, и для того, чтобы прожить день, мне постоянно нужны обычные слова, те, что остаются сами собой, увеличенных слов я бы просто не вынесла.

Когда сверкают осколки, возникает прерывистый блеск, и целокупным он никогда не станет. А когда мы останавливаемся на единичном и вдаемся в детали, целокупное предстоит нам в осколках. Оно себя само раскалывает, чтобы можно было его как следует разглядеть. А я раскалываю все это еще раз, но по-иному, чтобы суметь о нем написать. Чтобы оно обретало, приближаясь в слове, тот масштаб, к которому меня обязывают знакомые мне реальные персонажи. Между отношением к ним и отношением к слову определяется текст — пока он не придуман полностью и не сможет в какой-то степени соприкоснуться с тем, что происходило в действительности.

Куда отнести тиканье облака в голове, куда отнести теленка на диване, куда — бабушку, которая запела или замолила себя до смерти. Куда все же отнести эту потребность "...сказать, кто нам отягощает уста, кто умаляет слово, и его как не бывало". Это не имеет отношения ни к деревенской, ни

к государственной родине. Эти накопленные в зрительном голоде увеличения относятся только к тексту, он соорудил их, чтобы выполнять свою функцию. Тексту следует сочетать в себе уважение к действительности и пристрастие к мерцанию. Но одно без другого в действие не приведешь. Дальность действия текста возникает из удержания подлинно бывшего, а оно полноценно утверждается в тексте, когда, избавившись от масштаба один к одному и смешавшись с тем, что было придумано, включает в себя совершенно искусственную — ведь вся она на уловках — интимность и при чтении открывает ее снова для свободного доступа.

Голод в глазах подсовывает эту интимность словам, притягивая их как можно ближе, и близость относит прожитое дальше той дали, в которой оно переживалось. Только посредством придумывания можно пережитую действительность заставить вернуться к своей правде. К правде посредством близости, той близости, которую я задолжала реальным людям и предметам. Под близостью я имею в виду не единство взглядов, а кратчайшее расстояние. Как ни странно, однако чем короче расстояние, тем скорее, продвигаясь по нему, из центра сопричастности скатываешься к ее краям. В любом обозримом сообществе, будь то деревня или государство — а оба сами за собой наблюдают, — по вине зрительного голода в словах превращаешься из члена этого сообщества во врага. Я, во всяком случае, оказалась на краю вдвойне: на краю сопричастности моей деревенской родине и моей государственной родине. И это произошло несмотря на то, что зрительный голод в словах возникал не от высокомерности, а от внимательной любви.

Внимательная любовь виною тому, что мне пришлось сказать отцам отечества у себя на родине: вы при национал-социалистах сделали мою деревенскую родину преступной. Попав в шестнадцать лет в город, я прочитала стихотворения Пауля Целана и едва смогла их вынести. Потому что это выходило за пределы стихов. Читая их, я должна была сказать себе, что родилась в швабском мире Баната, что мой отец, дядя, соседи служили у Гитлера, когда он убивал родителей Целана. Целан бежал из Румынии еще и потому, что он боялся моего отца. Самоубийство Целана — конечный пункт этого бегства. Мне было стыдно перед этими стихами и хотелось извиниться за такого отца. Но можно ли извиниться перед стихами, да еще от имени некоего немецкого меньшинства, когда эти люди в шестидесятые, и семидесятые, и в последующие годы все так же пели: "Мы пойдем теперь на Англию"? Когда отец до раннего утра надирается на свадьбах, когда в пьяном виде из него лезет солдат СС на танке. Когда этот призрак с остекленелым взглядом и дергающимися коленями, сидя за мужским столом на свадьбе, меж бутылок и духовой музыки, снова рвется завоевывать. Когда, раскачиваясь, он горланит ту же песню и выводит: "...А-а-нглию", силясь попасть в такт, чтоб полной мерой насладиться. Мужское застолье, думала я, оно побывало на войне, эти орущие камраты вытолкнули Целана из жизни. Они со времен Гитлера умело чередовали облавную охоту с немецким хоровым пением. Уже тогда это не было всего лишь наивным распеваньем песенок, и немецкий островок посреди Румынии тогда не только тщеславился свастикой. Они переняли язык Гитлера, стали веселы и хамоваты. Они надеялись, что их кукурузные поля, шелковичные деревья, дома и кирхи объявят в один прекрасный день нацистской Германией, что война, которую ведет Гитлер, превратит их из немецкого меньшинства в господ этой земли.

Когда мой отец не пел, я хотела его любить. Мы часами ехали с ним в грузовике по слишком раздольным кукурузным полям. Шумел мотор, разговаривать было не о чем, мы сидели вплотную друг к другу и молчали, пока он в очередной раз не задирал меня, довольно хохоча, каким-нибудь нацистским словцом. Он полагал, что в этой одиночке на двоих здорово сострил. Отец вновь и вновь гасил мои порывы его любить, пока они совсем не пропали. Как только у меня возникало нежное чувство, он тут же старался вызвать отвращение к себе, и любовь, если она являлась, сразу стыдливо стушевывалась. Отец был мародером, отступив в мирную жизнь, он так и не нашел в ней места. Мародер, засевший у него в голове, подсказал мне, что необразованность и диктатура — сообщники. В условиях диктатуры, при которой я жила, это стало для меня предостережением. У него были заметны черты, повторявшиеся потом в социалистических функционерах.

В восемнадцать лет мой отец подался в СС. В 1971 году я — полурастерянная деревенская девочка-гимназистка — подалась в город, на асфальт. Я еще подумала: мне теперь восемнадцать, как ему тогда. На асфальте росли слухи, разрастались ложь, принуждение и страх, страх — в первую очередь. В этой стране все знали, что здесь диктатура вот уже тридцать лет. Раз мне исполнилось столько, сколько тогда моему отцу, я должна была себе сказать: теперь во мне повторяется юность моего отца, теперь от меня одной зависит, что я буду делать, а чего не буду. Сравнение с его юностью приводило к выводу: сохранять внутреннюю порядочность означает быть несостоятельной во внешнем мире. Повсюду задавали тон грязные безмозглые типы, преступники, клакеры. Любая карьера строилась на измывательстве над другими, то есть на лицемерии, слежке, доносах и притеснении. Я вынуждена была смириться с тем, что не способна ни на что, кроме отвращения к происходящему и ужаса, когда ломались те, кого я любила. У меня не было ни малейшей возможности причинить вред власть имущим, я могла единственное: не прекращать их осуждать и обосновывать свое отвращение. Себе я твердила: эта их государственная родина построена на неуважении к человеку, они планируют страх и созидают кладбища. Если человек не набрасывается на других, у него здесь никаких шансов. Всем, кого я уважаю, не позволено здесь ни на мгновение стать такими, какими я их на самом деле знаю. У меня и моих друзей господина украла не только фабрику и трамвай, она украла и наши квартиры, столы и стулья, подушки с кровати, столовые приборы, даже гребень, которым делают пробор в волосах. Все мерила поставлены здесь с ног на голову. Нас вынудили в этой стране заняться приспособленьем тонких улиц, потому что пути, которые нам еще открыты, пролегали исключительно через наши нервы.

Смертельная угроза вызывает смертельный страх, иначе и быть не может. Нашей второй природой стали нервные перегрузки, к этому тоже привыкаешь. И если снова вдруг возникает какая-то угроза, то чем отчетливее ее представляешь, тем больше ощущаешь себя как в вате. От непрерывного напряжения ты заторможен. Переутомление вызывает настороженность и неистовство, набитые до отказа ватой. Говорят, что вата не бесшумна, а безжалостна. Душевное равновесие достигается уравновешиванием брюзжания и принятия. Применение логики обессмысленно. Вещи упорядочивать больше не требуется. Голову просто от чего-то очищают, это что-то — вата. Освободившееся место снова заполняют ватой.

Изнутри берут немного, чтобы она снаружи лучше росла и проникала вовнутрь. Это странно, но в тебе происходит удвоение неистовством и равнодушием. Однако одно из состояний, как бы оно ни распространялось, для другого состояния недосягаемо. Тебе остается раздвоение, где ты теряешься. Доходит до того, что ветер в кустах акации, скрип лифта, щелчок выключателя становятся опасными шумами. То же относится к беззвучности, с которой поблескивают лужа на дороге и суп в тарелке.

Страха у меня больше не было, теперь я была у страха. Это худшая стадия, ибо первая остановка за страхом, наверное, заодно и последняя перед тем, как потеряешь разум. Голод в глазах деда становился моей повседневностью на городском асфальте. Этим голодом заряжались предметы, на которые мне приходилось внимательно смотреть, ведь я знала, зрительный голод в предметах их непредсказуемо увеличивает, чтобы мне незаметно было, как он меня пожирает. Я совершала внешние действия: три года подряд ходила утром на фабрику. Будильник фабрики тикал у меня в голове. Я не позволяла себе ни на минуту опоздать. Утренний затверженный ритм, в котором переставляются ноги, я поднимала голову и смотрела в небо между деревьев. Поскольку есть зрительный голод в словах, думала я, то на тонких улицах нужно не под ноги глядеть, а приглядывать за нервами. Когда я пишу про это, бабушкины будильниковые годы стоят за тремя моими фабричными. И текст получается такой:

> Мне тикает в голову облако то
> и город утром тихо присел по-жабьи
> перед пуговкой на моем пальто.

Приспособленье тонких улиц сказалось и на жизни моей матери. В семнадцать она была депортирована и провела пять лет на принудительных работах в лагере на территории нынешней Украины. Там свирепствовал дикий голод, несравнимый, в сущности, с нашим ежедневно укрощаемым голодом. Кроме того, страшный холод и армейская дисциплина. На глазах у матери такие же, как она, интернированные замерзали, умирали от голода и на принудработах. Я появилась на свет через три года после ее возвращения из лагеря, депортация еще сидела в ней и просочилась в мое детство. За столом, когда мне полагалось есть, она описывала устрашающий голод в России, пока любая еда не вставала мне поперек горла. Причесывая меня, она рассказывала, как в лагере стригли наголо, пока я не теряла право на собственные волосы. Когда мне надлежало вечером засыпать, она вспоминала промерзшую луну над степью, пока меня не пробирал холод под всеми одеялами, возле самой печки. Я и понятия не имела, о чем речь, но это только усиливало передававшийся мне страх. Такой лишенный какого-либо понятия страх безотчетно тревожит ребенка. Она же видела, что я не понимаю, но довольствовалась тем, что причиняет мне боль. Могла бы обождать, в семнадцать лет, в ее тогдашнем возрасте, я бы поняла, и обступавший меня страх не остался бы без всякого понятия. Однако потом мать уклонялась от моих расспросов и больше не упоминала о лагере. Свои тонкие улицы она приберегала для себя. С тех пор как у меня появились собственные тонкие улицы, она свою ушибленность избывала в повторяемых движениях, полагая, что я этого не замечаю.

Про приспособленье тонких улиц я знаю от одного человека, ее ровесника. Назову его Франц. Вместе с Францем я отправилась на Украи-

ну, в Донбасс, к тонким улицам. Города, в которых были трудовые лагеря, назывались Днепропетровск, Горловка, Донецк, Енакиево, Кривой Рог. Там в каждом парке стоит танк со Второй мировой, в центре каждого города — Ленин ростом с колокольню, там из-за угля и металлургии при солнечном свете темно как ночью, а вечером на небе светящиеся нити звезд вышивают не Большую и Малую Медведицу, как обычно, а Большой и Малый Танк. Если эта картина не подходит, то Большую и Малую Градирню. Везде пионы — в садах и на рынках в виде букетов. Пион — украинский цветок. Но посреди всех лениных и танков он кажется советским цветком, ошалелым от той победы. Будто война вчера окончилась или все еще длится, он цветет среди свежеподкрашенных военных машин. Уже десятки лет покраску регулярно подновляют. Всему, что из железа, на Украине пришел конец, везде — от водопроводных кранов до заводских силуэтов — одни проржавелые остовы. А военная машина вся сияет. Глянешь на нее и видишь: это сияет страх перед мирной жизнью. Страна, которой позволили покинуть советскую империю, через добрых шесть десятков лет после войны все еще — мародер победы. Трагедия этой столь необходимой победы над Гитлером в том, что из нее не посмели извлечь никакого урока и она для обычного человека не искупилась ни жизнью в качестве индивидуума, ни личным счастьем. Никто здесь так и не посмел сказать, что можно внешне победить и всю жизнь затем оставаться внутренне сломленным. Государство не спрашивало о том победителей. Оно добивалось истерических победных заклятий, но в дозволенных рамках и под надзором. За заклятиями оно скрывало репрессии. Если кто мародером быть не желал и сохранял в жизни хоть отчасти мирное штатское достоинство — того ждал ГУЛАГ. Издавна пионы — крестьянские цветы с ненавязчивым мягким запахом. Некогда я рассматривала их на зеленом диване, ища поддержки против того голода в глазах. Украинский пион подстерегал сам, ласково розовея или заржавело алея, он становился похож на военный снаряд, на ручную гранату. Духи и динамит — мне и в голову не приходило, что с пионом возможна такая ассоциация. Когда мы с Францем были на Украине, я в наших разговорах про приспособленье тонких улиц о пионе и словом не обмолвилась. Я рада, что пион его пощадил, не попался на глаза. Но он присутствовал во всем, что Франц рассказывал.

В 1945 году Францу было семнадцать лет. Буржуазная семья, отец — учитель черчения, коллекционировал рейсфедеры, в доме была даже рейсфедерная комната. Мать играла на гитаре, носила элегантные бальные платья и собирала кофейные чашечки с золотым ободком. Ни одного чемодана в хозяйстве. Когда Францу перед депортацией пришлось собирать вещи, он распотрошил патефон в устланном бархатом ящике и заткнул пробкой отверстие, куда вставлялась ручка для завода. Он поехал в лагерь с ящиком от патефона. Поехал в городском прадедовском пальто, в кожаных гамашах, одолженных у соседа, чтобы было тепло икрам. На шее бордовый, с матовым отливом, шелковый шарф в клетку, который он вскоре спустит за три ломтя хлеба. Весь этот маскарад, что в патефонном ящике и что на нем, окажется там, куда он попадет, всего лишь дурацкой импровизацией. Можно ли, собирая дома вещи в дорогу, представить себе пять лет в лагере? Как в панике последних минут размеренного бытия в маленьком городке подготовиться к тому, что твоя жизнь рухнет? Можно как угодно собираться в дорогу, но не запа-

сешься всем, что понадобится в нулевой точке существования. Франц и сегодня нежно называет хронический голод ГОЛОДОАНГЕЛОМ. А самую удобную угольную лопату, изогнутую и сходящуюся к концу острием, называет СЕРДЦЕЛОПАТКОЙ. Печи и градирни с белыми дымами над ними и пляшущими желтыми огнями, ставшие за пять лет привычными ориентирами для глаза, он называет SKYLINE и при этом сравнивает чуждость и покинутость, вывернутые в чувство родины, со страною детства, с очертаниями Карпат. В производимой строго по часам загрузке и разгрузке печи, в белых дымах и огненно-желтых вспышках была навязчиво повторяемая пунктуальность будильника в бабушкиной сумке. Расцветка неба подавляла и оберегала. Различие между ПОДАВЛЯЕМЫМ и ОБЕРЕГАЕМЫМ снова оказывалось стертым.

Франц на коксохимическом комбинате работал в подвале под печью и имел дело с холодными и горячими шлаками. Он рассказывал о смоле, пахнущей ванилью и бананами, о наволочках, которые он после смены по дороге от комбината к бараку набивал молодой лебедой. Эту сорную траву варили и ели, обильно посыпав солью. Соль достать было трудно, и стоила она целое состояние. Франц утверждал, что соль, как и сахар, обманывает голод. Когда он износил нательную рубаху, то нарезал из нее бумагу для туалета, когда износилась куртка, пошил из нее кепку. Кепку, тщательнейшим образом скроенную, с аккуратно закрепленным картонным козырьком. Она была образцом ручной работы, воплощением самоутверждения и достоинства, маленьким чудом, которым Франц гордился. Она свидетельствовала, что какие-то следы прежней жизни в нем еще не стерлись, что он не совсем забыл о цивилизации.

Я и депортацию Франца называю, когда пишу, "приспособленьем тонких улиц". Приспособленье – это использование против воли при отсутствии выбора. Улицы в таком тексте не могут быть ни узкими, ни неизвестными, а только – ТОНКИМИ, чтобы они надломились, не утруждая соответствующие слова. Франца в тексте следует называть не полумертвым от голода, а ЛОЖКОСГИБАТЕЛЕМ. Там, где реальность полностью разорвана, ее можно уловить, только напав на нее врасплох словом, которого она не ожидает:

Ложкосгибатель говорит
одетый в белое
лежит здесь снег
приспособленье тонких улиц
в наготе
кофейных чашек искривленье
или блюдец распотрошенный патефон
сердцелопатка с угольком
материал как знаешь на потом
подушкой у тебя под головой
была я ряженой в недальнюю дорогу
и ветер молодой а может старый голод
мне шапку рвал и гнул над головой
и сахар кусковой принес король с собой
орал молчал за ним пришел король
другой нес содрогание победы.

Большая черная ось

Рассказ

КОЛОДЕЦ не окно и не зеркало. Кто слишком долго глядит в колодец, часто заглядывается. Рядом с моим будто из глубины всплыло лицо деда. Между губами у него стояла вода.

Через колодец видно, как большая черная ось под деревней крутит годы. Кому болезнь однажды дошла до самых глаз и он заглянул хоть одним глазом в смерть, тот видел эту ось. Лицо у деда тяжелое и зеленое.

Мертвые крутят ось, как лошади — мельничные жернова, чтобы и мы поскорее умерли. Тогда мы поможем крутить ось. Ведь чем больше мертвых, тем безлюдней деревня и скорей идет время.

Край колодца был как шланг из зеленых мышей. Дед тихо вздохнул. К нему в щеку запрыгнула лягушка. Над моим лицом запрыгал легкими кругами висок деда, увлекая за собой вместе со вздохом дедовы волосы, лоб и губы. И мое лицо он увлекал к краю колодца.

На руку мне лег рукав дедового пиджака. Полдень цепенел за деревьями. По ним пробегала безветреная дрожь. И полуденный звон колокола над мостовой был из камня.

Мать, стоя в дверях, позвала обедать, у нее в волосах клубился пар. Отец зашел в ворота вместе с длинной тенью на песке и положил под дерево молот. А я вытаскивала ботинки из тени у моих ног и шла по булыжнику за нею вслед.

Дед рукавом пиджака затолкнул меня в полуоткрытую дверь кухни. Рукав был длинный и темный, как штанина. Я хотела рассмотреть на дне тарелки сквозь зеленые прожилки петрушки черную ось, которая под деревней крутит годы. Размякший листик петрушки прилип у матери к подбородку. Громко прихлебывая суп, она сказала: "Сегодня собаки в деревне лаяли, как с цепи сорвались". Отец указательным пальцем вылавливал у края тарелки затонувшего муравья. Взглянув на кончик его пальца, мать, будто к себе обращаясь, отметила: "Перчинка попала". Уже добравшись ложкой до кружочков жира в супе, отец тихо сказал: "В деревне цыгане. Они забирают сало, муку и яйца". Мать подмигнула правым глазом: "Детей тоже". Отец промолчал.

Дед, опустив лицо, выдвинул вперед свою темную длинную штанину и ложкой, зажатой в босой ступне, дотягивался почти до дна тарелки. "Цыгане — они египтяне, — произнес он, — тридцать лет им нужно скитаться, потом успокоятся". Я, глядя мимо него, сказала: "Тогда они помогут крутить ось". Отец отодвинул пустую тарелку и прищелкнул языком по дуплу в коренном зубе. "Цыгане сегодня вечером устраивают представление". А мать поставила пустую тарелку отца на дно моей.

На шее у деда выступила испарина. Воротник его рубашки изнутри был влажный и грязный.

За оконным стеклом, будто под водной гладью, возникло лицо соседки. Лоб у Лени пересекали две складки. Одну из них я знала. Она смахивала на веревку.

© Rotbuch Verlag, Berlin 1990

С весны отец Лени тоже помогал крутить большую черную ось под деревней. Дед успел еще к нему зайти в его последнее воскресенье — без пяти двенадцать, как после говорила моя мать.

Над двором нависали белые абрикосовые деревья, и бабочки-капустницы вились в воздухе. Дед пошел без пиджака, невзирая на воскресенье. На нем была белая рубашка. "А то еще заявлюсь туда весь в черном", — объяснил он мне.

Под белыми абрикосовыми деревьями я спросила у деда, дошла ли болезнь соседу до самых глаз и видит ли он ось под колодцем. Дед молча кивнул.

Тут же мне захотелось увидеть тот самый глаз. За два шага до дедовых воскресных ботинок я спросила: "Возьмешь меня с собой?" Дед остановился. "Во вторник ночью у Лени родился ребенок. Хочешь его увидеть, захвати для Лени цветы". Я посмотрела вокруг, минуя взглядом свой подол. В огороде нерешительно зеленел салат, перья лука высунулись трубками из-под земли. У пионов над листьями стояли коричневые бутоны с кожицей сверху, как на лунках ногтей. Дед потер темную штанину. "Не пойду с тобой, ничего не цветет еще", — сказала я, не сводя глаз с его руки.

Дед поднял руку над головой и пригнул самую дальнюю абрикосовую ветвь. Я отломила от нее две веточки. При ходьбе они веяли снегом мне на платье. "Одну я дам больному", — сказала я. Дед поглядывал за заборы. "Дашь цветы — значит отправишь его в могилу". Из травы я спросила: "Он что, смертельно болен?" От выходных ботинок деда я отставала на полшага. Вокруг подошв цвел хрен. От него шел горький запах, и в подарок он не годился.

"Не говорят: смертельно болен. Когда идут к больному, говорят: тяжело болен". Полуприкрыв глаза, дед прибавил: "Запомни это".

Сосед лежал, казалось, спал. Простыня ему закрывала даже рот. Она была белая и каменно твердая, как побеленный потолок в комнате. Лоб больного пропитался водой. Смерть была мокрой.

Дед сел перед кроватью на стул, он втянул под него свои выходные ботинки и голосом, будто тоже заболевшим, спросил: "Ну, как дела?" Дед прикрыл глаза, задавая этот короткий вопрос.

Больной открыл глаза. Они были большие и серые, колодца я не увидела. "Жизнь, Грегор, гадость, и ничего больше, — больной заговорил громко, почти крича, — пока молод, ты глуп как пень". Он перевел свои серые глаза на Лени.

Она прижала обе руки к губам, и абрикосовые ветки заснежили ей щеки. "Прекратишь ты наконец или нет", — выкрикнула она. У нее было юное и увядшее лицо. Мои ветки облетали над ее руками. Лени отвела от губ одну руку, ту, что сжимала ветки. "Врач сказал, что ему нельзя задумываться и нельзя разговаривать", — сказала Лени. Незаметно для себя она оторвала и другую, свободную руку от губ.

Дед затолкал ботинок под колено и сказал, не глядя на нее: "Как там ребенок?" Лени ответила: "Хорошо. Растет". "Растет, растет, как лягушонок, — сказал больной. — Вот вырастет и спросит тебя, кто его отец. А ты будешь стоять перед ним и хлопать глазами". Дед сунул руки в карманы брюк. "И без отца вырастет", — сообщил он своим выходным ботинкам. "Я скажу ему, когда спросит: твой отец был пьяница и бабник", — объявила Лени. Дед поднял голову, и глаза его встретились с глазами Ле-

ни. “У каждого бывают ошибки, — сказал он, — и каждый, кто делает ошибки, не может их не делать”.

Глядя на больного, Лени глядела щекой и ушной раковиной на меня: “Знаешь, аист принес мне маленького мальчика, маленького Франца. — На лбу у нее была складка, смахивающая на веревку. — Отца он еще не нашел”. Лени положила руку мне на затылок.

Дед поднялся. Стул шумно заскрипел. Больной высунул ногу из постели и будто проткнул ею потолок. Ступня ввалилась, сквозь впадину я видела снизу провалы его глаз.

В соседней комнате надрывался маленький Франц. Это был не плач, а крик высотой со стену в комнате.

А теперь Лени возникла за стеклом в окне. Между двумя складками на лбу год натянул кожу.

“Со вчерашнего вечера не могу найти мою рыжую курицу “, — проговорила Лени за стеклом. Мать открыла окно. Ее волосы выметнулись на улицу. Оконные створки над плечами были как два зеркала. Мать сказала: “В деревне цыгане”.

Дед оттолкнул пустую тарелку. Пробурчал: “С сегодняшнего утра, а не со вчерашнего вечера”. Лени посмотрелась в оконное зеркало и усмехнулась. Уголки рта сморщили ей щеки. “Говорят, та молодая, тощая, у нее еще платье с вырезом, играет Женевьеву”. Мать не успела вдохнуть и только пробормотала: “Кто там знает, где она его стянула”. Локти у нее елозили по подоконнику. А Лени глядела через плечо матери в оконное зеркало и говорила будто во сне: “Про платье — нам неизвестно. Но блохи у нее точно водятся”. Мать повернулась лицом к отцу и сказала со смехом: “Сверху красиво, а под низом паршиво”. Отец прикусил указательный палец. Лени хихикнула: “Сала ей захотелось. Я ее прогнала”.

Лени ушла, вместо нее в оконном зеркале встало облако. Мать повернулась к столу. “Аист все еще ищет отца для маленького Франца”, — сказала я и стала смотреть на улицу.

Отец пошел за молотом к дереву. Дед со сверкающей косой отправился следом за летом в клевер. Я видела, как ему под ноги валились травы, будто отяжелев и обессилев. В своей книжке я прочла: “Тогда в груди у королевы от злости сжалось сердце”.

Мать занесла синее ведро в хлев.

И тень она оставила позади себя.

И королева тотчас оставила все дела и велела позвать охотника. “Повелеваю тебе убить ее”, — сказала ему королева.

Мать вернулась из хлева с цепью.

Но у охотника было доброе сердце. Он принес королеве сердце молодой косули.

Мать громыхала цепью. Она помахивала ею, извивая вокруг округлых икр.

Сердце косули сочилось кровью.

Мать бросила цепь на землю у голых ног. “Порвалась. Отнеси к кузнецу, — велела она. — Вот деньги”.

Королева бросила сердце в соленую воду. Она велела сварить его и съела.

В одной руке я держала десятилеевую бумажку, в другой — цепь. Мать еще спросила: "Есть у тебя носовой платок? Прикрой глаза и не гляди на жар".

В воротах за моей спиной остался материнский рот, он мне кричал вдогонку: "Быстрей возвращайся. Скоро стемнеет. Корову пригонят".

Собаки коротко пролаяли мне вслед. У солнца была длинная борода. Борода развевалась и тянула солнце вниз к росткам кукурузы, под деревню. Солнечная борода пылала жаром. И жар пылал под кузнечными мехами.

Дед и кузнец вместе воевали. "Первая война — она была мировая, — говаривал дед. — Мы молодыми там мир повидали".

Огороды поднимались вверх. Тени удлинялись. Земли на огородах не было. Они состояли сплошь из кукурузы.

"Он глаз потерял не на войне, — как-то рассказал мне дед. — На войне умирают, и если уж умирают, то совсем. — У деда подрагивали усы. — Нет-нет, не под деревней, далеко отсюда, очень далеко, в далеком мире. Кто знает, где они крутят теперь большую черную ось. Он потерял свой глаз в кузнице. — И прибавил: — Уже зрелым человеком".

Кузнецу прыснуло в глаз огненным жаром. Глаз от жара разбух, посинел и стал как луковица. И кузнец, когда больше не смог терпеть эту глазную луковицу, она ему голову проела и все мозги, сам проколол ее иголкой. День и ночь луковица истекала черным, красным, синим и зеленым соком. Люди удивлялись, что в глазу, в самом взгляде, есть много разных цветов. Кузнец лежал в постели, взгляд разноцветно струился, и всякие люди его навещали, пока глаз не вытек и глазница не опустела.

Улицей едет трактор, он громыхает прямо под домами и тащит за собой борозды пыли. Тракториста зовут Ионель. Он даже летом носит на голове вязаную шапочку с большим помпоном. На пальце у него блестит широкое кольцо. Мать давно еще сказала: "Оно не из золота, сразу видно. — И повернулась к моей тетке: — Эта Лени дура. Зачем она связалась с трактористом? Все свои деньги он пропивает, а на нее ему начхать". Дядя между тем начищал ботинки. Поплевав на них и протирая со всей силы тряпкой, он вставил: "Валах останется валахом. Тут говорить не о чем". И покачал своей лысой головой. Тетка в ответ слегка приподняла плечи и пробормотала: "Совсем эта Лени об отце не думает. Хочет его в могилу свести".

На голове у Ионеля вздрагивал помпон. Ионель ехал и насвистывал на ходу, а трактор укатывал его песню в землю и в пыль. Пыль разъедала мне лицо. Песня, которую Ионель насвистывал, никак не кончалась, никак не укатывалась вконец. Она была длиннее улицы.

А луна на небе поначалу была только тенью луны, она была новой луной, той, что еще не взошла. Ее свет оставался где-то далеко в небе, как в мыслях. А солнце еще пламенело жаром.

Год тому на Пасху сидел дед за бутылкой вина в трактире, и кузнец с ним. Я стояла у стола возле дедова локтя, потому что после мы должны были идти в церковь. Выпив бутылку прозрачного шнапса, кузнец выкрикнул: "плен", и еще: "могилы героев". А дед сказал сквозь красные капли вина с краю стакана: "стратегия" и "Мостар", — и: "Вильгельм лежит в Мостаре".

По пути, когда мы шли через деревню, кузнец распевал "Палому". Его рука плясала в воздухе, и глаз плясал вместе с ней. Только пустой

глазнице не удавалось пуститься в пляс. Дед усмехался, потел и молчал от счастья. По его глазам было видно, что они глядят вспять на иные дни. Те дни сгрудились вместе, потому что уже находились под землей. Дед ступал осторожно, как на ходулях, и шел медленно.

Ионель свои борозды перебросил за деревню, за все крыши, и въехал за церковью в деревья.

Впереди меня шла регентша. Ее платье трепетало голубыми букетиками. Однажды на похоронах она во время отпевания рухнула на землю прямо у ног пастора. Из открытого рта повалил тертый хрен, пузырясь белой пеной, она стекала ей по шее за воротничок. Дед тогда расстегнул свой черный пиджак и шепнул мне на ухо: "У нее падучая. Сейчас пройдет".

Мельницу я видела трижды. Из них два раза — перевернутой вниз головой, раз — в пруду и раз — в облаках. Одно красное облако было королевой. Платье она расшила жаром. Из-под седых косм королева поглядывала на мою цепь.

За спиной у меня слышались шаги. Они раздавались под мостовой и за моими пятками выныривали из-под тротуара. Я не оглядывалась. Шаги были шире, чем у меня, и не такие частые. Когда агроном меня перегонял, цепь обвилась у него вокруг штанин. Я пробормотала что-то вроде приветствия, которое он, сверкая на ходу ботинками, не расслышал своими возвышенными белыми ушами.

На агрономе был светло-серый костюм в темноватый рубчик. На плечах этот рубчик становился крупнее и светлел, а на спине мельчал и темнел. Агроном летел следом за регентшей, темнея впереди рубчатой спиной. Он не касался мостовой, потому что держал путь по икрам регентши. Этот путь был бледен и овален и слишком сужался, когда агроном пытался идти по пятам. Он сорвался и не спешил больше вслед за трепещущим платьем. Ничего другого ему не оставалось, как вышагивать по мостовой пошире и пониже наравне со мной.

По другой стороне улицы шел почтальон. Козырек его фуражки был как крыша. Под ней виднелись корни его лица — усы. Рта я не видела.

Цепь громыхала у меня в подошвах. К кузнецу я не пошла. Я пошла к железнодорожной насыпи. Потому что из-за нее мне слышалась песня. Песня раздавалась в самой насыпи. Лилась она высоко и протяжно и, разливаясь, дотекала до деревни. И была она, эта песня, мягкой и печальной, как летний дождь, плывущий по земле.

Песня выплывала из скрипки. Струны были проводами, они тянулись вдоль деревни от одного телеграфного столба к другому. А мужской голос звучал глубоко, как из земли. Он пел про коней и про муки голода на больших дорогах.

Трава растет на насыпи возле рельс, где проносятся черные поезда. Напуганная ими, она дрожит, когда поезда уже давно в долине. Она дрожит даже перед поездами, что не ездят ночью и прибывают в деревню лишь на следующий день.

В траве, которая вечно дрожит, но чуть проезжает вместе с поездами, паслись кони. У одного в гриву были вплетены красные ленты. Кони поднимали костистые лица. "Тридцать лет им нужно скитаться, потом успокоятся". Кони у цыган тоже цыгане.

За насыпью стояли две цыганские повозки с поднятым закругленным верхом. У колес висели запыленные фонари с черными утонувшими в масле фитилями. Рядом с повозками стояли полукругом люди. У послед-

него ряда были штанины, икры, спины и головы. У предпоследнего — головы, шеи и плечи. А у первого — только волосы, шляпы и платки.

Перед людьми высилась матерчатая стена, то была театральная материя. Перед стеной располагалась сцена, а на сцене стоял охотник, одетый в зеленое. Охотник сказал: "Я герцогу всем сердцем предан". В руках он держал большое алое сердце.

Регентша задрала кверху подбородок. Ее рот был разинут. Она шевелила губами и хватала себя за волосы. Когда голос герцога достиг наибольшей силы, во рту у нее сверкнул зуб.

Певец вышел на сцену. Он прижал подбородок к скрипке, заиграл и запел: "Ты сыграй мне, цыган черный". У моей тетки увлажнились глаза, и палец она прижала к губам. Дядя выпустил кольцо седого дыма прямо ей в волосы. У него на лице ходили желваки.

Я положила цепь в траву, чтобы она не громыхнула в песню, и стала около полукруга, поближе к театральной стене. Агроном засунул руку в карман пиджака, его рука мне представилась рубчатой рыбой. Взгляд агронома скользил над скрипкой и мимо лица продавщицы упирался в шею регентши. Почтальон штанинами прикрывал ей икры.

Женевьева разглядывала в воде свое отражение. Вода застыла как зеркало в круглом жестяном тазу. Таз, оплетенный зелеными тополиными ветками, был лесным озером.

Женевьева закрыла глаза. Она сняла с пальца обручальное кольцо и, поглядев на своего ребенка, уронила кольцо в воду. После она сидела, склоненная над озером, и долго плакала.

Лени стояла во втором ряду возле материной портнихи. На портнихе было гороховое платье с белокружевным воротничком. Платья, которые она шила матери, у нее каждый раз выходили слишком тесными в груди. Они на матери скоро обвисали, вместе с платьями обвисали ее груди. Лени поглядывала в глубокий вырез платья Женевьевы. С тех пор как отец Лени крутил большую черную ось, она себя зачернила траурным платьем. Теребя пуговицы в трауре, Лени шептала на ухо портнихе. Уголком глаза она, минуя вырез, косилась на Ионеля. Шелковочерные уголки ее головного платка робко трогали белокружевной воротничок и пугливо отшатывались. Портниха кривила рот. Помпон на шапочке Ионеля раскачивался у кузнеца перед лицом.

Герцог наклонился над озером и опустил руки в воду. А кузнец смочил губы, приложив их к горлышку бутылки. Фуражка у почтальона сползла ему на глаза. Козырек проглотил лоб, а усы отъели рот.

Зажав в руке рыбу, герцог небольшим ножом вспарывал ей мягкое брюхо. Ручка у ножа была белой. В рыбьем брюхе нашлось кольцо герцогини.

Я услышала, как за насыпью гонят коров. Их мычанье тянулось через вечер, и было оно утомлено пастбищем. Цепь валялась рядом с чьим-то громадным ботинком. Вблизи почтальон кинул окурок, он светился как глаз.

Певец встал перед театральной стеной и прижал подбородок к скрипке. Играя на скрипке, рассказывал: "То было не алое сердце нашей добросердечной герцогини, а сердце собаки".

Почтальон сорвал с головы фуражку и ею размахивал. Лоб зализал ему волосы до самого затылка. Я махала носовым платком и приглядывала за платочным ветром, как он вздымает белое крыло.

Певец пел о прекрасных женщинах. Рот его ластился к скрипке. Кузнец поднес к губам бутылку и прикрыл свой разноцветно струящийся взгляд, тот, что еще не вытек. Он усмехался и отхлебывал. Помпон у Ионеля подмаргивал сладострастному голосу, и был он шерстяным глазом в пустой кузнецовой глазнице. Кузнец поднял руку и выкрикнул: "Спой нам 'Палому'". Певец перебренчал все струны, пока отыскал на губах и в пальцах песню. Мой дядя покачивал лысой головой и прихлопывал в ладоши. А тетка скрюченными пальцами дергала его за рукав и пришептывала: "Дурень ты, дурень".

Регентша мурлыкала куда-то в себя. Агроном подтанцовывал коленом, а Ионель — пальцем. Кузнец громко и хрипло подпевал. Со щеки у Лени свисала круглая слеза. Портниха оторвалась от Лениной слезы и зачернелости. Зеленая как горох, она кричала "браво" и радовалась белокружевным воротничком.

По сцене прошагал герцог, за ним — трое слуг, за слугами шел конь. Слуги выглядели постарше герцога и пониже ростом, а в конскую гриву были вплетены красные ленты. Ионель разглядывал конские ноги, его помпон гладил кузнеца по губам. А Лени жевала шелковый уголок головного платка.

"Ваша милость, — сказал самый старый слуга, — охотник признался, что Женевьева жива". Самый низкорослый поспешил к герцогу и указал рукой на кустарник. Портниха что-то шепнула на ухо Лени.

"Сон это или явь?" — вскричал герцог. Из кустарника поднялась Женевьева. Волосы у нее были черные и длинные. Концы их развились в ночь. А легкое платье выглядело совсем несмятым.

Она подбежала к герцогу, за ней бежал ее сын. Он держал в руке огромную бабочку. Бабочка вздрагивала от бега и была вся разноцветная. Когда ребенок остановился за спиной Женевьевы, герцог закричал: "Женевьева моя", а Женевьева закричала: "Зигфрид мой". Они обнялись, и бабочка уже не вздрагивала. Бабочка была не живая, а вырезанная из бумаги.

Почтальон укусил себя за корни лица. У него была одна губа и еще — зубы. И у зубов — острия. Регентша смеялась. Ее зубы пенились, белея тертым хреном. С плеча свисал голубой букетик и наклонялся к ее локтю.

Конь с красными лентами жевал траву на сцене. Зигфрид поднял ребенка к небу. Голые ножки болтались у него перед ртом, рот был открыт. "Сын мой", — сказал Зигфрид и разинул широко рот, будто собирался проглотить пальчики на ножках. А слугам герцог приказал: "Будем теперь праздновать. Пусть народ мой веселится и танцует". Он посадил Женевьеву вместе с сыном в седло. Конь переступал в траве копытами. Я знала, что он щипал вверху на насыпи траву, ту, что вечно дрожит и чуть проезжает вместе с поездами. "От этой травы ему придется вскоре уйти скитаться", — подумала я.

Женевьева помахала рукой, а ребенок — неживой бабочкой. Ионель помахал широким кольцом, почтальон — фуражкой, а кузнец — пустой бутылкой. Лени зачернила себя и потому ничем не махала. Портниха крикнула: "Браво". И агроном взмахнул рубчатым рукавом, а дядя выкрикнул: "Немецкие цыгане тоже немцы".

Цепь была черной, как трава. Я не могла ее разглядеть. Концы ее вместе с серединой ускользнули в ночь. Я натыкалась на цепь ногой, и она подавала голос, когда я махала носовым платком.

Певец вышел на сцену и взмахнул скрипкой. У него надрывался голос. Ночь углубляла тело его скрипки, и она откуда-то подо мной выпевала: "Когда судьба ко мне жестока, и кажется, что жизни больше нет, вдруг огонек засветит издалёка".

Регентша рыдала в измятый носовой платок. К певцу подошла девушка. В руках у нее был горящий фонарь, а в волосах — большая увядшая роза. Фонарь освещал голые плечи девушки, они были стеклянные и просвечивались. Глаза агронома соскальзывали с них, ему пришлось рубчато тесниться возле меня, подбираясь к сцене.

Певец запел о том, что мало еды и денег. Руки у девушки проблескивали гладкой кожей и лихорадочно звенели браслетами. Браслеты взвивались до локтей и спадали снова, искрясь и ломаясь. Фонарное пламя их сращивало, прокалив, горячим светом.

С черной шляпой в руках девушка переходила от глаз к глазам и от рук к рукам.

У моего дяди в последнем ряду вспыхнуло лицо, он высыпал в шляпу целую горсть монет. У регентши выпала из рук скомканная леевая бумажка. Фонарь окатил ей горло пламенем и, пока бумажка опускалась в шляпу, вымывал его из ночи.

На девушке был белый лифчик. Два овала смахивали на белки глаз, посреди них плавали в фонарных бликах круглые коричневые соски. Почтальон задержал руку над шляпой. Его усы вздрагивали, а глаза улеглись лепестками вокруг крохотной розовой завязи, увядшей в пупке девушки.

Рука у агронома дребезжала, будто застекленел на рукаве рубчик. Бедра девушки взбирались по агрономовой руке до подмышек, они колыхались, раздвигая бахрому ее юбки. Спинная серость агронома дергалась, а глаза вместе с глазами Ионеля протискивались к узкому шелковому треугольнику у девушки между бедер.

Ионель сверкнул кольцом над черной шляпой. Глаза у Лени стали большими, а уголки их — белыми и твердыми, как надгробия. У Ионеля глотка уперлась в нёбо и проступила на губах влага.

В шелковом треугольнике утонул мой взгляд. Мимо лихорадочных браслетов я кинула деньги в черную шляпу. Рука у меня испугалась, когда я увидела рядом со своими пальцами длинные черные волосы вокруг белого треугольника.

Лени взяла под руку портниху и направилась с ней к насыпи. Вместе с ними двигалась пустота под их платьями. Лени еще два раза оглянулась.

Ионель, насвистывая свою укатанную вконец песню, глядел сзади на девушку с шелковым треугольником. Регентша уже была на верху насыпи, ее платье едва засветилось и пропало. Агроном сунул руки в карманы. А девушка унесла шляпу за театральную стену. И Ионель пошел, насвистывая, к трактору.

Насыпь вверху высоко была черной, и черной внизу глубоко была трава. Цепь больше не лежала возле моих подошв. Я наклонилась. Сколько земли было перед моими глазами, столько раз я поворачивалась по кругу. Трава намокла, а мои руки — застыли. И цепь моя утопилась, зазмеилась к затаившимся невидимым змеям, уползла от меня на тридцать лет, ушла скитаться с цыганами.

Все ушли: и цепь, и кузнец, и мать, и деньги.

Театральная ткань топорщилась перед ветром. Цыганский костер алел, он полыхал, этот костер, как мое лицо, как мои глаза, как мой самому себе говорящий рот. И дым от костра был густой. Он заволакивал цыганские глаза, виски и руки. Дым ел цыганские волосы, спутывал их и вспучивал, как серое тесто. Я подставила себя дыму. Меня он не ел, он уносился в небо мелкими складками и распахнутыми веерами, в белом костюме и черных ботинках. И, не тронув, отправил меня домой.

Певец задавал лошадям корм. Конь с красными лентами в гриве уставился на луну.

Меня будто всю вылили, пока я шла к насыпи. На луне было пусто. А под насыпью сидела женщина. Блузка на ней темнела больше ночи, а юбки она широко раскинула. Из-под юбок журчало. Она белеющей рукой вырывала траву и стонала громко, как перед смертью. На насыпи стоял черный человек и смотрел прямо в небо. "Мы могли давно быть дома", — сказал он. И голос его был голосом моего дяди.

Несло тухлятиной. Моя тетка задрала юбки. Под черной блузой виднелось светлое пятно. Растянутое в ширину, оно было круглей, чем рядом две луны. Тетка подтиралась пучком травы. А дядя расхаживал по насыпи взад-вперед. Он на миг остановился и заорал: "Слушай, воняет как в хлеву".

От неба несло нечистотами. За моей спиной чернела насыпь, она стащила вниз небо и толкала его по рельсам впереди себя, будто черный поезд.

Пруд был мал и прикинулся зеркалом, но не смог отразить столько нечистот и столько ночи. Он так и застрял, ослепший, в лунном капкане.

Аист торчал перед мельницей. Его крыло было изгажено тьмой, а ногу загноил пруд.

Но шея осталась совсем белой. "Он, когда летит, умирает в воздухе. И что ни сделает — выходит плач", — мелькнуло у меня в голове. По пути я всюду видела мою цепь из темного воздуха и кричала: "Засунь свой клюв в нечистоты, иди ищи в тине отца маленькому Францу".

Густые деревья стояли вдоль улиц. За весну они выцветали. Когда наступало лето, листья на них краснели, а плоды не появлялись. Красные деревья не имели названий. Шелестели они глухо, и моей цепи здесь не могло быть.

За забором лаем надрывалось сердце собаки. А наверху среди красных крон коченело сердце молодой косули.

Окна в кузнице темнели, кузнец спал, и жар в горне спал. А многие окна светились и не спали.

Колодезный ворот замер. Колодец спал, и колодезная цепь спала. Блуждало в нечистотах облако. Оно скиталось в заснувшем небе и хохлилось у меня под горлом, в ботинках у него белел дикий хрен. Хохлилось рыжей Лениной курицей.

А за рыжей курицей клонилось с криком чье-то лицо: "Где цепь у тебя, где деньги?" Окно нашего дома отливало жаром.

Деревня обезлюдела. Обезлюдела вовсе, Грегор. Возле окна я прислушалась. Молчало радио. Кричала мать. Молчал отец.

А дед спал. Выспал Грегор сон и видел во сне, как лягушка мне запрыгивает в щеку.

И крутилась большая черная ось.

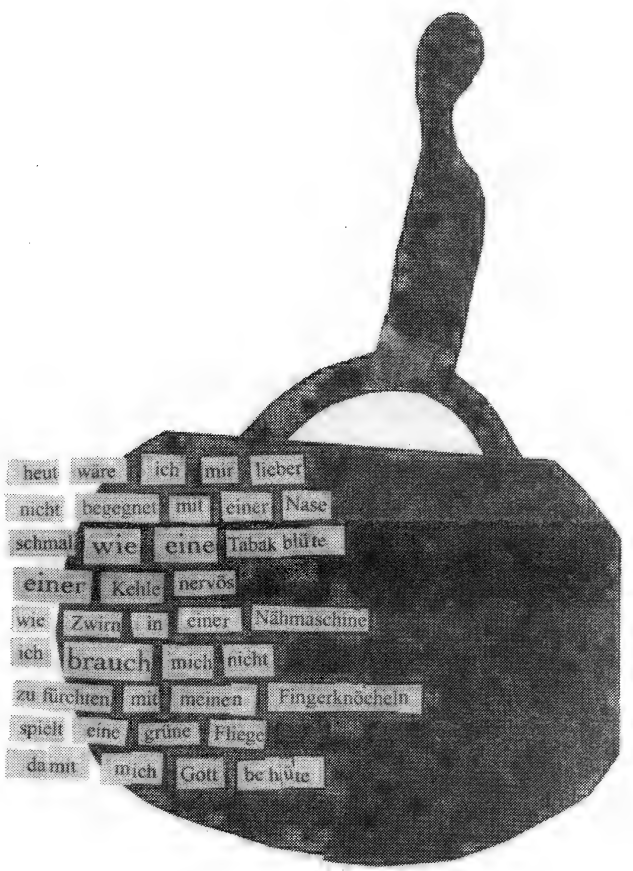
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Давид Самойлов

Герта Мюллер относит свои книги к разным жанрам. В подзаголовке ее первых книжек "Низины" (1982) и "Босоногий февраль" (1988), например, значится — "Рассказы"; "Лис тогда уже был охотником" и "Всердцезверь" — романы; "Голод и шелк" — эссе. Есть у нее помимо того сборники стихов-коллажей, где слова, вырезанные из разных немецких периодических изданий, "смонтированы" в стихотворения. Однако мне представляется, что Герта Мюллер пишет один, единый по существу, Текст. Я бы включил в него еще ее доклады и речи, в том числе и публикуемую в журнале речь на открытии Дней немецкой литературы в Клагенфурте.

Что объединяет столь разные литературные формы, совмещая их, пусть даже условно, в пространстве единого Текста?

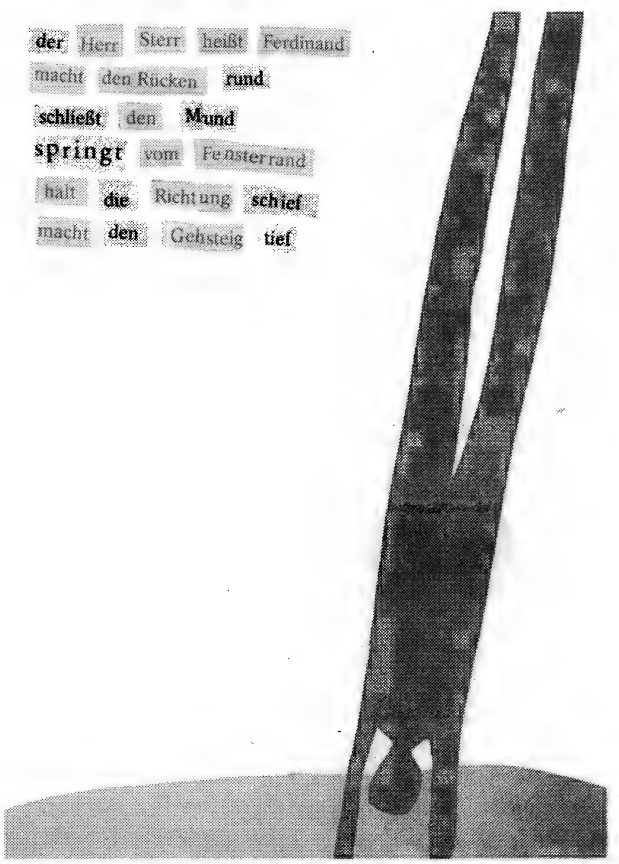
В одном из своих рассказов Герта Мюллер написала: "...я... сама о себе память..." Этот образ, думаю, определяет подход Герты Мюллер к писательству. Память говорит посредством писателя как больная совесть, писатель лишь является ее инструментом. У Герты Мюллер воспоминание становится материалом,



Стихи Герты Мюллер с ее иллюстрациями. Страницы из книги

тканевой основой всех произведений, становится художественным приемом, сгущающим все ее тексты в Текст. Клагенфуртская речь, скажем, начинается непосредственно с детского впечатления. Можно даже сказать, что воспоминания детства и юности здесь принимают форму речи, пронизывая ее, повторяясь в ней, задавая тон и расставляя смысловые и образные акценты. "Литературе я ни полслова не должна. Все слова я должна самой себе", — подчеркивает Герта Мюллер в том же выступлении. Чуть ниже она говорит о своем долге перед вспоминаемым, о "правде посредством близости, которую я задолжала реальным людям и предметам".

Долг памяти, который берет на себя Герта Мюллер, — это свидетельствование. "В плохие времена книги зачастую читают как свидетельства". В своем Тексте Герта Мюллер свидетельствует о существовании человека в условиях диктатуры, о человеческом ландшафте "при тоталитарном режиме", об испытании страхом, насилием, отчуждением. Куда бы она ни обращала взгляд, он неизменно возвращается к Румынии Чаушеску. Порою оказывается, правда, что их, этих Румыний, много: немецкая, венгерская, румынская Румыния, схожая с Румынией ГДР, где гробы на социалистическом новоязе назывались "земляной мебелью", весь соцлагерь и вообще весь мир, где человек заражен вирусом несвободы. Тем не менее за словом "Румыния" всегда следует слово "диктатура". Вот что говорит Герта Мюллер о своих стихах-коллажах, таких будто отдаленных от конкретной реальности и приближенных к стихотворениям любимого ею Хармса: "Во многих



Стихи Герты Мюллер с ее иллюстрациями. Страницы из книги

коллажах проступает Румыния и проступает диктатура. Пусть они больше не на переднем плане и не бросаются сразу в глаза, но в моих текстах они присутствуют, даже если тема иная".

Но в прозе тема у нее не иная. Впрочем, когда читаешь ее короткие ранние тексты, да и не очень короткие более поздние, закрадывается мысль, не стихи ли это, которым проще считать себя прозаическим повествованием.

"Я родилась в швабском мире Баната", — сообщает о себе в Клагенфуртской речи Герта Мюллер. Этот мир для нее — точка отсчета. Отсюда дыхание "почвы и судьбы" в Тексте. Путь жизни с поворотами и ухабами, участь и бытие неблизких близких, земляков, соседей, сломленные режимом судьбы и несломленное сопротивление "государственной родине" — все вспомнило и вобрало в себя пространство этого Текста. В нем расставлены вехи, и можно по ним идти.

Детство: маленькая девочка спешит по проселку в театр к цыганам. "И цыган издали человек", — говорили в деревне ("Король кланяется и убивает").

Следующий шаг "под деревьями, по асфальту" ("Ящерка") — университет в Тимишоаре, романская и германская филология.

Еще одна веха — учительница немецкого языка, переводчица на заводе, воспитательница в детском саду. "Несовпадение" с режимом, отказ сотрудничать с "органами" — нет для нее больше никакой работы.

"Найти бы для своего тела работу, но чтоб вначале идти через парк в утренних сумерках. А еще профессию для головы" ("Просто летом растет древесина").

Дальше допросы и филеры — это красиво называется политическими преследованиями. А нужно просто запугать, унизить, чтобы стала как все, загнать в рамки, где нет никакой возможности ни жить, ни писать. В безлюдном месте, предположим, спрашивают: "Сколько стоит с тобой?" ("Как проходят через замочную скважину").

"Кого спросить мне, когда и что сказал мой рот. <...> Нет здесь места, одно местожительство" ("Просто летом растет древесина").

Успех первого сборника рассказов у румынской и немецкой критики, затем эмиграция.

"Переступив через виноградные лозы, Карл покинул эту страну" ("Переступив через виноградные лозы").

Герта Мюллер, уехав, так и не смогла покинуть эту страну. Она в ней остается во всех ее книжках — вместе с облаками, деревьями, собаками, коровами, партфункционерами, диссидентами и почвой. Почва — "слишком раздольные кукурузные поля", и асфальт в Тимишоаре, и язык, на котором говорят в швабской деревне. Почва в книгах Герты Мюллер — язык, который их пишет.

В эссеистической книге "Король кланяется и убивает" — все тот же Текст, сложившийся из докладов на литературных конференциях и семинарах, — она пишет: "Но все диктатуры — правые или левые, атеистические или с Божьего благословения — берут язык к себе на службу".

Герта Мюллер тоже берет язык к себе на службу. Язык у нее равноправный соучастник повествования, из которого оно, как из почвы, произрастает и осуществляется. Осмелюсь отнести к языку ее текстов то определение, которое Пауль Целан дал языку поэзии: это "актуализированный язык", то есть язык того, кто ведет разговор "Здесь и Теперь", "с позиции собственной жизни", "и зачастую он [этот разговор] полон отчаяния". В языке Герты Мюллер — новизна детского восприятия слова, буквального и неожиданного. Мир, увиденный глазами ребенка, — не только в "Большой черной оси", во многих ее текстах. Но и зрение "взрослого автора" сохраняет жесткую пристальность детского взгляда.

На своем языке о языке своей "деревенской родины" Герта Мюллер рассказывает:

"Для большинства людей не существовало зазора между словом и [определяемым им] предметом, заглянув в который пришлось бы упереться взглядом в Ничто, словно соскальзывая из своего тела в пустоту" ("Король кланяется и убивает").

Образ у нее возникает из удивления, из невозможной возможности вспоминаемых словами смыслов — и здесь, на уровне языка, являет себя печальный абсурд бытия. В тексте становится тропом синтаксис, неровный, бегущий наперегонки ритм фраз творит тот мечущийся сумеречный свет, который даже при ярком солнце в "кадре" Герты Мюллер: "Край у облака вылинял. Нет больше ни дали, ни близи. Как нам соприкоснуться" ("Если бы я могла себя снести").

Из текстов, называемых рассказами и романами, этот язык перетекает в эссеистику, сближая ее с художественной прозой. Да и каким другим способом Герта Мюллер поясняла бы, как она пишет, почему она пишет именно так и именно так называет свои тексты.

"В каждом языке, то есть в каждом способе говорения, кроются другие глаза" ("Король кланяется и убивает").

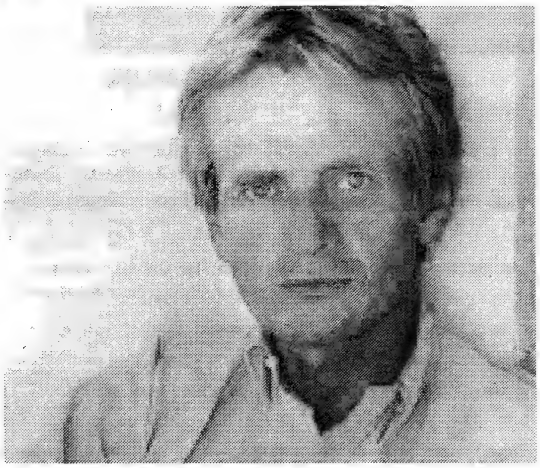
Как же такой текст соотносит себя с действительностью, даже если делает вид, что он — только эссе?

Герта Мюллер отвечает в Клагенфуртской речи: "Тексту следует сочетать в себе уважение к действительности и пристрастие к мерцанию". Совсем недавно она съездила с очень известным немецким поэтом старшего поколения Оскаром Пастиором, тоже эмигрантом из Румынии, на Украину, в Донбасс, куда Пастиор попал восемнадцатилетним мальчишкой сразу после войны и провел несколько лет в советских лагерях. Может быть, именно он назван в Клагенфуртской речи Францем? Но достоверно нам это неизвестно, и "пристрастие к мерцанию", возможно, возникает в "зазоре" между вымышленным именем и вероятным подлинным.

Следует, пожалуй, еще сказать, что творчество Герты Мюллер считается одним из самых значительных, признанных во всем мире явлений в современной немецкой литературе. Оно не обойдено пристальным вниманием критики и отмечено многочисленными литературными премиями, среди которых премии имени Генриха Клейста (1994), имени Франца Кафки (1999), имени Йозефа Брайтбаха (2003).

Но вернемся еще раз к "почве и судьбе". Опыт тоталитаризма, о котором пишет Герта Мюллер, это и наш опыт, тот опыт, о котором мы не успели, да и не смели забыть. Помимо уже упоминавшегося Хармса, помимо Венедикта Ерофеева (к роману "Лис тогда уже был охотником" эпиграф взят из поэмы "Москва—Петушки"), тогда в Тимишоаре в круг чтения Герты Мюллер и ее друзей, с ней вместе начинавших путь в литературу, входили Мандельштам и Цветаева и, думаю, еще многие из тех, которых читали, читаем и мы. Тех, что стали частью нашего мироощущения и миропознания. Таким образом, существует некий общий с Гертой Мюллер контекст памяти. Значит, она, Герта Мюллер, свидетельствует и за нас.

Брюс Чатвин



Утц

Роман

Перевод с английского и вступление Дм. Веденяпина

"Утц" — счастливая книга. Во всех отношениях. Во-первых, она получилась — состоялась как роман. Целиком: от "смешного" названия — до неожиданной "открытой" концовки. Во-вторых, внутри этой книги приятно-уютно находиться. В-третьих, это многоуровневое сочинение, причем некоторые из уровней возникли, подозреваю, помимо авторской воли. При всем многознании, таланте и писательской изощренности Брюса Чатвина конечный результат, как мне кажется, волшебнее замысла, и за время, прошедшее с момента написания, многоплановость книги стала только заметнее. Именно благодаря "неучтенным", *иным* смыслам книга живет и сегодня, на фоне совсем других исторических декораций.

Несмотря на изрядное количество "искусствоведческого" материала, книга на первый взгляд кажется простой, может быть, даже слишком простой и понятной: очередная история о нелегкой судьбе аристократического (к тому же с примесью еврейской крови) чудака-коллекционера, с грехом пополам выживающего при тоталитарных режимах. Не стоит обманываться. Очень скоро на вас (по крайней мере, так случилось со мной) — как из глубины зеркального стеллажа с Утцевой коллекцией мейсенского фарфора — начнут наплывать гораздо более загадочные и, если уж на то пошло, гораздо более захватывающие сюжеты. Прежде всего это, конечно, сюжет, связанный с самой Прагой и ее совершенно особым местом в Европе, с ее каббалистическим прошлым и интригующим настоящим. В том числе и с тем, которое Чатвин уже не увидел, — постсоветским, новым-старым настоящим, о котором, читая "Утца" сегодня, мы не можем не помнить. Затем, разумеется, тема големов. Не как одна из заявленных линий романа, а именно как тайная, возможно и для самого автора, музыка книги.

© The Legal and Personal Representative of Bruce Chatwin, 1988
© Дм. Веденяпин. Перевод, вступление, 2005

Уверен, что читатель по достоинству оценит "английский" юмор автора, его эрудицию и наблюдательность.

Для меня большая честь и большая радость впервые представить Брюса Чатвина российской читающей публике.

Посвящается Дайане Фиппс

За час до рассвета 7 марта 1974 года в Праге, в доме № 5 по Широкой улице, в своей квартире с видом на Еврейское кладбище, от второго, давно ожидаемого удара скончался Каспар Иоахим Утц.

Три дня спустя в 7.45 утра его друг, д-р Вацлав Орлик, зажав в кулаке семь гвоздик (от намеченных десяти пришлось, увы, отказаться по финансовым соображениям), стоял у костела Св. Сигизмунда в ожидании катафалка. Д-р Орлик с удовлетворением отмечал первые признаки весны. Над липами, в саду через дорогу, кружили галки с веточками в клювах, а с черепичной крыши соседнего с костелом жилого дома время от времени сходили маленькие снежные лавины.

К Орлику подошел какой-то длинноволосый седой человек в плаще.

– Вы играете на органе? – спросил он простуженным голосом.

– Боюсь, что нет, – признался Орлик.

– Я тоже, – вздохнул незнакомец.

В 7.57 утра тот же седовласый старичок отомкнул изнутри тяжелые барочные двери храма. Не глядя на Орлика, он взобрался на органные хоры и, устроившись посреди золоченых трубящих ангелов, заиграл похоронный марш, состоящий из двух торжественных аккордов, разученных им накануне, – местному органисту было лень вылезать из постели в такую рань, и он попросил об одолжении... сторожа.

В 8 часов утра катафалк, "татра-603", подъехал к храму. Чтобы не привлекать внимание граждан к ретроградным христианским обычаям, все ритуалы – будь то крещение, свадьба или отпевание – по распоряжению властей следовало завершать к 8.30. Из машины вылезли трое мужчин и, помогая друг другу, открыли заднюю дверцу.

Утц продумал собственные похороны до мельчайших подробностей. Дубовый гроб устилали белые гвоздики. Впрочем, всего предусмотреть он не мог: пошлая большевистская действительность все-таки вторглась в его замысел. На этот раз в виде плюхнутого сверху венка: красные пуансеттии, красные гладиолусы, красная атласная лента и окантовка из блестящих лавровых листьев. К венку была приложена открытка с соболезнованиями (кому?) от лица директора и работников музея "Рудольфинум". Орлик добавил свое скромное подношение.

Вторая "татра" доставила еще трех сотрудников похоронного бюро. Все они теснились на переднем сиденье рядом с шофером. Сзади в полном одиночестве сидела женщина в черном и с черной вуалью, намокшей от слез. Поскольку никто из мужчин не выказал намерения ей помочь, она сама распахнула дверцу и, шатаясь от горя, почти рухнула на скользкие от тающего снега булыжники мостовой. Видимо, из-за больных ступней, ее туфли были надрезаны с боков.

Узнав в женщине верную домработницу Утца Марту, Орлик поспешил ей на помощь – и она, привалившись к его плечу, позволила себя

эскортировать. Но когда он попытался взять у нее сумку из искусственной коричневой кожи, она резко рванула ее на себя.

Сотрудники похоронного бюро — в каковой роли эти люди выступали днем (в ночную смену подрабатывая на фабрике резиновых изделий), — водрузив гроб на плечи, двинулись по центральному проходу под музыку, напомнившую Орлику топот солдат на параде.

На полпути к алтарю процессия столкнулась с уборщицей, вооруженной ведром, куском мыла и щеткой. Она терла вделанную в пол многоцветную мозаику: фамильный герб Рожмберков.

Начальник похоронной бригады вежливо попросил женщину посторониться. Уборщица бросила на него злобный взгляд и не сдвинулась с места. В результате им пришлось повернуть налево между двумя рядами скамей, затем направо в боковой проход и снова направо, мимо кафедры. Наконец, они достигли алтаря, где, нервно покусывая ногти, их ожидал моложавого вида священник в стихаре, испачканном евхаристическим вином.

"Похоронщики" почтительно опустили гроб и затем, привлеченные запахом горячего хлеба, долетавшим из близлежащей пекарни, отправились завтракать. На отпевании остались только Орлик и верная Марта.

Священник отбарабанил положенные молитвы так, словно это скороговорки, время от времени поднимая взор на фреску, изображавшую райские кущи. После прославления души усопшего произошла десятиминутная заминка, вызванная отсутствием сотрудников похоронного бюро, вернувшихся лишь в 8.26.

На кладбище, где почти уже растаял снег, священник, несмотря на толстое шерстяное пальто, сразу же затрясся от холода. Едва гроб опустили в могилу, он принялся подталкивать Марту к заказанному лимузину. На предложение Орлика позавтракать вместе с ними в ресторане гостиницы "Бристоль" служитель культа ответил категорическим отказом. На углу улицы Юнгманнова он крикнул водителю, чтобы тот притормозил, и быстренько выпрыгнул, оглушительно хлопнув дверцей.

Никто иной, как Утц, заказал и оплатил этот прощальный завтрак. По залу плыл резкий запах дезинфицирующего средства. Бóльшая часть столов была завалена перевернутыми стульями; уборщицы со швабрами в руках ликвидировали последствия вчерашнего банкета в честь восточногерманских и советских специалистов в области вычислительной техники. В дальнем левом углу стоял стол, накрытый на двадцать персон. На камчатной скатерти тускло поблескивали двадцать удлиненных бокалов для токая.

Утц ошибся в расчетах. Он ожидал как минимум нескольких родственников из тех, что покорыстнее (вдруг что-нибудь перепадет?), и делегацию из музея — последние должны были приехать хотя бы для того, чтобы осуществить заветный переход коллекции фарфора в их загребущие руки. Между тем за столом не было никого, кроме Марты и Орлика. Усевшись рядышком, они принялись поглощать копченую ветчину, блинчики с сыром и пить вино, которое подливал им неопрятный официант.

Рядом с их столом помещалось чучело громадного медведя, стоявшего на задних лапах, с угрожающе разинутой пастью и растопыренными когтями — очевидно, какой-то шутник решил таким образом напо-

мнить чехам о братском защитнике их страны. Медная табличка, прикрученная к постаменту, сообщала, что медведя убил богемский барон, причем не в Татрах или Карпатах, а в Кордильерах, в 1926 году. Это был медведь-гризли.

После парочки бокалов токая скорбь Марты по усопшему хозяину заметно поутихла. После четвертого бокала она скривила губы в издевательской усмешке и крикнула на весь зал: "За медведя!.. За медведя!"

Летом 1967 года — за год до ввода в Чехословакию советских танков — я на неделю приехал в Прагу. В качестве историка. Редактор одного английского журнала, зная о моем интересе к северному Ренессансу, заказал мне статью о страсти императора Рудольфа Второго к собиранию всяких диковинок — страсти, с годами ставшей его единственным лекарством от депрессии.

Я надеялся со временем написать отдельную большую работу о психологии — вернее сказать, психопатологии этого коллекционера поневоле. Увы, из-за лени и незнания языков моя попытка с наскока проникнуть в историю Центральной Европы закончилась полным провалом. Поездка запомнилась мне как весьма приятный отдых за чужой счет. По пути в Чехословакию я, проехав через Инсбрук, свернул в Шлосс-Амбрас, чтобы осмотреть кунсткамеру, или так называемый "кабинет редкостей" дяди Рудольфа, тирольского эрцгерцога Фердинанда (дядя с племянником вели многолетнюю, хотя довольно дружелюбную тяжбу о том, у кого из них должны храниться две реликвии семейства Габсбургов: рог нарвала и позднеримская чаша из агата, которая — или да, или нет — могла быть Святым Граалем).

Целых четыре века Амбрасской коллекции с ее солонкой Бенвенуто Челлини и головным убором Монтесумы, украшенным перьями кетцаля, ничто не угрожало. В XIX веке имперские чиновники переправили наиболее ценные экспонаты в Вену — подальше от революционных толп. Сокровища Рудольфа: корни мандрагоры, игуана-василиск, безоаровый камень, кубок из рога единорога, позолоченный кокосовый орех с Сейшельских островов, заспиртованный гомункулус, гвозди от Ноева ковчега и фиал с прахом земным, из которого Бог сотворил Адама, — давным-давно исчезли из Праги.

Но мне все равно было любопытно взглянуть на мрачную крепость Градчаны, где этот нелюдимый холостяк, обращавшийся по-итальянски к любовницам, по-испански к Богу, по-немецки к придворным и по-чешски (редко) к мятежным крестьянам, забросив дела Священной Римской империи, неделями просиживал со своими астрономами (среди его протеже были, в частности, Тихо Браге и Кеплер), искал философский камень с алхимиками, обсуждал с мудрецами-раввинами тайны Каббалы и (тем чаще, чем труднее ему становилось править) воображал себя отшельником в горах или позировал Арчимбольдо, написавшему портрет императора в виде горы фруктов и овощей: тыква и баклажан изображают шею, редиска — кадык.

Так как в Праге у меня не было ни одного знакомого, я обратился за советом к другу-историку, специалисту по странам СЭВ, попросив свести меня с кем-нибудь стоящим.

По его словам, Прага и в наши времена оставалась одним из самых загадочных европейских городов, где запросто можно встретиться со

всякого рода чудесами. Склонность чехов сдаваться на милость сильнейшего не следует путать со слабохарактерностью. Скорее, дело здесь в особом метафизическом ощущении, позволяющем воспринимать любые проявления грубой силы как нечто сугубо преходящее.

– Разумеется, – сказал он, – я могу познакомить тебя с тамошними интеллектуалами. Причем в неограниченном количестве. С поэтами, художниками, кинорежиссерами.

Если, конечно, меня не пугает перспектива выслушивать бесконечное нытье о роли художника в тоталитарном государстве или маяться на вечеринке, плавно перетекающей в оргию.

Я запротестовал. Он наверняка сгущает краски!

– Нет, – покачал головой мой друг, – не думаю.

Он с глубочайшим уважением относится к тем, кто, рискуя угодить за решетку, публикует свои стихи в иностранном журнале. Но ему кажется, что подлинными героями этой невероятной жизни являются все-таки другие люди – не те, кто без конца поносят партию и правительство, а те, кто молчат, оставаясь при этом полноправными представителями европейской культуры и цивилизации.

– Их молчание, – заявил мой друг, – это настоящий плевок в лицо государству, потому что для них его просто не существует.

Где еще вы найдете (а он лично знает этого человека) продавца трамвайных билетов, который одновременно был бы исследователем елизаветинской эпохи? Или дворника, написавшего философский комментарий к "Фрагментам" Анаксимандра?

В заключение мой друг заметил, что Марксова мечта о веке нескончаемого досуга в каком-то смысле сбылась. Сражаясь с "пережитками индивидуализма", государство фактически предоставило индивиду неограниченное время для частных еретических размышлений.

Я признался, что мой интерес к Праге носит значительно более легкомысленный характер. И рассказал об императоре Рудольфе.

– В таком случае, – не задумываясь отозвался мой друг, – я отправлю тебя к Утцу. Утц – это Рудольф наших дней.

Утц был владельцем уникальной коллекции мейсенского фарфора, пережившей – благодаря его ловкости и находчивости – Вторую мировую войну и жуткие годы сталинизма. К 1967 году коллекция насчитывала около тысячи предметов. Все они с грехом пополам были втиснуты в крошечную двухкомнатную квартирку на Широкой улице.

Мелкие саксонские помещики Утцы родом из Кронддорфа. Когда-то им принадлежали земли в Судетах и они были весьма богаты, во всяком случае, могли позволить себе дом в Дрездене, впрочем недостаточно шикарный для того, чтобы он попал на страницы Готского альманаха. Среди их предков затесался даже один рыцарь-крестоносец. Однако саксонцы более благородного происхождения произносили их фамилию с нескрываемым недоумением, чтобы не сказать презрением: "Утцы? Утцы? Нет. Вы что-то путаете. Это еще кто такие?"

Для такого отношения имелись свои причины. В этимологическом словаре Гримма у слова "утц" нет ни одной положительной коннотации: "пьяница", "тупица", "шулер", "сбытчик краденых лошадей". "Heinzen, Kunzen, Utzen oder Butzen" на нижнешвабском диалекте значит "любой дурак".

Отец Утца погиб на реке Сомме в 1916 году, успев, впрочем, прославить свой род высшей военной наградой Германии "Pour le Mérite"[1]. Мать — родители отца отнюдь не одобрили выбор сына — была дочерью чешского исследователя Возрождения и еврейки, наследницы крупного железнодорожного акционера.

Каспар был их единственным внуком. Каждое лето мальчика на месяц отправляли в Ческе-Крижове, замок в псевдосредневековом стиле между Прагой и Табором, где его бабушка, дряхлая старуха, чья желтоватая кожа никак не хотела покрываться морщинами, а волосы — белеть, сидела, скрюченная артритом, в гостиной, задрапированной темно-малиновой парчой и увешанной блестящими от переизбытка лака изображениями Мадонн.

Крещенная в католичество, она окружила себя сладкими до приторности священниками, превозносившими чистоту ее веры в надежде на материальное вознаграждение. От бескрайних просторов Центральной Богемии можно было укрыться в оранжерее, засаженной бегониями и цинерариями.

Чувства соседей были оскорблены — с какой стати эта старая карга (чье еврейское происхождение не являлось ни для кого секретом) корчит из себя аристократку?! А старуха и вправду не знала удержу: расставила вдоль лестницы рыцарские доспехи, а в ров, обнесенный крепостной стеной, запустила медведя. Однако еще до Сараево она, почувствовав нарастающую угрозу социализма и задумчиво повертев глобус, как иная женщина могла бы перебирать четки, ткнула пальцем в разные отдаленные точки, куда надлежит поместить капитал: медная шахта в Чили, хлопковые поля в Египте, консервный завод в Австралии, золотые прииски в Южной Африке.

Ей было приятно представлять, что ее состояние будет расти и после ее смерти, тогда как все *эти* лишатся своих богатств: в войну или революцию, разорившись на женщинах или на бегах, просадив все в карты... Каспар, темноволосый нервный мальчик, совсем не похожий на своего румяного отца, напоминал ей малокровных насельников гетто — и она его обожала.

Не где-нибудь, а именно в Ческе-Крижове этот не по летам развитой ребенок, привстав на цыпочки перед шкафом с фарфором, испытал первое в жизни эстетическое потрясение, очарованный фигуркой Арлекина работы одного из величайших мейсенских мастеров — Иоганна Иоахима Кендлера.

Арлекин сидел на поваленном стволе дерева. В костюме из разноцветных ромбов, обтягивающем его упругий стан. В одной руке он держал высокую пивную кружку с крышкой из потемневшего серебра, в другой — желтую шляпу с мягкими полями. Его лицо скрывала оранжевая полумаска.

— Хочу, — сказал Каспар.

Бабушка побледнела. Вообще-то она ему ни в чем не отказывала, но на этот раз сказала: "Нет. Может быть, когда-нибудь потом. Не сейчас".

Четыре года спустя, чтобы хоть как-то ободрить мальчика после гибели отца, она прислала ему этого Арлекина в специально заказанном кожаном футлярчике. Посылка пришла в Дрезден как раз в канун Рож-

1. "За заслуги" (*франц.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

дества, которое в том году получилось совсем не веселым. В дрожащем свете свечи Каспар вынул фигурку из футляра и нежно провел пухлыми пальчиками по ее глазури и сияющей эмали. В тот миг ему открылось его предназначение: он посвятит себя собиранию ("спасению", как он выражался) фарфора мейсенской мануфактуры.

Он забросил школьные занятия, зато досконально изучил историю производства фарфора — начиная с его появления в Китае и до его второго открытия в Саксонии при Августе Сильном. Он покупал новые вещи, продавал менее ценные и те, что с дефектами. В неполные девятнадцать лет Утц опубликовал в журнале "Нунк" яркую статью в защиту стиля рококо в фарфоровой пластике — искусства изысканных линий, возникшего в те времена, когда мужчины еще не разучились любить женщин, — искрометный ответ на оскорбительный выпад педераста Винкельмана: "Из фарфора вечно делают идиотских кукол".

Утц часами пропадал в дрезденских музеях, разглядывая фигурки персонажей комедии дель арте из королевских коллекций. Запертые в стеклянных саркофагах, они, казалось, звали его в свой тайный лилипутский мир и — молили об освобождении. Его вторая статья называлась "Частный коллекционер":

"Вещь, выставленная в музейной витрине, — писал он, — должна чувствовать себя как животное в зоопарке. Становясь музейным экспонатом, вещь погибает — от удушья и невозможности уединения. Между тем как владелец домашней коллекции может, а вернее сказать, не может не прикасаться к ней. Подобно тому, как ребенок дотрагивается до предмета, чтобы дать ему имя, страстный коллекционер, чей глаз и рука всегда находятся в гармонии, вновь и вновь дарует вещи жизнепорождающее прикосновение ее создателя. Главный враг коллекционера — хранитель музея. В идеале следует хотя бы раз в пятьдесят лет опустошать все музеи, чтобы их коллекции вновь оказывались в частных руках..."

— Как вы можете объяснить, — как-то раз спросила мать Утца семейного доктора, — маниакальную увлеченность Каспара фарфором?

— Перверсия, — ответил он, — такая же, как и все прочие.

В качестве примера для подражания Утц избрал любвеобильного Августа Сильного, о любовных приключениях которого прочитал у фон Пёльница в "Галантной Саксонии". Но когда, приехав в Вену, он попытался подражать амурным подвигам этого неотразимого и ненасытного монарха — рассчитывая отыскать в Мици, Сюзи и Лизель очарование Авроры, графини Кёнигсмарк, мадемуазель Кессель или еще какой-нибудь дрезденской придворной богини, — девушки были озадачены чрезмерной серьезностью этого ученого молодого человека и не смогли удержаться от смеха при виде его крохотного "инструмента".

В печальном одиночестве плелся он по мокрым улицам обратно в гостиницу.

Антиквары встретили его значительно теплее. Продажа в 1932 году судетских угодий сделала его настоящим богачом. Кончина — сначала бабушки, а затем и матери — позволила ему состязаться на аукционах с Ротшильдами.

От политики Утц предпочитал держаться подальше. Не будучи героем по натуре, он в общем-то был готов терпеть любую идеологию, лишь бы его не трогали. Но мягкотелым он не был и запугиваний не выносил.

Питая отвращение к насилию, он вместе с тем радовался разного рода катаклизмам, выбрасывавшим на рынок произведения искусства. "Войны, погромы и революции, — говаривал он, — предоставляют коллекционеру прекрасный шанс".

Одним из таких "шансов" явился небезызвестный обвал на биржевом рынке. Другим — "хрустальная ночь". На той же неделе Утц примчался в Берлин скупать фарфор за американские доллары у еврейских коллекционеров, собравшихся эмигрировать. В конце войны он оказывал аналогичные услуги аристократам, бегущим от Советской армии.

Как гражданин рейха он принял аннексию Судет, хотя и без большого энтузиазма. Однако после оккупации Праги он уже не сомневался, что со дня на день Гитлер развяжет войну во всей Европе. Не сомневался он и в том, что Германия потерпит поражение — просто потому, что такова печальная участь всех агрессоров.

Доверившись собственной интуиции, он летом 1939 года перевез тридцать семь ящиков фарфора из дрезденского дома в Ческе-Крижове. И даже не распаковал их.

Год спустя, сразу после блицкрига к нему в гости приехал его рыжий троюродный брат Рейнхольд — неглупый, но душевно абсолютно неразвитый детина, который еще в бытность студентом уверял, что "Взаимная помощь как фактор эволюции" Кропоткина — величайшая из всех написанных книг. Теперь, ссылаясь на опыт собаководов, он разглагольствовал о расовой биологии. Потомку Утцов, внушал он, несмотря на примесь инородной крови, следует незамедлительно идти служить в вермахт.

За ужином Утц вежливо выслушал восторженную речь брата по поводу немецких побед во Франции. Но когда тот принялся уверять, что еще до конца года немцы займут Букингемский дворец, он — понимая, что это не вполне уместно, — внезапно испытал прилив застарелого англофильства.

— Не думаю, — вырвалось у него, — ты недооцениваешь этот народ. Я их знаю. Я бывал в Англии.

— Я тоже, — буркнул брат и, цокая подковками сапогов, прошествовал к ожидавшему его служебному автомобилю.

Шестнадцатилетним юношей Утц и вправду приезжал в Англию учить английский язык. Три осенних месяца и пасмурный декабрь он провел в Бексхилл-он-Си с мисс Берил Паркинсон, бывшей няней матери, в доме с кошками и ходиками. Стоя у окна, он подолгу смотрел, как набегающие волны бьются о пирс.

Он выучил английский. Не так чтобы очень, но все-таки. И совершил короткую экскурсию в Лондон, из которой вынес законченное представление о том, как именно должен одеваться и держаться в обществе настоящий английский джентльмен. В Дрезден он вернулся в вызывающе скроенном твидовом пиджаке и сделанных на заказ ботинках.

Этот коричневый с кожаными заплатками на локтях потертый пиджак, из которого он вырос как минимум размера на два, Утц носил до самого конца войны, даже когда ему приходилось бывать в местах массового скопления немецких офицеров. Это был жест. Акт скрытого неповиновения.

Он надел его и тогда, когда, в пору правления "пражского мясника" Рейнхарда Гейдриха, его вызвали на допрос в связи с возникшими сомнениями в его чистокровности. Не откуда-нибудь, а именно из внут-

реннего кармана английского пиджака он, к изумлению допрашивающих, выудил отцовскую медаль героя Первой мировой. По какому праву, раскричался он, шваркнув медаль на стол. Как смеют они оскорблять сына великого немецкого солдата?

Это был смелый ход – и он сработал. Больше Утца не трогали. Он затаился в Ческе-Крижове, где впервые в жизни начал регулярно заниматься физическими упражнениями, трудясь со своими работниками на лесопилке.

16 февраля 1945 года он узнал, что разбомбили их дрезденский дом. Его любовь к Англии закончилась после сообщения, озвученного ровным голосом диктора Би-би-си: "Фарфора в Дрездене больше не осталось". Утц подарил свой пиджак цыгану, каким-то чудом избежавшему лагерей.

Через месяц после капитуляции, когда немцев и их пособников выгоняли из домов, а нередко и из страны, конвоируя до самой границы "в одежде, в которой они находились в момент ареста", Утцу удалось избавиться от немецкого паспорта и записаться чехом. Несколько труднее было развеять слухи о том, что он помогал созданному Герингом "отделу по искусству".

Тем более что так оно и было. Он и вправду сотрудничал. Поставлял сведения. О местонахождении произведений искусства. Ничего ужасного он не делал. В сущности, эту информацию мог бы получить всякий, умеющий пользоваться библиотечным каталогом. Благодаря этому сотрудничеству Утцу удалось спасти нескольких друзей-евреев, в том числе знаменитого гебраиста Зигмунда Крауса. В конце концов, человеческая жизнь ценнее картин Тициана или Тьеполо!

К коммунистам Утц начал подлизываться загодя, как только понял, что дни правительства Бенеша сочтены. Узнав, что Клемент Готвальд сделал своей резиденцией Пражский Град – "рабочий на троне богемских королей", – Утц сразу же передал свои земли колхозу, а фамильный замок под психиатрическую лечебницу.

Это позволило ему выиграть время, достаточное для того, чтобы вывезти – ничего при этом не разбив и не потеряв – коллекцию фарфора, которая в противном случае неизбежно досталась бы победившей черни.

Его следующим шагом была имитация научной деятельности, а именно занятия гебраистикой под руководством д-ра Крауса – портреты Маркса и Ленина висели в те дни почти во всех израильских кибуцах. Он устроился работать в Национальную библиотеку на низкооплачиваемую должность каталогизатора. Поселился в ничем не примечательной квартирке (бывший хозяин которой исчез в годы "гейдрихиады") в Еврейском городе.

Дважды в неделю он законопослушно ходил в кино на советский фильм. Когда его друг д-р Орлик предложил ему бежать на Запад, Утц указал на стеллажи, где в шесть рядов стояли изделия из мейсенского фарфора, и сказал: "Я не могу их оставить".

– Как же он ее сохранил?

– Что именно?

– Свою коллекцию.

– Договорился с властями.

Мой друг-историк вкратце изложил известные ему факты. Партийные чиновники, всегда стремившиеся соблюсти по крайней мере види-

мость законности, разрешили Утцу держать коллекцию дома при условии, что все будет учтено и сфотографировано. Сговорились — впрочем, никаких официальных бумаг не подписывали, — что после смерти Утца коллекция отойдет Национальному музею.

Марксизм-ленинизм в принципе никогда не подвергал критике идею частного коллекционирования. Разве что Троцкий в пору Третьего Интернационала сделал на этот счет парочку раздраженных замечаний. Но специальных постановлений не принималось — статус собирателя произведений искусства в пролетарском государстве оставался невыясненным. Классовый враг? Но в чем, собственно, это выражается?

Разумеется, революция декларировала отмену частной собственности. Но где проходит тонкая грань между собственностью, вредоносной для государства, и предметами быта, которые вроде бы опасности не представляют? Картина выдающегося живописца рассматривалась как национальное достояние и подлежала конфискации — некоторые пражские семьи прятали свернутые в трубочку холсты Пикассо или Матисса под половицами. Но фарфор? В конце концов, он не так уж сильно отличается от обычного фаянса. Теоретически, если, конечно, поставить жесткий заслон его незаконному вывозу из страны, он вообще ничего не стоит. Конфискация керамических изделий обернется административным кошмаром.

— Представь себе конфискацию бесчисленных гипсовых бюстов Ленина...

Его лицо тут же забывалось. Круглое, с желтоватой рыхлой кожей и маленькими узкими глазками за стеклышками очков в металлической оправе. Такое невыразительное, что казалось как бы несуществующим. Носил ли он усы? Не помню. Добавьте усы, уберите усы — в сущности, это ничего не изменит. Ладно, допустим, усы были. Аккуратные колючие усики, вполне гармонирующие с четко выверенными движениями заводного солдатика — единственный уцелевший "рудимент" его тевтонского происхождения. Маскируя плешь, он зачесывал редкие сальные волосы от одного уха к другому, ходил в полосатом сером костюме, слегка обтрепавшемся на концах рукавов, и пользовался одеколоном "Княжеский".

Нет, усы, пожалуй, все-таки лучше убрать, а то они так перегружают лицо, что больше вообще ничего не вспоминается — только очки и усы с несколькими приставшими к ним крошками красного перца из рыбного супа цвета паприки, который мы заказали в ресторане "Пструх".

"Пструх" — по-чешски "форель" — и чего-чего, а форели там хватало. Из невидимых громкоговорителей неслись каденции "Форелевого квинтета", и целые косяки форели — розоватой, с крапинками, мерцая брюшками в неоновом свете, плавали туда-сюда в огромном аквариуме во всю стену.

— Возьмем форель, — предложил Утц.

Я позвонил ему сразу же по приезде. Но сперва он явно не хотел со мной встречаться.

— Ja! Ja![1] Я знаю. Но у меня сейчас очень плохо со временем...

По совету приятеля я привез ему из Лондона несколько упаковок его любимого чая "Эрл Грей". Я упомянул об этом. Он смягчился и при-

1. Да! Да! (*нем.*)

гласил меня на обед. В четверг, за день до моего отъезда. Но не к себе домой, на что я, честно говоря, рассчитывал, а в ресторан.

Ресторан, реликт тридцатых годов, помещавшийся в сводчатой галерее на Вацлавской площади, с точки зрения декора был типичным порождением века машин: зеркальные стекла, алюминий, кожа. С потолка свисала модель галеона с развевающимися парусами из пергамента. Стену украшал фотопортрет товарища Новотного. Оставалось загадкой, как человек с таким противным ртом вообще соглашается фотографироваться. Метрдотель, изнемогающий от июньской жары, вручил каждому из нас меню, похожее на средневековый служебник.

К нам должен был еще присоединиться друг Утца д-р Орлик, с которым Утц обедал тут каждый четверг начиная с 1946 года.

— Орлик, — объяснил мне Утц, — известный ученый, сотрудник нашего Национального музея. Он палеонтолог, специалист по мамонтам и мухам. Он вам понравится. Это очень обаятельный и остроумный человек.

Долго ждать не пришлось. Вскоре в дверном проеме показался высокий бородач в лоснящемся двубортном костюме. Орлик снял берет, встряхнул копной жестких седеющих волос и сел. Больно пожав мне руку, он набросился на претцели. Его лоб пересекали глубокие морщины. Меня потрясли мерные, возвратно-поступательные движения его нижней челюсти.

— Ага! — покосился он на меня. — Значит, англичанин? Англичанин, да? Да? Ага! Скажите, профессор Хорсфилд еще жив?

— Кто это? — спросил я.

— Он написал добрые слова об одной моей работе в "Джорнал ов энимал сайколоджи".

— Когда это было?

— В 1935-м, нет, в 36-м.

— Я никогда не слышал о Хорсфилде.

— Жаль, — сказал Орлик, — это выдающийся ученый.

Он сделал паузу, чтобы догрызть последний претцел. В его зеленых глазах мелькнуло шутливое негодование.

— Вообще-то, — продолжил он, — я не слишком высокого мнения о ваших соотечественниках. Вы предали нас в Мюнхене. Вы предали нас в Ялте.

Утц, встревоженный таким опасным поворотом беседы, попытался сменить тему, объявив с подчеркнутой серьезностью:

— Я не верю, что у животных есть душа.

— Как ты можешь такое говорить? — ахнул Орлик.

— Могу.

— Вижу, что можешь, но не понимаю, как у тебя язык поворачивается.

— Сделаю заказ, — сказал Утц и, подняв салфетку как белый флаг, призывно помахал ею официанту, — возьмем форель "Au bleu"[1], да?

— "Бло"? — передразнил Орлик.

— Сам ты "бло".

Орлик похлопал меня по руке.

— Мой друг, мистер Утц, полагает, что, когда форель бросают в кипяток, она ничего не чувствует, самое большее — щекотку. Я с этим не согласен.

1. В сырном соусе. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – перевод с французского.*)

— Форели нет, — заявил подошедший официант.

— То есть как нет? — изумился Утц. — Когда есть, причем очень *много*.

— У нас нет сачка.

— Как это нет сачка? На прошлой неделе был.

— Порвался.

— Порвался? Я вам не верю.

Официант приложил палец к губам и прошептал: "Вся форель заказана".

— Этими?

— Этими, — кивнул официант.

За соседним столиком четыре толстяка уплетали форель.

— Понятно, — сказал Утц. — Что ж, возьмем угрей. Вы не против? — обратился он ко мне.

— Вовсе нет.

— Угорь кончился, — отрезал официант.

— Кончился? Плохо. А что у вас есть?

— Карп.

— И все?

— Все.

— А как вы его готовите?

— По-разному, — официант махнул рукой в сторону меню. — Как пожелаете.

Меню было на нескольких языках: чешском, русском, немецком, французском и английском. К сожалению, тот, кто составлял английскую страничку, вместо слова "carp" написал "crap"[1]. В разделе, озаглавленном "Crap dishes" приводился длинный перечень соответствующих блюд: "Crap soup with paprika", "Stuffed crap", "Crap cooked in beer", "Fried crap", "Crap balls" и "Crap à la juive"[2]...

— Вообще-то, — сказал я, — в Англии эта рыба называется "carp". Слово "crap" означает несколько иное.

— Серьезно? — удивился д-р Орлик. — Что именно?

— Фекалии, — объяснил я, — дерьмо.

И тут же пожалел о своих словах, потому что Утц ужасно смутился. Он заморгал узкими глазками с таким видом, словно надеялся, что ослышался. Орлик взмахнул своими клешнями и зашелся хриплым гоготом.

— Ха! Ха! — надрывался он, — "crap à la juive"... Мой друг, мистер Утц, собрался есть "crap à la juive"!

Я испугался, что Утц уйдет, но он, поборов смущение, заказал суп и "Carpe meunière"[3]. Пойдя по пути наименьшего сопротивления, я заказал то же самое. Орлик хрипло пробасил: "Нет. Нет. Я возьму "Crap à la juive"!"

— Что-нибудь еще? — спросил официант.

— Ничего, — отрубил Орлик, — только "Crap".

Я попытался расспросить Утца о его коллекции. Он вжал голову в плечи и сказал безучастным голосом:

1. Карп... дерьмо (*англ.*).
2. "Блюда из дерьма"... "Суп из дерьма с паприкой"; "Фаршированное дерьмо"; "Дерьмо, приготовленное в пиве"; "Жареное дерьмо"; "Икра из дерьма"; "Дерьмо по-еврейски" (*англ., франц.*).
3. Карп в сухарях.

— Между прочим, д-р Орлик тоже коллекционер. Он коллекционирует мух.

— Мух?

— Мух, — подтвердил Орлик.

Я мысленно нарисовал себе картину его жилища: неубранная постель, пепельница, набитая окурками, кипы пожелтевших газет и журналов, микроскоп, банки с эфиром и застекленные стеллажи с мухами из разных уголков земного шара, каждый экземпляр на отдельной булавке. Я сказал, что видел в Бразилии очень красивых стрекоз.

— Стрекоз? — скривился Орлик. — Не интересуюсь. Объект моего исследования — Musca domestica.

— Иначе говоря, обычная домашняя муха?

— Именно так.

— А скажи-ка, — снова перебил Утц, — в какой день Бог сотворил муху? В пятый? Или в шестой?

— Сколько раз тебе говорить? — загремел Орлик. — Мухам сто девяносто миллионов лет! А ты все толкуешь о каких-то днях!

— Н-да, это серьезно, — глубокомысленно протянул Утц.

На скатерть, рядом с каплей супа, которую нечаянно уронил с половника официант, опустилась муха. Орлик молниеносным движением перевернул стакан и накрыл им насекомое. Затем, пододвинув стакан к краю стола, он выхватил из кармана морилку. Еще через миг муха была уже в стакане. Послышалось сердитое жужжание, потом — тишина. Достав лупу, Орлик осмотрел свою жертву.

— Забавный экземпляр, — сказал он. — По всей вероятности, вывелась на здешней кухне. Я спрошу...

— Нет, не спросишь.

— Спрошу. Обязательно спрошу.

— Ни в коем случае.

— А откуда, — полюбопытствовал я, — у вас этот интерес к мухам?

Выковыривая из бороды рыбьи косточки, Орлик рассказал, что последние тридцать лет изучает некоторые аспекты жизнедеятельности шерстяного мамонта. Он многократно бывал в полевых экспедициях в сибирской тундре, где время от времени находят мамонтов в вечной мерзлоте. Кульминацией его научной деятельности — хотя из скромности он предпочитает об этом не говорить — стал труд на соискание магистерской степени "Мамонт и его паразиты". Но еще до публикации этой работы он осознал необходимость изучения насекомых.

— Я решил сосредоточиться на Musca domestica, — сообщил он, — чей ареал обитания не выходит за пределы Большой Праги.

Подобно тому как его друг, мистер Утц, без труда определяет, из какой именно белой глины — колдицкой или эрзгебиргской — изготовлено то или иное изделие мейсенской мануфактуры, он, Орлик, во всяком случае по его собственным словам, взглянув в микроскоп на переливчатую перепонку мушиного крыла, мог безошибочно указать, на какой из многочисленных помоек, окаймляющих столицу Чехословакии, эта муха вывелась.

Он признался, что в свое время его просто потрясла живучесть мухи. Следуя тогдашней моде, коллеги-энтомологи — особенно члены компартии — восхищались общественными насекомыми: муравьями, пчела-

ми, осами и другими разновидностями перепончатокрылых, живущими в организованных сообществах.

— А муха, — заявил Орлик, — анархист.

— Тише! — шикнул Утц. — Не произноси этого слова!

— Какого слова?

— Этого.

— Да-да! — Орлик взял октавой выше. — Повторяю: муха — анархист. Индивидуалист. И донжуан.

Четыре партийца, в адрес которых была направлена эта тирада, и ухом не повели — они с нескрываемой нежностью следили за действиями официанта, который как раз в этот момент готовил для них вторую порцию форели, удаляя косточки и снимая голубоватую кожицу.

— Я не пролетарского происхождения, — сообщил Орлик. — В моих жилах течет благородная кровь.

— Вот как, — хмыкнул Утц. — Интересно, кто же твои предки?

На какой-то миг мне показалось, что встреча завершится обменом колкостями, пока я не понял, что это просто очередная миниатюра из их хорошо отрепетированного репертуара. Затем последовал спор о достоинствах (и соответственно недостатках) Кафки, которого Утц боготворил, почитая демиургом, а Орлик ни в грош не ставил, обзывая наглым обманщиком, чьи писания следовало бы уничтожить.

— Вы хотите сказать — запретить? — уточнил я. — Подвергнуть цензуре?

— То, что я хотел сказать, я сказал! — рявкнул Орлик. — Уничтожить.

— Паф! Паф! — хлопнул в ладоши Утц. — Это еще что за чушь?

Выяснилось, что главным пунктом Орликова обвинения против Кафки был сомнительный в энтомологическом плане статус насекомого в рассказе "Превращение". Мне снова показалось, что ссоры не избежать. И вновь я ошибся — буря улеглась. Мы выпили по чашке анемичного кофе. Орлик вытребовал у меня мой лондонский адрес, нацарапал его на обрывке салфетки, скатал в шарик и запихал в карман. Он перехватил счет и, помахав им перед носом Утца, объявил: "Плачу я".

— Об этом не может быть и речи.

— Возражения не принимаются.

— Не пойдет, — сказал Утц и выхватил у Орлика бумажку, которую тот, надо сказать, держал так, чтобы Утцу легко было до нее дотянуться.

Орлик закрыл глаза, как бы нехотя смиряясь с неизбежным.

— Ладно, — кивнул он, — что ж, мистер Утц заплатит.

— А теперь, — повернулся ко мне Утц, — я хотел бы показать вам некоторые достопримечательности нашего прекрасного города.

Остаток дня мы с Утцом провели, прогуливаясь по малолюдным улочкам Мала-Страны. То и дело останавливаясь полюбоваться облупившимся фасадом какого-нибудь купеческого дома или дворцом в стиле барокко или рококо. Вртба, Палфи, Лобковиц — Утц произносил имена этих архитекторов так, словно они были его закадычными друзьями.

Восковая фигура Младенца Христа в сверкающем золотом ореоле в костеле Девы Марии Победительницы гораздо больше походила на мстительное божество Контрреформации, нежели на Святое Дитя из Вифлеема.

Поднявшись по Нерудовой улице, мы обошли Градчаны — район моих бесплодных поисков полунедельной давности. Потом посидели в

вишневом саду под Страговским монастырем. На газоне загорал какой-то человек в трусах. Тополиный пух кружился над нами, словно снег.

— У этого города, — сказал Утц, указывая тростью вниз, на бесчисленные портики и купола, — трагическая маска.

Кроме того, это был город великанов: в камне, глине и мраморе. Обнаженные великаны; великаны-арапы; великаны, выглядящие так, словно они из последних сил сражаются с ураганом или какой-то невидимой злой силой; великаны, напружинившиеся под тяжестью архитравов.

— Страдающий великан, — заметил Утц без большой уверенности в голосе, — символ нашего преследуемого народа.

Я осторожно заметил, что любовь к великанам, как правило, симптом вырождения: век, чьим идеалом стал Геракл Фарнезе[1], не мог закончиться ничем хорошим.

Утц парировал историей про прусского короля Фридриха Вильгельма, сколотившего однажды целый отряд из невероятных верзил (большей частью умственно отсталых) для укрепления рядов потсдамских гренадеров.

Потом он рассказал, как это пристрастие к великанам привело к одной из самых удивительных дипломатических сделок XVIII столетия: в обмен на шестьсот исполинов "означенного роста" из восточных провинций Август, курфюрст Саксонский, получил сто двадцать семь изделий из китайского фарфора, хранившихся в Шарлоттенбургском дворце в Берлине.

— Никогда не любил великанов, — признался Утц.

— Однажды я познакомился с торговцем карликами, — сказал я.

— Правда? — заморгал Утц. — Вы сказали карликами?

— Да.

— И где же вы с ним познакомились?

— В самолете по пути в Багдад. Он летел выбирать карлика для своего клиента.

— Клиента?! Потрясающе!

— У него было два клиента, — сказал я. — Один — арабский нефтяной шейх, другой — владелец сети отелей в Пакистане.

Утц похлопал меня по колену:

— А что они делали с этими карликами?

Он даже побледнел от восторга, и я заметил, что на лбу у него выступили капельки пота.

— Просто держали их у себя, — сказал я. — Шейху, если я правильно помню, нравилось сажать карлика себе на плечо, а своего любимого сокола — на руку карлика.

— И все?

— Кто знает?

— Вы правы, — сказал Утц. — Есть вещи, которые нам не дано знать.

— Да, честно говоря, и не хочется.

— А сколько стоит карлик? В наше время?

— Понятия не имею. Вообще-то держать карликов всегда было довольно дорогим удовольствием.

1. Имеется в виду гигантская статуя Геракла — копия работы древнегреческого скульптора Лисиппа (ок. 320 г. до н. э.). Сейчас статуя хранится в Археологическом музее Неаполя. Ранее — в собрании Фарнезе, знатного итальянского рода, известного с XII в.

— Замечательная история, — улыбнулся Утц. — Спасибо. Мне тоже нравятся карлики. Но не в том смысле, в каком вы, может быть, подумали.

Вечер мы встретили на скамейке на Старом еврейском кладбище. С крыши Клаусовой синагоги долетало булькающее бормотание голубей. Солнечные лучи, падая сквозь платаны, высвечивали спиралевидные столбики толкущихся мошек и привалившиеся друг к другу мшистые надгробия, похожие на обросшие водорослями камни на отмели.

Справа от нас американские хасиды — бледные близорукие юноши в ермолках — клали камушки на могилу великого рабби Лёва. Затем, повернувшись спиной к надгробию, они замерли, позируя фотографу.

Утц рассказал мне, что в 90-е годы XIX века Еврейский город, с его лабиринтом скрытых ходов и потайных комнат, столь живо изображенных Мейринком, был почти полностью перестроен. На месте трущоб выросли многоквартирные дома. От бывшего гетто остались только синагоги, кладбище и здание ратуши. Нацисты, объяснил Утц, не собирались ничего уничтожать, а наоборот — готовились разместить здесь "музей еврейства", где будущие арийские туристы могли бы не без любопытства разглядывать то немногое, что уцелело от народа, исчезнувшего с лица земли, подобно ацтекам или готтентотам.

— Вы, наверное, слышали о големе, — сменил тему Утц.

— Да, — сказал я. — Голем был искусственным человеком... механическим человеком... прототипом робота. Его сделал рабби Лёв.

— Друг мой, — улыбнулся Утц, — я вижу, вы очень много знаете. Но вам предстоит узнать еще больше.

Рабби Лёв был признанным лидером пражского еврейства при императоре Рудольфе — такого почета и уважения евреи Центральной Европы не имели больше никогда за всю свою историю. Рабби Лёв принимал князей и послов. И сам не раз был принят императором в Градчанах. Многие из его писаний — в том числе трактат "Об ожесточении сердца фараонского" стали частью хасидского учения. Как и все каббалисты, он полагал, что любое событие — прошлое, настоящее и будущее — записано в Торе.

После смерти — иначе и быть не могло! — рабби получил от Бога сверхъестественные способности. Существуют легенды — все позднейшего происхождения — о том, как с помощью абракадабры[1] он перенес некий замок из Богемии в пражское гетто. Или заявил императору, что его настоящий отец — еврей. Или нанес сокрушительное поражение безумному иезуиту, отцу Тадеушу, неопровержимо доказав беспочвенность христианского кровавого навета[2]. Или изготовил голема Йосела из влтавской глины.

В основе всех легенд о големе — древнееврейская вера в то, что всякий праведник может сотворить Мир, расположив в порядке, предписанном Каббалой, буквы, составляющие тайное имя Всевышнего. "Голем" на иврите значит "неоформленный" или "несозданный". Праотец

1. Магическая формула.
2. Имеется в виду обвинение евреев в употреблении ими крови христиан в ритуальных целях.

Адам тоже был "големом" — огромной инертной массой глины, покрывавшей всю землю, — до тех пор, пока Яхве не сжал его до размеров человека и не вдохнул в него дар речи.

— Так что, — заметил Утц, — Адам был не только первым человеком. Он был еще и первой керамической скульптурой.

— Вы хотите сказать, что ваши фарфоровые статуэтки живые?

— И да и нет, — ответил он. — Они и живы и не живы. Но если бы даже они были живыми, им бы все равно пришлось умирать, не так ли?

— Вам виднее.

— Верно. Виднее.

— Ладно, — сказал я, — расскажите еще про големов.

Одну из своих любимых историй о големах Утц, по его словам, вычитал в средневековом тексте, найденном Гершомом Шолемом. Там рассказывается, как Иисус Христос (подобно *нашему* другу И. И. Кендлеру) лепит из глины птиц. И когда Он произносит священную формулу, птицы взмахивают крылышками, начинают петь и улетают. Герои второй истории ("Ах, какая это еврейская история!") — два раввина. Проголодавшись, они вылепили из глины теленка, оживили его — после чего перерезали ему горло и сытно поужинали.

Что касается изготовления голема, то, согласно наставлению, приводимому в "Сефер Йецира", или "Книге Творения", для этого требуется определенное количество нетронутой горной земли, которую нужно смешать со свежей родниковой водой, после чего вылепить из образовавшейся массы человеческую фигуру. При изготовлении каждой конечности необходимо произносить буквы еврейского алфавита в особом порядке. Затем следует несколько раз обойти фигуру по часовой стрелке — тогда голем оживет и встанет. Если двигаться против часовой, он вновь обратится в прах.

Ни один из ранних источников не сообщает, умел ли голем говорить. Но память у него была, и он обладал способностью механически исполнять приказы. Нужно было только не забывать отдавать их через равные промежутки времени, иначе он мог взбеситься. Еще о големах известно, что они каждый день вырастали примерно на два сантиметра, очевидно стремясь достигнуть гигантского размера космического Адама, чтобы уничтожить своих создателей и покорить мир.

— Големы могли увеличиваться до бесконечности, — сообщил Утц. — Они были очень опасны.

Считается, что либо в повязке на лбу, либо под языком у голема помещалась металлическая пластинка, "шем", с начертанным на нем еврейским словом "эмет": "Правда Божия". Для того чтобы уничтожить голема, рабби достаточно было стереть первую букву и превратить "эмет" в "мет", что значит "смерть".

— Понятно, — сказал я. — Иначе говоря, этот "шем" был чем-то вроде батарейки?

— Совершенно верно.

— И без нее машина не работала?

— Именно так.

— А рабби Лёв...

— Нуждался в помощнике. Он был хорошим еврейским бизнесменом. Ему требовался бесплатный работник.

— Бесплатный и безответный!

Голема рабби Лёва звали Йосел.

По будням он работал: колол дрова, подметал улицу, прибирался в синагоге, а также исполнял роль сторожевого пса на случай нападения иезуитов. А в субботу — так как в субботу все создания Божии должны отдыхать — хозяин вынимал "шем", тем самым лишая голема жизни.

Но как-то раз в одну из суббот рабби забыл вынуть магическую пластинку, и Йосел словно с цепи сорвался. Он крушил дома, швырялся камнями, бросался на прохожих и вырывал с корнем деревья. Члены общины в этот момент собрались в Староновой синагоге на утреннюю молитву и пели девяносто второй псалом[1]: "...а мой рог Ты возносишь, как рог единорога..." Рабби выбежал во двор и сорвал "шем" со лба монстра.

Согласно другой версии, "смерть" настигла чудовище среди старых книг и талесов на хорах синагоги.

— Скажите, — спросил я, — внешне голем выглядел как еврей?

— Исключено, — категорически отверг мое предположение Утц. — Ведь голем был слугой, а слуги в еврейских домах всегда были гоями.

— Значит, у голема были нордические черты?

— Да, — подтвердил он. — Точнее сказать, "великаньи" черты.

Утц задумался. Потом перешел к самому непростому аспекту этой темы:

— Согласно всем легендам, создатель голема обрел тайное знание и в то же время нарушил божественный закон: делать человекоподобную фигуру — святотатство. Фактически голем был ходячим предупреждением против идолопоклонства и сам стремился к собственному уничтожению.

— Так что же, по-вашему, — спросил я, — коллекционирование предметов искусства — тоже идолопоклонство?

— А как же! — Утц ударил себя в грудь. — Разумеется! Разумеется! Именно поэтому евреи — а в этом отношении я считаю себя евреем — такие талантливые коллекционеры! Потому что это запрещено!.. Потому что это греховно!.. Потому что это опасно!..

— Ваши статуэтки тоже стремятся к собственной гибели?

Он потер подбородок.

— Не знаю. Это очень запутанный вопрос.

Все другие посетители уже разошлись. На одном из надгробий свернулась черная кошка. Служитель сказал нам, что кладбище закрывается.

— А теперь, друг мой, — предложил мне Утц, — если вы не против, я покажу вам свою коллекцию карликов.

От стоящего в подъезде мусорного бака исходил тяжелый дух гниющих капустных листьев. При нашем приближении из-под крышки бака выпрыгнула крыса. В квартире на втором этаже плакал ребенок. А кто-то разучивал "Славянские танцы" Дворжака на расстроенном фортепиано. На площадке третьего этажа дверь одной из квартир распахнулась, и хозяйка высунулась посмотреть, кто идет. Я разглядел истеричное лицо в обрамлении ярко-рыжих кудряшек. На женщине был халат, расписанный огненно-красными пионами. Смерив нас негодующим взглядом, она остервенело хлопнула дверью.

1. В синодальном переводе это девяносто первый псалом.

— Эта женщина не в себе, — извинился за соседку Утц. — Когда-то она была знаменитой сопрано.

На площадке верхнего этажа он перевел дыхание, нашарил ключ и открыл передо мной дверь. Я сразу же узнал характерный запах. Так обычно пахнет в помещениях, где хранятся произведения искусства и уборка становится непростым и опасным делом.

В грязноватой зеленой кухоньке сидела домработница Утца.

Это была крупная краснощекая женщина с желтоватыми седеющими волосами в униформе горничной, смотрящейся на ней чрезвычайно нелепо. Поверх черного шерстяного платья — белый фартук с оборками и кружевная ленточка вокруг лба. На ногах — черные чулки с дырками на коленях.

Наш приход явно не был для нее неожиданностью.

Она баюкала на коленях блюдо из расписного белого фарфора. Моих художественных познаний хватило, чтобы понять, что передо мной — один из предметов знаменитого Лебединого сервиза, изготовленного Кендлером для первого министра Саксонии графа Брюля. На блюде лежали ломтики сыра, крекеры, венгерская салями и кусочки соленых огурцов, вырезанные в виде цветочков. Она почтительно склонила голову:

— Guten Abend, Herr Baron[1].

— Guten Abend, Marta, — отозвался Утц.

Мы прошли в комнату. Единственное, занавешенное тюлем окно на северной стороне выходило на кладбищенские деревья.

— Я не знал, что вы барон, — сказал я.

— Да, — покраснел он, — еще и барон.

Комната, к моему удивлению, была декорирована в "современном стиле": мебели почти не было — только кушетка, стол со стеклянной столешницей и пара барселонских кресел, обтянутых зеленой кожей. Утц "спас" их в Моравии, вывезя из дома, построенного Майсом ван дер Роэ.

Это было узкое помещение, казавшееся еще у́же из-за высокого (от пола до потолка) стеллажа с зеркальными полками, в два ряда заставленными фарфором. Задняя стенка стеллажа тоже была зеркальной, что создавало иллюзию анфилады сверкающих покоев, некоего огромного сказочного дворца, где наши отражения выплывали из глубины, как привидения.

Пол был покрыт серым ковром. Нужно было внимательно смотреть под ноги, чтобы ненароком не сбить белые фарфоровые статуэтки пеликана, индюка, медведя, рыси и носорога, сделанные либо Кендлером, либо Эберлейном для Японского дворца в Дрездене. Все пять фигурок — в шрамах-трещинах из-за ошибок при обжиге.

Утц указал на стоявшие на столе напитки: виски, сливовица и сифон с газированной водой.

— Я думаю, виски?

— Виски, — кивнул я.

Услышав шипение сифона, служанка внесла в комнату тарталетки на блюде из Лебединого сервиза. Она двигалась как робот, словно Утц — эта мысль невольно закрадывалась в голову — сотворил женщину-голе-

1. Добрый вечер, господин барон (*нем.*).

ма. Но вместе с тем я заметил в ее глазах и уголках рта нечто вроде улыбки превосходства.

— Cheerio![1] — сказал Утц, пародируя выговор английского джентльмена.

— Ваше здоровье! — я поднял бокал и огляделся по сторонам.

Я не специалист по мейсенскому фарфору, но мои блуждания по художественным музеям кое-чему меня научили. Более того, я бы даже не назвал себя большим любителем мейсенского фарфора. Хотя меня безусловно восхищает неистовая энергия такого художника, как Кендлер, и его смелый выбор материала, которым тогда еще никто не пользовался. И разумеется, я солидарен с Утцем в его неприятии Винкельмана, критикующего в своих "Заметках о пристрастии простонародья к фарфору" это непосредственное искусство с позиций мертвого классицизма.

Мне представляется необычайно интересным и тот факт, что Porzellankrankheit[2] Августа Сильного настолько изменила мировоззрение и его самого, и его министров, что их горячечные "керамические прожекты" повлияли на политику. В адрес Брюля, ставшего директором мейсенской мануфактуры, Хорейс Уолпол отпускает следующее ядовитое замечание: "...в отличие от Фридриха Великого, жившего в палатке как простой солдат, этот в основном интересовался безделушками..."

Формируя свою коллекцию, Утц старался отразить все черты и особенности "фарфорового" века: остроумие, обаяние, галантность, любовь к экзотике, холодность и беспечность — иначе говоря, все то, что было сметено революцией и втоптано в грязь солдатскими сапогами.

На самых длинных полках стояли блюда, вазы, кувшины и супницы. Я увидел коробочки для хранения чая из полированной красной глины, сделанные "изобретателем" фарфора Йоганном Фридрихом Бётгером. Были там и бётгеровские высокие пивные кружки в оправах из позолоченного серебра, и разные чайнички: с пейзажами Ватто, с носиками в виде орлиных голов и, наконец, разрисованные золотыми рыбками на китайский или японский манер.

Утц подошел ко мне, тяжело дыша.

— Красиво, да?

— Красиво, — согласился я.

Он продемонстрировал мне чудесный экземпляр "Indianische Blumen"[3] и бирюзовую вазу, расписанную Горольдтом: Августа возводят на трон императора Китая.

Утц показал мне мейсенские подражания бело-голубому фарфору эпохи Кун-Ши, который так страстно обожал Август, опустошивший (услуги парижских и амстердамских торговцев стоили недешево) ради него свою казну. Как со стоном говаривал министр промышленности граф фон Чирнхаус: "Фарфор — это китайская чаша для саксонской крови".

Однако самое почетное место было отведено супнице из Лебединого сервиза — фантастическому изделию в стиле рококо на гнутых ножках, представляющих собой сплетенных рыб, с витыми ручками в форме нере-

1. Зд.: "Ваше здоровье!" (*англ.*)
2. Фарфоромания (*нем.*).
3. Индийские цветы (*нем.*).

ид и крышкой, украшенной цветами, раковинами, лебедями и дельфином с выпученными глазами. Чудовищное уродство, если бы не бурная радость, которой все было проникнуто и которая вправду спасала положение.

Я ахнул от восторга, понимая, что самый короткий путь к сердцу коллекционера – неуемное восхищение его приобретениями.

– Идите сюда, – позвал меня Утц через комнату.

Пробравшись между пеликаном и носорогом, я подошел ко второму стеллажу, где на полках в пять-шесть рядов теснились статуэтки XVIII века, все как одна нарядные и блестящие. Я увидел персонажей комедии дель арте: Арлекин и Коломбина, Бригелла и Панталоне, Скарамуш и Труффальдино, Доктор со штопором вместо бороды и испанец Капитан со жгуче-черными усами.

Утц напомнил мне, что итальянские актеры – настоящие! – были мастерами импровизации и договаривались, что и как они будут играть, за пять минут до начала представления.

Он показал мне персонификацию континентов: Африка в леопардовой шкуре, Америка в перьях, Азия в шляпе в форме пагоды и похотливая толстозадая Европа верхом на белой лошади.

Затем шла вереница придворных дам с застывшими улыбками и покачивающимися кринолинами, в напудренных париках, с мушками на щеках и с бархотками на шеях. Одна дама гладила мопса; другая – целовалась с польским дворянином; третья обнималась с саксонцем, а под юбку к ней заглядывал Арлекин. Мадам Помпадур в лиловом платье с узором из роз исполняла арию из "Ациса и Галатеи" Люлли, которую она действительно пела, выступая со своим партнером, принцем де Роаном, в Малом театре Версаля.

Нашлось место и представителям низшего сословия: шахтер, дубильщик, лесоруб, портниха, парикмахер и в стельку пьяный рыбак.

Пастушки выводили трели на своих флейтах. Турок курил кальян. Кого там только не было: монголы, индийцы-малабары, черкесы и китайские мудрецы с реденькими бородками и певчими птицами, примостившимися у них на пальцах. Группка масонов склонилась над глобусом. Паломник нес дорожную суму и створчатую раковину – отличительный знак пилигрима, посетившего Святую Землю, а скорбящая Богоматерь сидела рядом с безутешной монахиней.

– Браво! – воскликнул я. – Невероятно!

– Теперь посмотрите-ка на этих весельчаков! – Утц погладил по щеке карикатурного буффона. – Это придворный шут Фрёлих. А вон тот – почтмейстер Шмайдль.

Эти двое шутов когда-то выступали на королевских приемах, заставляя публику весь вечер хохотать до упаду. По мнению Утца, они и фарфоровые почти такие же смешные, как настоящие. Шмайдль, рассказал он, патологически боялся мышей. Вот почему художник изобразил его в тот момент, когда зловредный Фрёлих пугает его мышеловкой.

– У Кендлера, – хихикнул Утц, – было замечательное чувство юмора. Он был прирожденным сатириком и всегда выбирал для своих портретов таких людей, над которыми можно посмеяться.

Я выдавил из себя нервный смешок.

– Теперь, сэр, соблаговолите-ка посмотреть вот сюда.

Фигурка, на которую он указывал, изображала сопрано Фаустину Бордони. Фаустина в экстазе выводила какую-то арию, а рядом лис ак-

компанировал ей на спинете. Фаустина, сообщил Утц, — это Каллас своего времени. У нее был муж, придворный композитор Хассе, и любовник по имени Фукс.

— Фукс, — заметил Утц, — как вам, вероятно, известно, по-немецки значит "лис".

— Да, я знаю.

— Забавно, не правда ли?

— Весьма, — поддакнул я.

— Хорошо, значит, в этом пункте мы сходимся.

Он оглушительно расхохотался и трясся от смеха до тех пор, пока не вошла Марта с очередной порцией тарталеток и очередным "Herr Baron!".

Едва она повернулась спиной, он вновь провалился в свой мир фарфоровых человечков. Его лицо просветлело. Он улыбнулся, обнажив нездоровые розовые десны, и продемонстрировал мне своих обезьянок-музыкантов.

— Чу́дные, правда?

— Правда, — согласился я.

На обезьянках были круглые плоеные воротнички и напудренные парики; послушные палочке дирижера-тирана в голубом фраке, они пиликали на скрипках, дудели в духовые, бренчали на струнных и пели — очевидная насмешка над домашним оркестром графа Брюля.

— Кроме меня, — похвастался Утц, — ни у кого в мире нет полного комплекта.

— Поздравляю, — сказал я.

На обезьянах зверинец не заканчивался — моему взору предстали трясогузки, куропатки, выпь, парочка ястребов-перепелятников, попугаи (большие и маленькие), иволги, сизоворонки и павлины с распущенными хвостами.

Затем я увидел верблюда, серну, слона, крокодила и лошадь, которую вел под уздцы чернокожий наездник. На розовой бархатной подушечке свернулся калачиком любимый мопс графа Брюля, а на самой нижней полке лежал фарфоровый конский хвост в натуральную величину, похожий на крупную рыбину-альбиноса. По словам Утца, хвост изготовили для конной статуи Августа, которую собирались воздвигнуть в еврейском квартале Дрездена.

После этого Утц снял с полки одного из семи Арлекинов, того самого, что в детстве подарила ему бабушка, и, перевернув его вверх ногами, указал на "скрещенные мечи" — клеймо мейсенской фабрики, а также на инвентарный номер и буквы кода.

Инвентарный номер свидетельствовал, что данная вещь является собственностью Национального музея.

— Но эти ребята просчитались, — шепнул Утц.

Февральским утром 1952 года Утца разбудил грозный стук в дверь. В квартиру ввалились трое незваных гостей: музейный куратор, молодая женщина-фотограф и прыщавый крепко сбитый дядька, представлявший, как догадался Утц, органы безопасности.

В течение последующих двух недель он оказался беспомощным свидетелем разгрома, учиненного в доме этой троицей: весь ковер изгваздали талым снегом, буквально каждую вещь "инвентаризировали". Кура-

тор строго-настрого предупредил его, чтобы он не вздумал подделывать ярлыки, иначе коллекцию конфискуют.

Наибольшее отвращение у Утца вызвала фотограф, фанатичка с астигматизмом, то и дело доводившая его до полуобморока. Она была абсолютно уверена, что Утц — преступник, просто потому, что хранит у себя сокровища, по праву принадлежащие народу.

— В самом деле? — ядовито осведомился он. — Это по какому же праву? По праву грабителей, так, что ли?

Дядька из органов посоветовал ему прикусить язычок — а то хуже будет. Фотограф, носившаяся со своей камерой как с писаной торбой, превратила гостиную во временную фотостудию. Когда однажды Утц нечаянно задел объектив, она выставила его в спальню.

О ее профессиональной компетентности он судить не мог, но ее близорукость и чудовищная неуклюжесть, с которой она брала в руки фарфоровые фигурки, повергали Утца в мрачное оцепенение — сидя на краешке кровати, он с замиранием сердца ждал звука разлетающегося на куски фарфора. Он умолял, чтобы ему самому позволили ассистировать при фотосъемке. Ему приказали не вмешиваться.

В конце концов, когда фотограф отбила-таки голову у тролля работы Ватто, Утц не выдержал.

— Заберите его! — взвизгнул он. — Заберите его в ваш проклятый музей! Я не хочу его больше видеть!

Фотограф пожала плечами. Агент поиграл желваками. Куратор ушел в уборную и вернулся оттуда с мотком туалетной бумаги. Завернув отдельно голову, отдельно туловище, он положил фигурку себе в карман.

— Эта вещь, — объявил он, — не будет внесена в список.

— Спасибо, — сказал Утц. — Большое вам спасибо.

Когда они наконец ушли, Утц понуро оглядел свою лилипутскую семью. Он чувствовал себя униженным и потерянным, как человек, вернувшийся из путешествия и обнаруживший, что в его доме побывали воры. Какое-то время он подумывал о самоубийстве. Незачем — а зачем, собственно? — жить дальше. Но нет! Этот выход не для него! Он не из таких. Но сможет ли он бросить коллекцию? Сжечь мосты? Начать все с чистого листа за границей? У него, слава богу, имелись еще кое-какие сбережения в Швейцарии. Как знать, может быть, в Париже или в Нью-Йорке он соберет новую коллекцию?

Он решил, что, если ему удастся уехать, он уедет.

Самым надежным способом добыть выездную визу во времена Готвальда считался запрос о заграничном путешествии в связи с ухудшением состояния здоровья. Процедура была отлаженной: сперва следовало пойти к своему участковому врачу, чтобы тот написал соответствующее заключение.

— Вы страдаете от депрессии? — спросил доктор Петрасельс.

— Непрестанно, — ответил Утц. — С самого детства.

— У вас нарушена работа печени, — сказал врач, явно не собираясь заниматься тщательным осмотром. — Я бы советовал вам съездить в Виши.

— Но ведь... — запротестовал было Утц. — Чехословакия как-никак страна минеральных источников. Лечебные воды есть в Мариенбаде... И в Карлсбаде. Не покажется ли это подозрительным?

— Абсолютно нет, — заверил его врач. — Виши — место известное. В том числе и властям предержащим. Утцу нужно именно туда.

— Ну, если вы так считаете, — неуверенно пробормотал Утц.

Чиновник в визовом отделе бросил беглый взгляд на врачебное заключение, равнодушно произнес слово "Виши" и отправился проверять досье. Явившись в то же самое учреждение через неделю, Утц узнал, что ему дали разрешение на месячное пребывание за рубежом. Он подписал бумагу, в которой обязался не распространять ложных слухов, порочащих Чехословацкую Социалистическую Республику. Коллекцию фарфора признали залогом его хорошего поведения и своевременного возвращения на родину.

Сотрудник визового отдела дал понять, что у них имеются "свои способы" установить, куда именно отправился Утц после пересечения границы с Западной Европой и прибыл ли он в Виши. Утца поразило, что никто не поинтересовался, на какие, собственно, средства он собирается существовать в другой стране. Может быть, невольно подумалось ему, это ловушка?

— На что они рассчитывают? — недоумевал он. — Что я буду питаться воздухом?

Накануне отъезда, когда все вещи были собраны, билеты куплены, документы готовы, он отдельно попрощался с каждой фигуркой коллекции. Марта по его просьбе готовила ужин на двоих.

Она застелила стеклянную столешницу чистой камчатной скатертью, и Утц, оглядев сияющие тарелки из Лебединого сервиза,-солонку и столовые приборы с фарфоровыми ручками, почти поверил, что его мечта сбылась: он — реинкарнация Августа и живет в фарфоровом дворце.

Марта, которую он сам когда-то научил делать суфле, спросила, в котором часу придет гость. Утц встал. Поправил галстук. Затем чуть снисходительно поцеловал ее шершавую руку.

— Сегодня, дорогая Марта, моя гостья — ты.

От смущения Марта залилась краской. Стала отказываться, уверять, что недостойна, и в конце концов, разумеется, с радостью согласилась.

Она родилась в поселке Костелец в Южной Богемии, в семье деревенского плотника. Мать рано умерла от туберкулеза, а отец спился и однажды в пьяной драке едва не убил собутыльника. Подвергнутый остракизму и обвиненный в дурном глазе, он вынужден был покинуть родные места. Двух старших дочерей он отослал к тетке, а младшую взял с собой. Он устроился лесорубом в поместье Утца — Ческе-Крижове. После его смерти (его придавило упавшим деревом) управляющий имением выставил девочку на улицу.

Поначалу она кормилась тем, что помогала пекарю и прачке. Потом — из страха угодить в работный дом — сбежала на ферму присматривать за стадом гусей. Спала в сарае, на соломенном тюфяке.

Она пела странные бессвязные песни и считалась дурочкой — особенно с той поры, как влюбилась в гусака. Дети в сельских районах Европы в те времена еще верили сказкам про волков-оборотней; про звезды, которые на самом деле никакие не звезды, а летящие по небу утки; и про красавца-принца, превращенного в гусака.

Гусь Марты был великолепной белоснежной птицей, наводящей ужас на окрестных лис, собак и детей. Она вырастила его из маленького гусенка, и всякий раз при ее появлении он радостно гоготал и обвивал шеей ее бедра. Иногда на рассвете, когда все еще спали, она плавала со своим возлюбленным в озере, позволяя ему перебирать ее длинные светлые волосы.

Однажды в конце тридцатых годов, когда Утц ехал на своем двухместном "стейре" из замка на станцию, чтобы сесть на утренний поезд до Праги, он увидел промокшую до нитки девушку, за которой гналась толпа деревенских парней. Утц притормозил и распахнул перед ней дверцу.

— Поедем со мной, — ласково предложил он.

Она сжалась от страха, но не посмела ослушаться. Он отвез ее в замок.

В жизни Марты началась новая глава — она стала прислуживать по дому. Обожающим взглядом следила она за каждым движением своего господина, и ему то и дело приходилось отдергивать руку, которую она так и норовила облобызать. Четыре года спустя, когда он назначил ее чем-то вроде мажордома, другие слуги, озадаченные странностями этого чудаковатого холостяка, распустили слух, что она делит с ним ложе.

Правда заключалась в том, что в мире, где предательство становилось нормой, особенно после смерти верного бабушкиного мажордома, Марта была единственным человеком, которому он мог доверять. Только она знала, где прячется гебраист Краус со своими Талмудами. Рискуя жизнью, она носила ему еду на сеновал. Лишь у нее был ключ от погреба, где всю войну пролежала коллекция фарфора.

Она стояла на часах, готовая в любую минуту предупредить Утца о нападении одурманенных коммунистической пропагандой крестьян, вообразивших, что новая власть и новая идеология позволяют им безнаказанно грабить помещиков. Исключительно благодаря ей Утцу удалось беспрепятственно вывезти из замка свои сокровища.

В Праге она сняла крохотную сырую комнатушку под самой крышей в одном из соседних с Утцом домов на Широкой улице. Когда ее как-то раз вызвали на допрос и начали допытываться, сколько она получает, Марта возмутилась. Она — не наемная работница и ухаживает за господином Утцем просто как друг.

Пригласив ее разделить с ним вечернюю трапезу, Утц тем самым как бы подтвердил, что дружба принята.

За ужином он объяснил ей причину своего отъезда.

— Господи, — ахнула она, — неужто заболели?

От ужаса она даже уронила нож с вилкой.

Он развеял ее страхи на этот счет, но ничего не сказал о своих эмигрантских планах. Пока он в отъезде, он просит ее ночевать в его квартире — в его кровати, если ей захочется, — и следить за тем, чтобы все двери были тщательно заперты. Время от времени Марту будет навещать его друг, д-р Орлик, так что, если ей что-нибудь понадобится, она смело может к нему обращаться.

Вино ударило ей в голову. Она раскраснелась. Может быть, болтала чуть больше, чем следует. Это был один из самых счастливых вечеров в ее жизни.

Утром она снова пришла к Утцу сварить кофе. Затем помогла ему дотащить чемодан до такси. После чего поднялась в квартиру, села у окна и долго слушала мерный шум дождя.

На границе Утца ждали таможенники.

Они его обыскали, вытряхнули всю мелочь из карманов — в умении издеваться им не было равных! — и конфисковали приготовленную Мартой корзиночку с едой. Не обнаружив в его багаже ничего, что могло быть классифицировано как произведение искусства, они забрали "Волшебную гору" Томаса Манна и парочку черепаховых гребней.

— В музей понесли, — пробормотал Утц, глядя вслед удаляющимся зеленым фуражкам.

Когда проехали Нюрнберг, тучи рассеялись и показалось солнце. Поскольку читать теперь ему было нечего, приходилось просто глядеть в окно на телеграфные провода, остроконечные цинковые крыши деревенских домов, фруктовые сады, коров на лугах, заросших лютиками, и на группки светловолосых детей, которые висли на шлагбаумах у переездов, размахивая ранцами. Он заметил, что сигнальные будки изрешечены пулями.

Его соседями по купе оказалась пара молодоженов. Молодая беременная женщина перелистывала альбом со свадебными фотографиями. На ней было серое платье, отделанное кружевами. Синеватые ноги небриты, крашеные волосы — темные у корней.

Молодой человек, как не без злорадства отметил Утц, поглядывал на нее с отвращением. Ему было явно не по себе в американской военной куртке, и всякий раз, когда жена к нему прикасалась, его буквально передергивало. Это был смуглый худощавый парень с черными курчавыми волосами и толстыми губами. Ногти — в никотиновых пятнах. Он был похож на араба. Или на цыгана. А может, на итальянца. Итальянец, решил Утц, услышав его акцент. Наверное, бедствовал, голодал, а у нее были деньги. Но, бог ты мой, какую цену он заплатил!

Женщина начала распаковывать корзинку с едой, и Утц поумерил свой критический пыл. Ему жутко хотелось есть. Не слишком ли он к ней строг? А вдруг она его угостит? Он заранее приготовил благодарную улыбку. Затем, словно пес, вытянувшийся перед хозяйским столом, наблюдал, как она заглатывает два крутых яйца, шницель, бутерброд с ветчиной, полцыпленка и несколько кружков колбасы, нашпигованной чесноком. Она запила все это пивом, почмокала губами и продолжила рассеянно отщипывать и запихивать в рот кусочки ржаного хлеба.

Ее муж практически не притронулся к еде.

Утц почувствовал, что не выдерживает напряжения. К черту гордость! Он попросит! Вымолит, если на то пошло! Он уже собрался сказать: "Пожалуйста!", и молодой человек, очевидно заметивший его порыв, оторвал цыплячью ножку и — еще бы чуть-чуть — переправил ее Утцу, но тут женщина с криком: "Нет! Нет! Нет!" вырвала ножку и взялась за апельсин.

Купе наполнил аромат апельсина. О! Чего бы он не отдал сейчас за апельсин! Даже за одну-единственную дольку апельсина! Апельсины, которые можно было достать в Праге (как правило, с черного хода в каком-нибудь посольстве), были обычно сморщенными и безвкусными. А этот так и истекал соком под пальцами чудовища.

Утц откинул голову и закрыл глаза. Ему вспомнился афоризм Августа: "Стремление к обладанию фарфором подобно страстному желанию отведать апельсин".

Женщина потребовала у мужа салфетку — вытереть пальцы. Затем почистила и проглотила второй апельсин, за которым последовали ломтик сыра, кусок чечевичного пирога, кусок орехового торта, пирожок со сливами. Затем обжора налила себе кофе из термоса. После чего сыто рыгнула. И сверх того она без конца докучала своему несчастному супругу, требуя постоянных подтверждений его любви. Он что-то шептал ей на ухо. Утц снова натянул обворожительную улыбку в отчаянной надежде на последний бутерброд с ветчиной. Но женщина, смерив его осоловелым взглядом, с трудом поднялась на ноги и — выкинула бутерброд в окно.

Когда эта маленькая драма подошла к концу, Утц пробормотал по-немецки, причем достаточно громко, чтобы его услышали:

— В Чехословакии так бы никогда не поступили.

Утром на платформе в Женеве его ждал сотрудник банка. Встречу организовал швейцарский посол в Праге, в те времена "лучший друг всех и каждого".

Утц последовал за нелепой тирольской шляпой в привокзальную уборную, где ему вручили пачку швейцарских франков и факсимиле акций в толстом конверте, упакованном в оберточную бумагу.

Нужно было убить два часа до поезда в Лион и Виши. Не придумав ничего лучшего, он сдал багаж в камеру хранения и отправился завтракать в кафе напротив вокзала. Кофе был слабый, круассаны черствые, а вишневый джем отдавал консервантами.

Он огляделся по сторонам. Почти все столики были заняты бизнесменами, уткнувшимися в финансовые разделы газет.

— Нет, — сказал себе Утц. — Мне это не нравится.

В отеле Виши все переставили и перекрасили, очевидно, пытаясь замазать тот позорный факт, что в здешних апартаментах заседало правительство Лаваля. Номер Утца был обставлен мебелью в стиле Людовика XVI, выкрашенной в серый цвет. Ковер был синим, стены — светло-голубыми с белым бордюром: интерьер детской, начала новой жизни. На комоде стояли щербатый гипсовый бюст Марии-Антуанетты и современные эстампы, запечатлевшие других не блиставших умом дам XVIII столетия.

— Нет-нет! — расстроился Утц. — Это ужасно. Французам изменил вкус.

Не порадовал его и визит к доктору Форестье, человечку с пергаментной кожей, обрушившему на него целый поток снобистских колкостей. Не понравился и его кабинет в готическом доме, увитом павлониями. Не понравились гигантские здания с кремовой лепниной (в кондитерском стиле 1900-х годов), тянущиеся вдоль бульвара Соединенных Штатов, где совсем недавно помещалась штаб-квартира гестапо. Не понравились грязевые ванны, обтирания, массаж лица и душ Шарко. Не внушало оптимизма и то, что, судя по перекошенным лицам других страдальцев, толку от этих процедур не было никакого.

Не примиряла с действительностью и компания низкорослых старичков, "бывших полковников", испортивших желудки в Африке или Индокитае и теперь с бутылочками минеральной воды в руках мелкими осторожными шажками прогуливающихся по крытому променаду неподалеку от рю дю Парк. Не пришел он в восторг и от массажиста — "не-

обычайно внимательного молодого человека" — с его геронтофильским энтузиазмом. Наверное, решил Утц, дело в том, что он еще недостаточно стар. Не пришлись ему по душе и работницы Grand Établissement Thermal[1] — суровые женщины в белых халатах и перчатках, управлявшие всякими "лечебными аппаратами", "les instruments de torture"[2], которые наверняка оценил бы Кафка. Во время одной из процедур его привязали к седлу и аккуратно, но довольно сильно били по животу боксерскими перчатками.

Однажды он услышал английскую речь — оглянулся и тут же отвел глаза: инвалиды войны, кто без руки, кто без обеих ног, играли в покер, сидя в белых пластмассовых креслах с перфорированными сиденьями, похожими на дуршлаки. Как-то раз после ужина ему чуть не бегом пришлось спасаться от женщины в турмалиновом бархатном платье, по-немецки рассуждавшей об Ага-хане.

Он стал болезненно чуток к посторонним взглядам, особенно одиноких мужчин. Ему мерещилась слежка.

Кто, скажите на милость, вон тот юноша в мешковатом костюме? Он определенно видел его в Праге, в фойе гостиницы "Алькрон". Нет! Не видел. Молодой человек оказался обыкновенным коммивояжером — продавцом средств гигиены.

Утц прошелся по антикварным магазинам — ничего примечательного: парочка будд из геотита и аляповатые часы в имперском стиле. В одной из лавок продавщица попыталась всучить ему египетские амулеты и колоду карт таро. В магазинчике, торгующем кружевами, он присмотрел было передник для Марты.

— Но ведь я же не возвращаюсь, — вспомнил он, помрачнев. — А потом, его все равно украдут на таможне.

Он пошел на бега и заскучал. Еще бóльшая тоска охватила его на концерте, где исполняли "Сюиту из Финляндии". И уж совсем невыносимо стало на представлении в "Гран Театр дю Казино", которое открывали "Les Plus Belles Girls de Paris" (все англичанки!) и продолжили "Les Hommes en Crystal"[3] — группка педерастов, вымазанных серебряной краской.

В антракте он размышлял об абсурдности своего положения. Вот он, еще один никому не нужный беженец из Восточной Европы, угодивший в недружелюбный мир! И не просто беженец, а самый никчемный: иммигрант-эстет.

После антракта его настроение улучшилось.

На сцену вышла Люсьенн Буайе, "La Dame en Bleu"[4], маленькая кругленькая женщина под пятьдесят, но как бы без возраста, в платье из темно-синего атласа, с синей розой, пикантно подчеркивающей ее глубокое декольте. Стоя перед микрофоном, она начала исполнять песню за песней. Утц навел театральный бинокль на ее подрагивающую шею, и его зрачки расширились. Когда она спела "Parlez-moi d'amour"[5], он вскочил на ноги и крикнул: "Браво! Браво! Бис!", после чего она исполнила эту вещь еще четыре раза. А когда по окончании представления

1. Зд.: Центр термальной терапии.
2. "Орудия пытки".
3. "Самые красивые девушки Парижа"... "Хрустальные мужчины".
4. "Дама в синем".
5. "Говорите мне о любви".

она покинула театр в сопровождении кавалера (гораздо моложе ее), Утц побрел домой, в свой "Павильон Севинье", по мощеным улочкам, скользким от палой листвы, побитой недавним градом, поблескивая лысиной в свете фонарей, слегка покачиваясь и мурлыча себе под нос припев: "Je vous aime... Je vous aime..."[1]

Утц верил — свою роль тут могли сыграть как русская художественная литература, так и история знакомства его родителей в Мариенбаде, — что курорт с минеральными водами — идеальное место для судьбоносной встречи. Двое одиноких людей — по причине ли пошатнувшегося здоровья или несчастья, — оказавшиеся на парковых дорожках посреди клумб, засаженных муниципальными ноготками, просто обречены на знакомство. В какой-то момент их взгляды обязательно встретятся. Брошенные друг к другу естественным притяжением полов, они присядут на одну и ту же скамейку и обменяются первыми незначащими фразами: "Вы часто бываете в Виши?" — "Нет. Я здесь впервые". — "Я тоже!" Волшебный вечер завершится в его или ее номере. Возможно, роман закончится печальным прощанием ("Нет, дорогой, пожалуйста, не провожай меня!"), а может быть, перед лицом, казалось бы, неотвратимой разлуки они, отбросив сомнения, решат не расставаться уже никогда.

Утц приехал в Виши, ясно сознавая, что, если от него потребуется сделать этот решительный шаг, он не отступит.

Он надеялся... Нет, он был уверен, что отыщет в этой толпе одиночек нежную, не слишком юную, тонко чувствующую женщину, которая полюбит его. Не за внешность. На это, увы, рассчитывать не приходилось... Но ведь у него есть другие достоинства!

Бывало, что женщины останавливали на нем свой благосклонный взор. Порой казалось, что счастливый исход уже близок, но тут обязательно звучали роковые слова: "Видели бы вы его коллекцию!" — и ледяной сквозняк задувал огонь его страсти.

Быть любимым за богатство — что может быть ужаснее?!

Но где же эта неуловимая женщина, готовая упасть в его объятия? Именно "упасть", избавив его от необходимости гоняться за ней! Он устал охотиться за драгоценностями.

Может быть, вон та американка с платиновыми волосами (наверное, вдова или разведенная), очевидно приехавшая в Виши для косметических процедур? Умная, но не добрая. Слишком резкая — ему не понравилось, как она разговаривала с барменом.

А может, вот эта красотка с вкрадчивым голосом, золотистыми волосами и чувственным ртом? Парижанка, вне всякого сомнения. Он впервые увидел ее в утренней толпе у источника целестинцев. Она шла вдоль белой решетки, увитой плющом, одетая в белое полупрозрачное платье, в шляпке из жатого шифона. Довольно упитанная, как говорится, пышка. Наверное, скоро совсем растолстеет. Нет, она часами пропадала в телефонной будке и выходила оттуда с потерянным видом, бессмысленно хихикая.

А может быть, вон та аргентинка? "Grande mangeuse de viande"[2], как сказал официант. Оказавшись рядом с ней в казино, Утц так и за-

1. "Я вас люблю... Я вас люблю..."
2. "Большая любительница мяса".

стыл у ее игрального стола, загипнотизированный длинными рубиновыми ногтями, небрежными движениями, которыми она передвигала фишки по зеленому сукну, и веной на шее, вздувшейся под жемчужным ожерельем. Нет! К ней присоединился муж.

И вот однажды он увидел *ее*! Днем, в холле гостиницы: высокая, с бледными руками и темными волосами, уложенными в шлем на затылке. На ней были теннисные туфли. Застегивая чехол с теннисной ракеткой, она благодарила за урок чересчур оживленного тренера. Тоном, не оставлявшим никаких надежд.

Утц услышал — а может, ему просто показалось, — что она говорит по-французски с едва уловимым славянским акцентом. Она не была спортивной — в ней чувствовалась восточная томность. Может быть, турчанка, эдакая женщина-гитара, с нежными щеками, нервно подрагивающими губами и чуть раскосыми зелеными глазами. Ее нельзя было назвать красавицей по современным меркам... Тип гаремной женщины.

— Скорее всего, русская, — догадался Утц. — Даже наверняка. С примесью татарской крови.

Она была уже не молода и казалась очень печальной.

Утц потерял покой. Ожидая, когда она наконец снова появится в холле, он мысленно нарисовал себе ее невеселую эмигрантскую судьбу: квартира в Монако; потом — когда проданы последние фамильные драгоценности — меблирашка в Париже; отец крутил баранку такси, а после работы играл в шахматы. Чтобы получить возможность оплачивать медицинские счета, ей пришлось принести себя в жертву коммерсанту, поддерживающему ее на определенном финансовом уровне, но не считающему нужным отказываться от молоденькой любовницы. Сейчас он развлекается с любовницей на Ривьере, а бездетную жену услал лечиться в Виши.

Она спустилась вниз незадолго до ужина, по-прежнему одна, в белых открытых туфлях и сером платье в горошек. Увидев трусящую за ней собачонку (силихемтерьера), Утц вспомнил известный рассказ Чехова и еще сильнее уверился в неизбежности встречи.

Сохраняя дистанцию, он последовал за ней в парк на Алье и сел на скамью, мимо которой она почти наверняка должна была пройти. В этом уголке парка пахло лилиями и жасмином.

"Viens, Maxi! Viens! Viens!"[1] — услышал он ее голос. А когда она подошла к развилке, то выбрала именно ту тропку, что вела к нему.

— Bonsoir, Madame![2] — осклабился Утц и хотел уже поздороваться с Макси.

Женщина вздрогнула и ускорила шаг.

Он остался сидеть, растерянно слушая, как похрустывает гравий под ее каблуками. В столовой, проходя мимо него, она отвернулась.

В следующий раз он увидел ее утром — на пассажирском сиденье серебристой спортивной машины. Она обнимала за шею мужчину, сидевшего за рулем.

Утц спросил портье, кто она. Оказалось, бельгийка.

Он решил сосредоточиться на еде.

1. Зд.: "Сюда, Макси!"
2. Добрый вечер, мадам!

В книжном магазинчике на улице Клемансо он в первый же день своего пребывания в Виши купил так называемый "гастрономический гид". Утц всегда заботился о своем желудке и испытывал непреодолимую нежность к поварам.

Сколько раз в войну, особенно когда бывало страшно, он представлял себе всякие лакомства. В тот день, когда его забрали на допрос в гестапо, вместо того чтобы сосредоточиться на абстрактных темах смерти и депортации, он вспоминал фантастическое блюдо из зеленой фасоли, заказанное им в ресторанчике у проселочной дороги в Провансе.

Позже, когда во время зимних перебоев с продовольствием ему приходилось неделями питаться капустой, капустой и снова капустой, он утешался мыслью, что как только это безумие кончится и границы снова откроются, он опять сможет ходить по французским ресторанчикам.

Он изучил "гид" с той скрупулезной тщательностью, которую обычно приберегал для фарфора: где заказать лучшие "quenelles aux écrevisses", "cervelas trufflé" или "poulet à la vessie". А также "bourriouls", "bougnettes", "flaugnardes", "fouasses"[1] (в этих названиях так и слышался газ!). Или редкое белое вино "Шато-Грийе", которое, как утверждалось, обладает ароматом виноградных цветов и миндаля, а характером напоминает капризную девушку.

Решив применить полученные знания на практике, он зарезервировал столик в ресторане на берегу Алье.

День выдался солнечным и достаточно теплым, чтобы можно было сидеть на террасе под полотняным навесом в зеленую и белую полоску, лениво хлопавшим от легкого ветерка. На столе перед каждым прибором стояло три винных бокала. Какое-то время он разглядывал отражения склонившихся над рекой тополей и ласточек, стремительно носившихся туда-сюда над водной гладью. На другом берегу расположились рыбаки с женами и детьми. Разложив на траве свои припасы, они тоже готовились перекусить.

Официанты суетились вокруг "короля гастрономии", прибывшего к ним с ежегодным визитом. Багровея щеками и неся перед собой необъятный живот, он вошел в ресторан сразу после Утца. Теперь, запихав за ворот салфетку, он настраивался на нелегкий труд по поглощению завтрака из восьми блюд. Метрдотель принес Утцу меню, и Утц приветствовал его благодарной улыбкой.

Пробежав глазами список фирменных блюд, он выбрал. Передумал. Выбрал. Опять передумал. В конце концов он остановился на супе из артишоков, форели "Мон Дор" и фаршированном поросенке по-лионски.

— Et comme vin, monsieur?[2]

— А вы бы что порекомендовали?

Официант, приняв Утца за профана, тыкнул в две самые дорогие бутылки в меню: "Монтраше" и "Кло-Маргио".

— А "Шато-Грийе" есть у вас?

— Нет, мсье.

— Ну что ж, — покладисто кивнул Утц. — Тогда последуем вашему совету.

1. Кнели из раков; сардельки с трюфелями; пулярка, запеченная в свином мочевом пузыре; десертные блюда из теста.
2. Какое вино, мсье?

Еда его разочаровала. Даже не качеством или видом... Но суп, вроде бы изысканный, оказался каким-то безвкусным, слой сыра грюйер, в котором запекали форель, — слишком толстым; да и поросенок был фаршированчем-то не вполне подходящим.

Он снова с завистью поглядел на рыбаков, обедавших на другом берегу: молодая мать кинулась к воде спасать своего малыша, подползшего слишком близко к краю... С какой радостью Утц сидел бы сейчас с ними — их домашние пироги уж точно не безвкусные! А может, дело в нем самом? Может быть, это он перестал чувствовать вкус пищи?

Счет был намного больше, чем он рассчитывал. Он покинул ресторан в скверном расположении духа. У него кружилась голова и болел живот.

Утц сделал печальный вывод: роскошь привлекательна исключительно на фоне бедности.

Днем небо заволокло тучами, и начался дождь. Лежа в номере, он раскрыл роман Андре Жида. Увы, его французского оказалось недостаточно — он потерял нить повествования.

Отложив книгу, Утц невидящим взором уставился в потолок.

Его не сломали ужасы войны и революции, почему же, недоумевал он, так называемый "свободный мир" кажется ему такой пугающей бездной? Почему, ложась в свою гостиничную кровать, он всякий раз испытывает жуткое ощущение, будто падает в лифте? В Праге он понятия не имел, что такое бессонница. Почему здесь он никак не может уснуть?

Он лежал и думал о своих сбережениях. В Чехословакии у него не было повода беспокоиться о деньгах — либо их не было вовсе, либо они существовали только теоретически. Теперь, разложив на покрывале свои сертификаты, он в два часа ночи суммировал цифры портфолио, выискивая ошибки и тщетно пытаясь понять, почему при растущем рынке его состояние в Швейцарии так катастрофически съежилось. Почему при том, что исходные вложения были весьма значительны, нынешние показатели настолько ничтожны? Его наверняка водят за нос. Пользуются тем, что он далеко. Но кто? И где подвох?

В том же книжном магазинчике он купил карманный атлас мира и, перелистывая страницы, старался представить теперь, в какой стране ему хотелось бы жить. Или, точнее, в какой стране он был бы наименее несчастен.

Швейцария? Италия? Франция? Три реальные возможности. Ни одна не привлекает. Германия? Ни за что! Разрыв окончателен. Англия? Нет. Он никогда не простит им бомбежку Дрездена. США? Исключено. Там чересчур шумно. Прага, при всех ее недостатках, — это город, где слышно, как падают снежинки. Австралия? Его никогда не вдохновляли колонии. Аргентина? Он уже слишком стар для танго.

Чем дольше он обдумывал возможные альтернативы, тем отчетливее вырисовывалось неизбежное решение. Не то чтобы он надеялся на счастливую жизнь в Чехословакии. Ясно, что его будут дергать, запугивать, унижать. Ему придется изворачиваться, подхалимничать, в общем, играть по их правилам. Серьезным тоном произносить их безграмотные формулы. Постоянно идти на компромиссы.

И тем не менее Прага — единственный город, соответствующий его меланхолическому темпераменту. К чему еще можно стремиться в наше

время, если не к состоянию спокойной печали? И впервые, почти против воли, он почувствовал, что преклоняется перед своими чешскими соотечественниками — не за их "марксистский выбор"... сегодня любой дурак знает, что марксистская философия дышит на ладан! Его восхищал их отказ от резких движений.

Уставясь на идиотскую люстру, он добрался в своих размышлениях до самого тревожного пункта.

Он жутко соскучился по дому. И при этом совершенно не думал о коллекции. Он думал о Марте и только о Марте.

Его мучила совесть! Ведь фактически он бросил ее: родную бедняжку, которая в нем души не чаяла, жила только им и для него, скрывая свою страсть под маской сдержанности, долга и послушания.

Он и раньше подумывал о том, чтобы взять ее с собой на Запад, но она не говорила ни на одном языке, кроме чешского. Даже по-немецки и то знала всего несколько слов. Она бы чувствовала себя здесь — он не сразу подобрал подходящее клише — как рыба, выброшенная из воды.

Он вспомнил, как, запыхавшись после подъема по их крутой лестнице, она с сумками входит в квартиру — и снежинки мигают на ее лисьей шапке. Ее способность торговаться была просто феноменальной. Она могла достать бог знает что, имея всего лишь доллар в кармане.

Ради него она готова была часами стоять в очередях.

Порой она набивала сумки грязной картошкой. Кто-кто, а она-то знала, что милиционер, если ему взбредет в голову проверить сумку, ни за что не захочет пачкать руки. А вернувшись домой и высыпав картошку в раковину, выуживала со дна фазана или зайца, привезенного на рынок из деревни.

Казалось, Марта была связана с деревней беспроволочным телеграфом или системой дымовых сигналов.

— Где ты раздобыла такие замечательные яйца? — бывало, спрашивал он, когда Марта подавала на стол золотистое суфле.

— У одной бабы купила, — отвечала она, явно не желая вдаваться в подробности.

Она инстинктивно понимала, почему он так заботится о мелочах: соус в соуснике, накрахмаленные манжеты рубашки, севрские кофейные чашки по воскресеньям — для кофе из жареного ячменя и цикория! — все это были маленькие акты неповиновения, демонстрация того, что он не сдался. Он видел, что это не простая забота, а любовь. Но не мог заставить себя ответить тем же — да она этого и не требовала.

Их самым счастливым временем был грибной сезон, начинавшийся обычно во второй половине августа, после первых серьезных ливней. Прихватив корзинку с едой, они садились на ранний поезд до Табора, там пересаживались на автобус до Ческе-Крижове, а затем, старательно обогнув большой дом, входили в лес. Он говорил, что грибы — единственное, ради чего стоит возвращаться в эти места.

Они с Мартой, как малые дети, забывшие за игрой о делениях на касты и классы, кричали друг дружке из-за деревьев: "Смотри-ка, что я нашел!.. Ух ты, вот это да!" Это мог быть подосиновик, "зонтик" или семейка желто-оранжевых лисичек.

Никто, кроме них и нескольких дровосеков, не знал о той поляне, где еще в бытность свою владельцем имения он смастерил из расщепленного молнией бука стол и скамеечку.

Они раскладывали свои находки на столе шляпками вверх, отбраковывая подгнившие и червивые, соскребая землю, но оставляя сосновую иголку или налипший листочек папоротника.

— Особо-то не усердствуйте, — наставляла она его. — От грязи они только вкуснее будут.

Потом она жарила их на спиртовке в масле, с изрядным количеством сметаны.

Однажды на обратном пути в Прагу они сделали остановку на таборской городской площади, где у местных грибников были свои прилавки под навесами из мешковины, защищавшие их сокровища от солнца.

Его встретил приветственный гул голосов. "Гляди-ка! Гляди-ка! Хозяин вернулся!" — крикнула крестьянка в белом платке, надвинутом на самый лоб так, что видны были только щеки и обветренный нос. Он наткнулся на знакомого старичка доктора, фанатика грибной охоты, горячо спорящего с профессиональным микологом о каких-то редких видах. И на их бывшую прачку Марианну Палах, сморщившуюся как сухой стручок и все-таки продолжавшую не только ходить по грибы, но и держать собственный прилавок.

Люди шутили, торговались, продавали и покупали. Самим своим видом доказывая, что вопреки всем изуверским идеологиям торговля была и остается одним из самых естественных и приятных занятий на свете и что запретить ее так же невозможно, как, допустим, отобрать у человека право влюбляться...

Что я здесь делаю? — очнулся от забытья Утц.

Он взглянул на часы. Так, ужин он пропустил. Он пошел в ванную повязать перед зеркалом галстук. Подровнял усы. (Между прочим, я до сих пор не уверен, были ли у него усы — не исключено, что я их все-таки выдумал.) Оглядел свой упрямый маленький рот и сказал: "Нет!"

Он не станет вливаться в этот бесконечный поток эмигрантов. Чтобы потом жаловаться на жизнь в снятых комнатах. Он понимал, что антикоммунистическая риторика такая же мертвая, как и ее коммунистический двойник. Он не бросит свою страну. Во всяком случае, не ради этих.

Он вернется. Несмотря на то что — у него не было на этот счет никаких иллюзий! — фарфор и снобизм неотделимы друг от друга: придворные дамы с их ледяными улыбками опять отправят Марту на кухню, где ей придется смиренно сидеть в стареньком наряде служанки и черных чулках с дырками на коленях.

Он спустился в ресторан. За соседним столиком две пары оживленно спорили о том, насколько хороши и хороши ли вообще "Аляска", "Плавучий остров" и "Омлет по-норвежски". Женщины говорили громкими скрипучими голосами. Мужчины были толстыми и в перстнях.

Казалось, что их меню состоит исключительно из сладкого: "Мон блан", профитроли, фруктовый салат, торт "Татен", малиновое мороженое со взбитыми сливками, шоколадный торт со взбитыми сливками...

— Какая гадость, — пробормотал Утц. — Нет. Ни за что здесь не останусь.

Он встал из-за стола, подошел к портье и сказал, что уезжает утренним поездом.

При пересечении границы с Чехословакией он невольно загрустил при виде колючей проволоки и вышек с часовыми и порадовался тому, что исчезли рекламные щиты.

Утц был одним из тех редких индивидуумов, которые вопреки реалиям "холодной войны" полагали, что железный занавес в сущности не толще папиросной бумаги. Благодаря своим зарубежным капиталам и силе внушения, действовавшей как на него самого, так и на пражских чиновников, он сумел усидеть на двух стульях: быть и в том и в другом лагере.

Каждый год он совершал традиционное паломничество в Виши. Его неприятие режима к концу апреля достигало своего апогея: некомпетентность — вот что выводило его из себя, некомпетентность — прямое следствие идиотской борьбы с идеей частной собственности! А кроме того, к апрелю его начинала мучить клаустрофобия — сказывались зимние месяцы в обществе прекрасной Марты. И конечно, скука, от которой хотелось рвать и метать после стольких недель тет-а-тет с безжизненным фарфором.

Перед отъездом он говорил себе, что никогда-никогда больше не вернется — одновременно делая все необходимые приготовления для возвращения, — и отправлялся в Швейцарию в превосходном расположении духа.

Маршрут оставался неизменным: сначала Женева, где он встречался с банкирами и антикварами, затем — Виши и только Виши: попить минеральной воды, подышать свежим воздухом свободы, который, впрочем, очень скоро делался спертым, отведать дорогой и невкусной еды.

Затем он несся домой как ошпаренный. Однажды на субботу-воскресенье он съездил в Париж — что совершенно выбило его из колеи.

Эти поездки раздражали всех. Для Марты тридцать дней без него были сплошным мучением, временем траура. Для госчиновников, оформлявших его выездную визу в искренней уверенности, что такому неисправимому декаденту и впрямь место в Виши, Америке или еще каком-нибудь злачном месте в том же роде и всерьез гордившихся своей добротой (ведь они фактически позволяли ему уехать), его возвращение было поступком безумца.

Не менее озадачивающим казалось оно и для вереницы консулов французского и швейцарского посольств. Ведь они привыкли думать, что из таких стран, как Чехословакия, люди типа Утца просто обязаны перемещаться в западном направлении; само предпочтение дома эмиграции представлялось им чем-то вроде извращения, верхом неблагодарности. А может быть, тут замешались и низменные мотивы? Не шпион ли часом мсье Утц?

Нет. Он не был шпионом. Чехословакия, объяснил он мне во время нашей дневной прогулки, вполне сносное место для житья. Конечно, при условии, что у тебя остается возможность уехать. Ну а кроме того, признался он с виноватой улыбкой, его не отпускает Porzellankrankheit. Коллекция превратила его в пленника.

— И, несомненно, загубила мою жизнь!

В порыве откровенности он сообщил мне о тайном запасе мейсенского фарфора в сейфе женевского "Юньон де банк сюис".

Всякий раз, когда его акции шли вверх и достигали определенной отметки, он покупал очередной предмет в коллекцию с тем расчетом, что если по качеству (количество в данном случае было не так уж важно) женевская коллекция приблизится к его пражскому собранию, он, возможно, вновь вернется к своим "отъездным" планам.

Однажды, кажется в 1963 году, в Виши прибыл нью-йоркский продавец антиквариата д-р Мариус Франкфуртер — специально для того, чтобы предложить Утцу фарфоровую композицию, вообще-то не входящую в круг его непосредственных коллекционерских интересов. Композиция, известная под названием "Поедатель спагетти", была изготовлена не в Мейсене, а в Неаполе, на фабрике Каподимонте.

Все в том же небесно-голубом гостиничном номере д-р Франкфуртер освободил фарфор от многочисленных слоев оберточной бумаги и с благоговением священника, демонстрирующего гостию собранию молящихся, поставил его на комод. Утцу стоило немалых усилий отрешиться от вопиющего несоответствия перламутрового свечения глазури и бородавчатой кожи продавца. Впрочем, такова жизнь! Уродливое всегда тянется к прекрасному!

— Ну, — сказал д-р Франкфуртер.

— Ну... — поджал губы Утц.

Вещь была потрясающей. Разумеется, он не собирался этого говорить.

Пульчинелла — Чарли Чаплин итальянской комедии — откинувшись, сидел в чем-то вроде инвалидного кресла, облаченный в просторную льняную рубаху с зеленым кружевным воротничком. На голове у него была белая коническая шляпа, похожая на колпак танцующего дервиша. Неаполитанский юноша в алой шапочке и лиловых бриджах кормил его из ночного горшка.

Особенное впечатление произвели на Утца завитки спагетти: часть из них попадала в рот Пульчинеллы, а часть — в одну из его глубоких ноздрей.

Но цена! По-видимому, она приводила в священный ужас и самого д-ра Франкфуртера — во всяком случае, называя ее, он понизил голос до шепота.

— Ну, — сказал Утц, придя в себя от первоначального шока, — я ведь никогда не покупал итальянский фарфор. Откуда мне знать, что вещь подлинная?

— Подлинная? — задохнулся в благородном негодовании д-р Франкфуртер.

Конечно, подлинная. Утц в этом не сомневался. Он просто тянул время.

Но доктор обиделся. И даже сделал вид, что готов снова упаковать вещь в оберточную бумагу. Но затем смягчился и забросал Утца именами аристократических итальянских родов, которым она в разное время принадлежала и которые значили для Утца не больше, чем названия железнодорожных станций от Вентимильи до Бари, пока в захлебывающемся перечне знаменитых владельцев он не добрался до самой королевы Марии Амалии.

— О, — сказал Утц, — неужели?

Насколько он знает – а д-р Франкфуртер знал! – до того, как стать неаполитанской королевой, эта некрасивая, изрытая оспой женщина была принцессой Саксонии и правнучкой Августа Сильного.

Именно она, дабы дать выход своей неукротимой германской энергии, основала в 1739 году в Неаполе фабрику по производству фарфора буквально в двух шагах от королевского дворца.

Утц принял решение: он купит "Поедателя спагетти" – хотя бы для того, чтобы вырвать его из потных рук д-ра Франкфуртера. Но без боя он не сдастся!

Доктор (в какой, собственно, области он был доктором, оставалось загадкой) повел дело так, словно само его предложение – знак особой приязни. Он показал Утцу каталог с фотографией "Поедателя спагетти", химический анализ глины и квитанцию с аукциона 1949 года. Что же касается цены, то, по его словам, это "prix d'ami"[1]. Он уже десять раз мог продать ее в Америке, причем вдвое дороже.

Тактикой Утца была критика неаполитанской фабрики как таковой. Вещь, твердил он, не в русле его интересов. Хотя он был бы не прочь иметь ее в коллекции "в целях сравнительного изучения".

День выдался облачный и ненастный. Утц взглянул в окно на деревья парка. Он рассчитывал сбить цену по крайней мере на треть. Д-р Франкфуртер уперся как осел.

Пять раз дилер удалялся по коридору с коробкой под мышкой. Пять раз Утц его возвращал. Однажды они добрались до фойе, и другим постояльцам пришлось оторопело наблюдать, как два уже не молодых господина взволнованно тараторят о чем-то по-немецки на повышенных тонах.

В конце концов они договорились – просто от изнеможения!

За этим последовало торопливое пакование чемоданов и отъезд на поезде в Женеву, где Утц пообещал снять оговоренную сумму наличными. В пути оба молчали. Д-р Франкфуртер весь сжался от страха, что Утц в последнюю минуту передумает и все-таки увильнет от сделки. Утц горевал, что слишком рано сдался.

На ступенях "Юньон де банк сюис" они холодно пожали друг другу руки.

– Что ж, до встречи в будущем году, – сказал д-р Франкфуртер.

– До встречи, – кивнул Утц и повернулся спиной к подъехавшему такси.

Он возвратился в банк. Ему не терпелось осмотреть покупку в одиночестве.

Он вошел в знакомый подземный коридор с нескончаемыми рядами депозитных сейфов из нержавеющей стали, сходящихся вдали в точку, словно железнодорожные рельсы. Кто знает, что в них хранится? На музей хватит, хмыкнул он, уйма дорогостоящей ерунды. На равных промежутках вдоль стен стояли столы, освещенные лампами на металлических кронштейнах, чтобы клиенты могли повосхищаться своими сокровищами. Женщина в рыжем парике вертела в руках изумрудный браслет. За другим столом ливанский продавец уверял нервного молодого человека в очках, что сильно окислившееся бронзовое животное – подлинник. Молодой человек этому не верил.

1. Зд.: "дружеский жест".

Утц услышал, как он произнес: "Archifaux!"[1], и похолодел.

А вдруг д-р Франкфуртер всучил ему подделку. Утц сорвал оберточную бумагу. Осмотрел фигурки под лупой. И облегченно вздохнул:

– Исключено. Это подлинник.

Спагетти были настоящим чудом. Так же как и нос Пульчинеллы. Эмаль по своей тонкости и цветовой проработке превосходила мейсенскую. Он правильно поступил! Для такой вещи это совсем не дорого. Можно сказать, дешево! А кроме того, он влюбился в нее! И когда пришло время запереть ее в стальном саркофаге, Утц заколебался.

– Нет, – решил он, – я не оставлю ее здесь.

И вот в то время, когда другие тайно вывозили из Чехословакии – в дипломатическом багаже или в чемодане друга-иностранца – любую попавшую к ним ценную вещь (табакерку, украшение какого-нибудь предка, вермейский десертный сервиз – вилку за вилкой), Утц лег на противоположный курс.

– Я провез ее контрабандой, – шепнул он, стоя посреди комнаты, примерно на равном расстоянии от рыси и индюка. Я поднялся, больно стукнувшись голенью о стол работы Майса ван дер Роэ. "Поедатель спагетти" помещался на центральной полке, справа от мадам де Помпадур.

– Марта! – позвал Утц.

Домработница внесла блюдо с очередной порцией тарталеток, но, увидев наше местоположение, тут же ретировалась обратно на кухню и, схватив две алюминиевые кастрюли, начала бить в них, как в цимбалы.

– Теперь нас не услышат, – шепнул мне на ухо Утц, привстав на цыпочки.

– Вас подслушивают?

– Постоянно, – хохотнул он. – Один микрофон вот в этой стене. Другой – в той. Третий – в потолке, и не знаю, где еще. Они слушают каждое слово. Буквально все. Но этого *всего* слишком много! Поэтому они не *слышат* ничего.

Грохот кастрюль напоминал лающее тарахтение пневматической дрели. Вскоре к нему присоединился стук палки или швабры нам в пол. Очевидно, стучала соседка снизу, разъяренная сопрано.

– Иногда, – сообщил Утц, – они вызывают меня к себе и спрашивают: "Чем вы там занимаетесь? Бьете фарфор?" – "Нет, – отвечаю я, – это Марта готовит ужин". Один из них, не могу этого не признать, человек с юмором. Мы подружились.

– Подружились?

– Заочно... По телефону. Учимся любить друг друга. Это правильно, как вам кажется?

– Вам виднее.

– Да, мне виднее.

– Хорошо.

– Хорошо, – повторил он. – Теперь мне бы хотелось задать вам несколько вопросов.

Бум!.. Бум!.. Бум!.. Бум!.. Бум!.. Бум!..

– Сколько, по-вашему, мог бы сегодня стоить кендлеровский Арлекин на аукционе в Лондоне?

1. Зд.: "Подделка".

— Понятия не имею.

— Как это? — нахмурился он. — Вы так прекрасно разбираетесь в фарфоре и не знаете цен?

— Я могу попробовать предположить...

— Давайте, — хмыкнул он, — попробуйте.

— Десять тысяч фунтов.

— Десять тысяч? Сколько это в долларах?

— Почти тридцать тысяч.

— Вы правы, сэр! — Утц прикрыл глаза. — На последнем аукционе он ушел за двадцать семь тысяч долларов. Это было в Америке, в галерее Парк-Бернет. Причем у него была отколота рука.

Бух!.. Бух!.. Бух!.. Бух!.. Бух!..

— А сколько стоят вазы императора Августа?

Я уже не помню, какую именно цену назвал. Во всяком случае, по моим представлениям, достаточно высокую, чтобы доставить ему удовольствие. Но он досадливо поджал нижнюю губу и потребовал: "Больше! Больше!"

Одну вазу и то оценили дороже на парижском аукционе в отеле "Друо", а у него полный комплект, причем в идеальном состоянии: ни единой трещины.

Мало-помалу я вошел во вкус этой "угадайки" и постепенно научился называть те цифры, которые ему хотелось услышать. Делая необходимые поправки, я оценил выпь, носорога, брюлевскую супницу, Фрёлиха и Шмайдля, Помпадур и даже "Поедателя спагетти".

Мы провели таким образом около часа. Утц указывал на какую-нибудь вещь на полках. Марта била в кастрюли. Я, сложив ладони ковшиком вокруг его уха и пачкая пальцы его брильянтином, называл все более и более фантастические суммы. Иногда он взвизгивал от удовольствия. Наконец он сказал: "Итак, сколько, по-вашему, стоит вся коллекция?"

— Миллионы.

— Ха! Вы правы, — согласился Утц. — Я фарфоровый миллионер.

Грохот кастрюль умолк, уступив место звуку шипящего масла.

— Поужинаете со мной? — предложил Утц.

— Спасибо, — не стал отказываться я. — Можно воспользоваться вашей ванной?

Утц сделал вид, что не расслышал.

— Можно воспользоваться вашей ванной? — повторил я.

Он вздрогнул. Его лицо исказил нервный тик. Он принялся крутить запонку, бросая панические взгляды в сторону кухни, — и наконец взял себя в руки.

— Ja! Ja! Разумеется, — пробормотал он и мимо двуспальной кровати провел меня в безукоризненно чистую ванную комнату, выложенную в шахматном порядке зеленой и фиолетовой плиткой в стиле модерн. Сама ванна была старой, с облупившейся эмалью.

Я закрыл за собой дверь и увидел невероятный наряд.

Это был халат. Но не обычный — из махры или верблюжьего волоса, а совершенно поразительное одеяние из стеганого искусственного шелка персикового цвета, с аппликацией из роз на плечах и воротником, украшенным розовыми страусиными перьями.

Этот неожиданный наряд поверг меня в смятение — воображение рисовало картины, к которым я, честно говоря, не был готов.

Я потянул за цепочку слива. Сквозь рокот и всхлипы бегущей воды я услышал, как Утц с Мартой о чем-то спорят по-чешски. Ему явно хотелось, чтобы я поскорее вернулся в гостиную, но я не спешил.

Я остановился полюбоваться гравюрой XIX века, запечатлевшей фейерверк в Цвингере. Потом поразглядывал фотографию героя-родителя и его великолепную награду на черной бархатной подушечке. На венецианском черном туалетном столике лежали сочинение Шницлера и роман Стефана Цвейга. На трюмо стояла большая коробка с тальком или пудрой для лица. Я заметил еще три неожиданные вещи: четки, распятие и наплечник пражского Младенца Иисуса. Кружевной абажур с кистями был слегка прожжен лампочкой. Розовые занавески с оборками и розовое атласное покрывало, явно знавшие лучшие дни, создавали атмосферу немного старомодного аляповатого женского будуара.

В свете этого открытия я взглянул на Утца по-новому. У него был лысый череп, но, кто знает, может быть, в тумбочке спрятан парик?

Не глядя мне в глаза, он поставил на проигрыватель пластинку с фортепианной сонатой саксонского придворного композитора Яна Дисмаса Зеленки.

Вошла служанка и, не скрывая раздражения, грохнула на стол два прибора, злобно звякнув вилками и ножами о стеклянную столешницу. Вышла и снова вернулась, держа в руках большое мейсенское блюдо со свиными отбивными, кислой капустой и клецками в мясном соусе.

Утц ел с угрюмой сосредоточенностью. Время от времени он запихивал в рот кусочки хлеба, отхлебывал вина и молчал, бросая на меня недовольные взгляды. Похоже, он уже жалел, что пригласил в дом этого любопытного иностранца, нарушившего его душевный покой. Да и вообще, кто знает, чем все это кончится...

Всякий раз, когда служанка заглядывала в комнату, он досадливо кривился. Но после нескольких рюмок расслабился и повеселел.

Отрезав и поддев на вилку кусочек мяса, он помахал им в воздухе и сказал:

— Когда я вижу свинину, я невольно вспоминаю, что "pork" и "porcelain"[1] — однокоренные слова.

— То есть как? — удивился я. — Вы серьезно?

— Абсолютно. А разве вы этого не знали?

— Нет.

— Тогда я объясню.

Он снял с полки и протянул мне маленькую белую раковину каури — обычный экземпляр Cypraea moneta. Не нахожу ли я, что своей формой она напоминает поросенка?

— Пожалуй.

— Прекрасно, — сказал он. — Значит, в этом мы с вами сходимся. — Каури служили валютой в Африке и Азии, где их обменивали на слоновую кость, золото, рабов и прочие рыночные товары. Марко Поло называл их "porcelain shells"[2], а "porcella" по-итальянски значит поросенок.

1. Свинина... фарфор (*англ.*).
2. Фарфоровые ракушки (*англ.*).

Утц уютно икнул — очевидно, давала о себе знать кислая капуста.

— Простите, — извинился он.

— Ничего страшного.

Затем жестом фокусника он словно из воздуха извлек бутылочку из полупрозрачного белого фарфора эпохи Кубла-хана. Он приобрел ее в Париже еще до войны. Не кажется ли мне, что ее поверхность похожа на каури?

— Кажется.

— Спасибо.

Затем он показал мне фотографию практически идентичной бутылки из сокровищницы собора Св. Марка — по легенде она прибыла в Венецию в багаже самого Марко Поло.

— Теперь вы улавливаете связь между "pork" и "porcelain"?

— Думаю, что да, — сказал я.

Считалось, что китайский фарфор такой же волшебный, как рог единорога или алхимическое золото, которое, как многие надеялись, способно подарить вечную молодость. Полагали, что фарфоровая чашка треснет или изменит цвет, если в нее нальют яд.

Марта убрала со стола и подала кофе, а к нему карлсбадские сливы. Утц снова икнул и принялся забрасывать меня вопросами.

Был ли я в Китае? Читал ли я письма отца Маттео Ричи или описание фарфорового производства, выполненное отцом д'Антреколем? Насколько глубоки мои познания в китайском фарфоре эпохи Сун? Мин? Цин?

Китайские императоры, сообщил он, уже четвертый век потрясают воображение европейцев своей мудростью, долгожительством и судейской праведностью. Многие верили, что законы, которыми они руководствуются, имеют небесное происхождение. Известно, что они пили из фарфора. Строили пагоды из фарфора. Гладкая блестящая поверхность фарфора идеально соответствовала их гладкой неморщинистой коже. Фарфор был их материалом, подобно тому как золото было материалом "короля-солнца".

— Кстати, — ухмыльнулся Утц, — наши советские друзья до сих пор не жалеют денег на золото.

— То есть вы хотите сказать, — перебил я его, — что фарфоромания вашего Августа — следствие его знакомства с легендами о Желтом Императоре?

— Что значит "хочу сказать"? Именно это я и говорю. Между прочим, фарфором увлекались не только короли, но и философы! Например, Лейбниц!

Лейбниц, полагавший, что этот мир лучший из всех возможных миров, считал фарфор лучшим из его материалов.

Выросшая в дверях домработница вперила в своего хозяина тяжелый, требовательный взгляд, явно давая понять, что пора закругляться.

Но Утц не обратил на нее никакого внимания.

— А теперь посмотрите-ка на этих *господ!*

Господа представляли из себя пару одинаковых статуэток Августа Сильного в венке римского императора. Эдакие Тра-ля-ля и Тру-ля-ля в окружении дрезденских дам. Хотя они были вылеплены без особого тщания, в них чувствовалась витальная энергия африканского фетиша.

Одна фигурка была сделана из красной бётгеровской глины, так называемого яшмового фарфора. Другая — из белой.

— Скажите, — спросил меня Утц, — вы что-нибудь знаете о Бётгере?

— Немного, — признался я. — Только то, что он начинал как алхимик, а затем изобрел фарфор.

— Считается, что изобрел. Но не совсем так.

Я вытащил блокнот. Утц прочел мне короткую лекцию о Бётгере.

Иоганн Бётгер родился в 1682 году в Шляйце, в Тюрингии. Его отец был чиновником при Монетном дворе. Детство Бётгера прошло в мастерской деда, золотых дел мастера. Затем его отдали в обучение к фармацевту по имени Цорн.

Он начинает изучать труды по алхимии: блаженный Раймонд Луллий, Василий Валентин, Парацельс и "Aphorismi Chemici" ван Хельмонта. В этих сочинениях все алхимические вещества имеют собственные имена: Рубиновый Лев, Черный Ворон, Зеленый Дракон, Белая Лилия.

Он приходит к убеждению, что золото и серебро рождаются во внутренностях земли из красного и белого мышьяка. Однажды ночью товарищи-подмастерья находят его в лаборатории Цорна, едва живого от сильного отравления парами мышьяка.

Одним из клиентов Цорна был некто Ласкарис, греческий монах нищенствующего ордена, по слухам обладавший Красным Раствором, или Рубиновым Львом, капли которого достаточно, чтобы превратить свинец в золото.

Монах влюбился в юношу.

Бётгер получает в свое распоряжение фиал с Раствором и проводит первую "успешную" трансмутацию в доме друга-студента. Второй "успешный" эксперимент проходит в присутствии Цорна и других скептически настроенных свидетелей.

Берлинские дамы в восторге от молодого алхимика. Его слава растет и достигает ушей самого короля Фридриха Вильгельма, Великого Любовника, получившего образец золота от фрау Цорн. Король приказывает немедленно арестовать Бётгера.

Бётгер бежит в Виттенберг, находившийся в ту пору под юрисдикцией Августа Сильного.

В ноябре 1701 года короли Пруссии и Саксонии устраивают демонстративные военные маневры в непосредственной близости от границы. Кому из суверенов достанется изготовитель золота? В конце концов Бётгера, как какого-нибудь пустившегося в бега физика-ядерщика, под конвоем привозят в Дрезден.

В Юнгфернбастай, одной из тюрем, где ему предстоит провести последующие тринадцать лет, он ест с серебряных тарелок, держит ручную обезьянку и в секретной лаборатории ищет "arcanum universale", или философский камень.

К 1706 году саксонская казна пуста — не в последнюю очередь из-за Шведской войны и бесконечных королевских трат на китайский фарфор. Разгневанный бесплодностью бётгеровских экспериментов, Август грозится отправить его в другую лабораторию: камеру пыток.

Бётгер знакомится с графом фон Чирнхаусом, выдающимся химиком, другом Лейбница. Этот человек близок к созданию "настоящего"

фарфора. Ему остается только изобрести печь для обжига, обладающую достаточной жаропрочностью для работы с глазурью. Оценив талант Бётгера, Чирнхаус предлагает ему стать его помощником. Алхимик ради спасения своей жизни соглашается.

На двери мастерской Бётгер вешает записку следующего содержания: "По произволению Творца Вселенной создатель золота обращен в простого горшечника".

В 1708 году он отправляет Августу первые образцы красного фарфора, а затем и белого.

В 1710 году в Мейсене создается саксонская мануфактура и начинается промышленное производство фарфора. Алхимический термин "arcanum" становится официальным названием химического состава глины. Формула объявляется государственной тайной. Практически сразу один из ассистентов Бётгера выдает ее венским конкурентам.

В 1719 году Бётгер умирает от тоски, разочарования, пьянства и химического отравления.

В период инфляции 1923 года дрезденские банки выпускают временные дензнаки в красном и белом бётгеровском фарфоре.

Несколько таких "смешных денежек" Утц сохранил. Он высыпал их мне на ладонь, как шоколадки.

— Забавно, — сказал я.

— Самое забавное впереди.

Большинство исследователей, продолжил он, считают открытия Бётгера в области фарфора неким побочным продуктом его занятий алхимией, подобно ртутному лекарству Парацельса от сифилиса.

Он с этим не согласен. Не следует переносить на прошлые века наш параноидальный меркантилизм. Алхимия никогда — разве что среди ее самых вульгарных практиков — не была техникой умножения богатства ad infinitum[1]. Она была мистическим деланием. Попытки открыть секрет производства золота и производства фарфора — две стороны одного и того же процесса: поиска вещества, дарящего бессмертие.

Что касается его самого, то он занялся алхимией по совету Зигмунда Крауса. Во-первых, чтобы было куда приложить свои энциклопедические знания, а во-вторых, чтобы придать фарфоромании метафизическое измерение и таким образом застраховать коллекцию, переведя ее на духовный уровень на случай, если бы коммунистам вздумалось ее отобрать.

Утц читал Юнга, Гёте, Микаэля Майера, путаные заметки доктора Ди и "Герметическую мифологию" Пернетти. Он знал все, что следовало знать об "основательнице алхимии" Марии Еврейке, химике III века, которая, как считается, изобрела реторту.

Китайские алхимики, продолжил Утц, учили, что золото — "тело богов". Христиане, с их тягой к упрощению, приравняли его к телу Христову: совершенному неокисляющемуся веществу, эликсиру, способному вырвать нас из пасти Смерти. Но было ли то золото золотом в современном значении этого слова? Не являлось ли оно "aurum potabile", то есть подобием живой воды?

1. До бесконечности (*лат.*).

Считалось, что драгоценные камни и металлы, добавил Утц, вызревают в лоне земли. Подобно тому как полупрозрачный эмбрион вырастает в существо из крови и плоти, кристаллы, набирая цвет, обращаются в рубины, серебро — в золото. Алхимики верили, что могут ускорить этот процесс с помощью двух "тинктур": Белого Камня, посредством которого основные металлы превращаются в серебро, и Красного Камня, последнего достижения алхимии, — самого золота. Понятно?

— Надеюсь, что да, — вымученно улыбнулся я.

Он сменил тему.

Что мне известно о гомункулусе Парацельса? Ничего? Дело в том, что Парацельс, по крайней мере по его собственным словам, создал гомункулуса путем ферментации крови, спермы и мочи.

— Что-то вроде младенца в пробирке?

— Скорее что-то вроде голема.

— Я подозревал, что мы еще вернемся к големам.

— Правильно подозревали, — кивнул Утц.

А теперь он хотел бы, чтобы я высказал свое мнение по поводу истории с Навуходоносором и тремя отроками: Седрахом, Мисахом и Авденаго, которых запихнули в раскаленную печь для обжига, нагретую до температуры, в семь раз превышавшей обычную.

— Вы представляете себе, что это такое? — Утц помахал руками в воздухе. — В семь раз!

— Вы хотите сказать, что Седрах, Мисах и Авденаго были глиняными фигурами?

— Они могли ими быть, — отозвался он. — Во всяком случае, они уцелели в пламени.

— Ясно. Значит, вы всерьез думаете, что фарфоровые вещи живые?

— И да и нет, — хмыкнул он. — Фарфор умирает в огне и возрождается вновь. Вы должны понимать, что печь — это ад. Температура обжига фарфора — 1450 градусов Цельсия.

— Угу, — сказал я.

От полетов его фантазии у меня закружилась голова. В подтверждение своей теории Утц сообщил, что самый первый европейский фарфор — бётгеровская красная и белая глина — соответствовал красной и белой тинктурам алхимиков. Для такого суеверного старого императора, как Август, производство фарфора было шагом на пути к обретению философского камня.

А если так, если, согласно представлениям XVIII века, фарфор был не только и не столько очередным экзотическим материалом, а являлся мистическим и охранительным веществом, гораздо легче понять, почему король набил свой дворец сорока тысячами фарфоровых изделий. Или считал "arcanum" тайным оружием. Или обменял на фарфор шестьсот великанов.

Фарфор, заключил Утц, считался лекарством от старения.

Фридрих Великий, конечно, несколько развенчал эти метафизические иллюзии, когда без лишних сантиментов погрузил изделия мейсенской фабрики на повозки и отослал их в Берлин в качестве военных трофеев.

— Но что с него взять?! — похлопал ресницами Утц. — При всех его хваленых музыкальных способностях Фридрих, в сущности, был стопроцентным филистером.

В комнате стало почти совсем темно. Вечер был теплый, легкий ветерок морщил тюлевые занавески. На ковре слабо мерцали фигурки животных из Японского дворца.

— Марта! — крикнул Утц. — Свет, пожалуйста.

Служанка внесла свечу в мейсенском подсвечнике и водрузила ее посередине стола. Она поднесла спичку, и в стеклах стеллажей заплясали бесчисленные огоньки. Утц поставил на проигрыватель другую пластинку: на этот раз — речитатив Зербинетты и Арлекина из штраусовской "Ариадны на Наксосе".

Я уже говорил, что лицо Утца казалось восковым по текстуре. Сейчас, в свете свечи, воск как будто подтаял. Вещи, подумал я, тверже людей. Они — неизменное зеркало, глядясь в которое мы наблюдаем собственный распад. Ничто не свидетельствует о твоем износе с такой очевидностью, как коллекция произведений искусства.

Одного за другим Утц снимал с полок персонажей комедии дель арте и помещал их в лужу света на стеклянной столешнице, где они скользили и вертелись на своих подставках, похожих на застывшую золотую пену, с таким видом, словно вечно будут вот так смеяться, кружиться, импровизировать.

Скарамуш — бренчать на гитаре.

Бригелла — опустошать чужие кошельки.

Капитан — по-детски рисоваться и важничать, как все военные.

Доктор — убивать своего пациента, дабы избавить его наконец от болезни.

Панталоне — злорадно прицокивать, озирая мешки с деньгами.

Завитки спагетти будут вечно лезть в нос Пульчинеллы.

За направившимся в театр Иннаморатой, как за всеми трансвеститами во все времена, будет с улюлюканьем гнаться толпа.

Коломбина будет вечно любить Арлекина, до конца своих дней оставаясь "настолько безумной, чтобы ему доверять...".

А Арлекин — тот самый Арлекин — навсегда останется гениальным выдумщиком, гаером, непредсказуемым ловкачом, с надменным видом разгуливающим в своем разноцветном наряде и оранжевой маске. Он никогда не перестанет проказничать, прокрадываться на цыпочках в чужие спальни, продавать пеленки для детей главного евнуха, танцевать на краю гибели... Настоящий господин Хамелеон!

И вот когда Утц повернул эту фигурку в свете свечи, я вдруг понял, что недооценил его — он тоже танцевал! Мир этих фарфоровых человечков был для него реальным миром, а гестапо, агенты тайной полиции и прочие угрюмые громилы — всего-навсего игрушками из мишуры. Он научился воспринимать бомбардировки, блицкриги, путчи, чистки и другие сходные события нашего невеселого века как внешние шумы.

— А теперь, — предложил он, — давайте пройдемся. Подышим свежим воздухом.

Выходя, я поблагодарил Марту за ужин. По ее лицу скользнула тень улыбки. Не вставая с табурета и не сгибая туловища, она деревянно поклонилась, слегка подавшись вперед.

Вечер был теплый и душный. Вокруг фонарей вились мотыльки. На Староместской площади у памятника Яну Гусу толпилась молодежь:

юноши в белых рубашках с открытым воротом, девушки в немодных ситцевых платьях. Все они казались свежими и бодрыми.

Над шпилями Тынского собора сияли звезды, и под раскаты органной музыки из-под арки Школы богословия потянулись верующие, возвращавшиеся с мессы. До Пражской весны оставался еще год, но атмосфера, как мне помнится, была радостная. Поэтому я страшно удивился, когда Утц, повернувшись ко мне, внезапно процедил сквозь зубы:

— Ненавижу этот город.

— Ненавидите? Как же так? Вы же сами говорили, что он красивый.

— Ненавижу. Ненавижу.

— Все наладится, — сказал я, — в конце концов будет лучше.

— Вы ошибаетесь. Лучше не будет никогда.

Отрывисто кивнув, он пожал мне руку.

— Спокойной ночи, мой юный друг. Вы еще вспомните мои слова. А теперь позвольте откланяться. Пойду в бордель.

В тот год я отправил Утцу открытку на Рождество и получил от него открытку в ответ — с фотографией могильной плиты Тихо Браге и просьбой позвонить, если я снова наведаюсь в Прагу.

В последующие месяцы, когда весь мир с интересом следил за деятельностью товарища Дубчека, я пытался представить себе настроение Утца. Неужели, думал я, он по-прежнему упорствует в своем пессимизме?

Время шло, и, несмотря на угрожающие статьи в советской прессе, казалось все менее и менее вероятным, что Брежнев пошлет в Прагу танки. Но однажды вечером, когда я приехал в Париж, движение на бульваре Сен-Жермен было перекрыто и полицейские, вооруженные щитами и дубинками, сдерживали толпу демонстрантов.

На оккупацию Чехословакии понадобились ровно сутки.

Затаскивая сумку по ступеням отеля, я вынужден был с грустью признать, что Утц оказался прав. В декабре я послал ему новую открытку, но ответа не получил.

Зато д-р Орлик писал мне с завидной регулярностью. В своих посланиях (неизменно на казенных бланках Национального музея) — нацарапанных жутким почерком, который я едва разбирал, — он требовал от меня ксерокопий научных статей. Я должен был срочно разыскать какие-то особые кости мамонта в Музее естественной истории. А также выслать ему книги — разумеется, не дешевые: преимущественно монографии, подготовленные известными американскими университетами.

В одном из писем он информировал меня о своем новом научном проекте: муха (Musca domestica) в голландских и фламандских натюрмортах XVII века. Моя роль должна была состоять в том, чтобы изучить все имеющиеся репродукции картин Боссарта, Ван Хёйса и Ван Кессела на предмет наличия в них мухи.

Я не ответил.

Шесть лет спустя, в конце марта 1974 года Орлик прислал мне открытку в траурной рамке, на которой криво вывел: "Наш дорогой друг Утц скончался..." Слова "наш дорогой друг" показались мне не вполне уместными, учитывая, что мое общение с Утцом ограничилось в общей сложности девятью с чем-то часами и было это шесть с половиной лет

назад. Тем не менее, памятуя о трогательной привязанности двух стариков, я отправил Орлику короткое письмо, в котором поблагодарил его за это уведомление и выразил сочувствие.

Тут же последовал шквал новых, абсолютно невероятных полупросьб-полутребований: не мог бы я выслать тысячу американских долларов на поддержку деятельности некого малоимущего ученого? Не соглашусь ли я оплатить шестимесячную ознакомительную поездку по западноевропейским научным центрам? Не мог бы я прислать сорок пар носков?

Я выслал четыре пары.

Переписка оборвалась.

В августе я заехал в Прагу на обратном пути из Советского Союза. Настроение людей, особенно в небольших городах по берегам Волги и Дона, было на удивление жизнерадостным. Советская система образования, похоже, приносила свои плоды — в стране выросло целое поколение умной, образованной молодежи с довольно стойким отвращением к идеологии тоталитаризма.

Прага казалась не в пример более мрачной и подавленной. Хотя полки ломились от товаров, на лицах покупателей, бродивших по Вацлавской площади, застыло выражение отвращения к самим себе за то, что они, пусть временно, потеряли надежду. Из книжных магазинов исчезли произведения "Prag-Deutsch Schriftsteller"[1] Франца Кафки. Памятники, являющиеся символами национальной гордости, такие, как Тынский собор и собор Св. Вита, закрыли на реконструкцию, упрятав их фасады за ржавыми неказистыми лесами. Рабочих при этом видно не было.

Куда бы ты ни поехал, перед тобой вырастал знак "Проезда нет". Город, где ничего не стоило заблудиться и в лучшие времена, превратился в настоящий лабиринт тупиков. У меня создалось впечатление, что Прага скорбит не столько по своему былому экономическому процветанию, сколько по месту в европейской истории. Это был город, доведенный до предела отчаяния.

Нет, я, конечно, несправедлив. И в тогдашней Праге можно было найти немало свидетельств несокрушимости чешского духа.

Мне кажется, именно Утц был тем человеком, который впервые убедил меня в том, что история — наш проводник в будущее и совершенно непредсказуема. А будущее — мертвая территория, ничья земля, так как его еще не существует.

Когда на чешского писателя нападает охота порассуждать о бедственном положении своей родины, в его распоряжении имеется по крайней мере одна готовая метафора: восстание гуситов. В Музее Праги я наткнулся на текст, описывающий поражение гуситов от немецких рыцарей:

"Внезапно в полночь в самой гуще скопления войск Едома, разбивших свои палатки на протяжении трех миль неподалеку от города Жатеца в Богемии, что в десяти милях от Хеба, раздались крики ужаса. И вот все обратились в бегство, убоявшись шороха падающих листьев и не будучи при этом преследуемы ни единым человеком..."

1. "Пражско-немецкого писателя" (*нем.*).

Когда я выписывал этот отрывок в блокнот, у меня в ушах звучал гундосый шепоток Утца: "Они слушают, слушают, слушают *все*, что только можно, и при этом не слышат *ничего*".

Утц, как всегда, оказался прав. Тирания творит свое собственное акустическое пространство: особую пустоту, где вразнобой звучат какие-то непонятные сигналы, где едва слышное бормотание или слабый намек вызывает панику. Так что, скорее всего, башня тоталитаризма рухнет не от войны или революции, а от шелеста ветра или шороха падающих листьев...

Я остановился в гостинице "Ялта". Среди постояльцев был французский репортер, идущий по следу перуанского террориста. "В Прагу приезжает немало террористов, — сообщил он, — чтобы сделать пластическую операцию".

Еще в гостинице проживала группка английских наблюдателей за правами человека, а точнее сказать, за диссидентами: профессор современной истории и три литературные дамы, которые, вместо того чтобы наблюдать животных в каком-нибудь национальном парке Восточной Африки, приехали сюда изучать другой вид, находящийся под угрозой истребления: популяцию восточноевропейских интеллектуалов. Не перевелись ли они? Чем их следует кормить? Могут ли они еще породить какие-нибудь подходящие словесные формулы, которые будут способствовать крестовому походу против коммунизма?

Они пили виски, расплачиваясь кредитными карточками, поглощали неимоверное количество арахиса и явно надеялись, что за ними следят. Признаюсь, мне ужасно захотелось, чтобы, когда они и вправду встретят какого-нибудь диссидента, он оттяпал у них по парочке пальцев.

На следующий день я поискал фамилию Утц в пражском телефонном справочнике. Ни одного человека с такой фамилией там не значилось.

Тогда я отправился на Широкую улицу. Миновав противные лепные маски медуз-горгон над входом и череду переполненных мусорных баков, я позвонил в квартиру верхнего этажа дома № 5. Рядом с кнопкой звонка я заметил дырочки от шурупов на том месте, где когда-то висела медная табличка с именем хозяина.

Спустившись на этаж ниже, я постучался к певице, которая двадцать лет назад выглянула на площадку в пеньюаре, расшитом пионами. Теперь это была сморщенная старушка в черном платке с бахромой. Я произнес имя Утц. Дверь полетела мне в лицо.

Я поплелся вниз и уже успел спуститься еще на один пролет, когда дверь снова открылась и соседка прошипела: "Эй!", приглашая меня вернуться.

Ее звали Ада Красова. Квартира была набита сувенирами оперных лет. Она исполняла партии Мими, Манон, Кармен, Аиды, Ортруды и Лизы в "Пиковой даме". Одна из фотографий запечатлела ее в роли восхитительной Енуфы в ситцевой крестьянской рубахе. Она то и дело поправляла черепаховые гребни в волосах. На кухне рвало кошку. Из китайских ваз торчали букеты павлиньих перьев. Обилие выцветшего розового атласа напомнило мне спальню Утца.

Я не мешкая перешел к делу. Известна ли ей судьба Утцевой коллекции? Она издала короткую оперетточную трель: "У-у-у!.. Ля-ля!" — и пе-

редернула плечами. Разумеется, известна, но она ничего не скажет. Она дала мне телефон директора музея "Рудольфинум".

Музей, грандиозное здание, сохранившееся со "старых добрых времен" Франца Иосифа, носил имя императора Рудольфа в знак благодарной памяти о его любви к декоративному искусству. Фронтон украшали скульптурные барельефы, представляющие различные ремесла: огранщики драгоценных камней, ткачи, стеклодувы... Вход охраняла парочка угрюмых сфинксов. Сквозь трещины в ступенях росли лопухи.

Музей не работал "по не зависящим от администрации причинам" — точно так же, как и в 1967 году. Лишь один зал на первом этаже был открыт для временных экспозиций. В те дни там проходила выставка "Современные стулья и кресла". Я увидел ученические копии работ Ритвельда и Мондриана и поставленные один на другой стулья из стекловолокна.

Я сказал дежурному, что хотел бы переговорить с директором.

Прага в культурном отношении — родная сестра Дрездена. Было ясно, что выдать себя за специалиста по мейсенскому фарфору мне не удастся. Поэтому я состряпал более правдоподобную легенду: я исследователь неаполитанского рококо и пишу статью о статуэтках, изображающих персонажей комедии дель арте, выпущенных на фабрике Каподимонте. Как-то раз я видел чудесную композицию "Поедатель спагетти", принадлежавшую мистеру Утцу. Нельзя ли узнать, где она находится в данный момент?

Сдавленный женский голос на другом конце провода произнес: "Я сейчас спущусь".

Мне пришлось ждать минут десять, прежде чем из лифта вышла некрасивая женщина средних лет в темно-лиловой косынке и с жировиком на подбородке. Растянув губы в многозначительной улыбке, она произнесла по-английски:

— Будет лучше, если мы выйдем на улицу.

Мы пошли по набережной Влтавы. Дул промозглый ветер, моросил дождь, и казалось, что тучи задевают шпиль собора Св. Вита. Такого плохого лета не было давно. Селезни преследовали уток на мелководье. В полусдутой резиновой лодке посередине реки сидел рыбак. Над его головой кружились чайки.

— Скажите, пожалуйста, — прервал я затянувшееся молчание, — почему ваш музей всегда закрыт?

— А вы как думаете? — кисло улыбнулась она. — Чтобы народ не пускать. — Опасливо оглянувшись по сторонам, она спросила: — Вы знали господина Утца?

— Знал, — ответил я. — Не близко. Один раз я был у него дома. Он показал мне свою коллекцию.

— Когда это было?

— В 1967-м.

— А-а, понятно, — скорбно покачала она головой. — До нашей трагедии.

— Да, — подтвердил я. — Скажите, что стало с фарфором?

Она моргнула. Потом сделала полшага вперед, шаг назад и застыла в нерешительности, облокотясь о парапет, явно не зная, как лучше сформулировать вопрос.

— Если я вас правильно поняла, вы хорошо представляете себе рынок мейсенского фарфора в Западной Европе и Америке.

— Вовсе нет.

— Значит, вы не коллекционер?

— Нет-нет.

— И не коммерсант?

— Разумеется нет.

— Стало быть, вы приехали в Прагу не для того, чтобы приобрести произведения искусства?

— Боже упаси!

Мои ответы ее явно разочаровали. А у меня уже возникло ощущение, что еще чуть-чуть и она предложит мне купить коллекцию Утца. Перед тем как продолжать, она глубоко вздохнула:

— Вы случайно не знаете, — спросила она, — что-нибудь из коллекции продавалось на Западе?

— Не думаю.

За месяц до этого я ездил в Нью-Йорк и заглянул к д-ру Мариусу Франкфуртеру. Разговор состоялся в его квартире, набитой мейсенскими птицами. "Отыщите коллекцию Утца, — сказал он, — и мы с вами разбогатеем".

— Нет, — сказал я директрисе, — если бы коллекция продавалась на Западе, об этом бы обязательно знал старый приятель и деловой партнер Утца доктор Франкфуртер. А он ничего об этом не слышал.

— А-а! Понятно! — она задумчиво посмотрела на воду. — Значит, вы и с доктором Франкфуртером знакомы?

— Я с ним виделся.

— Увы, — вздохнула она, — мы тоже ничего не знаем.

— Как это может быть?

Она поежилась, теребя узел платка.

— Все эти чудесные вещи пропали... Как это говорится? Испарились!

— Испарились? До или после его смерти?

— Мы не знаем.

До 1973 года, когда с Утцем случился первый удар, сотрудники музея регулярно ходили к нему в гости — убедиться, что коллекция на месте.

Эти посещения, похоже, ему даже нравились: особенно когда кто-нибудь из музейных работников приносил озадачившую всех фарфоровую вещицу, чтобы испытать его знания. Но в июле 1973-го, после того как у него парализовало правую руку, он согласился подписать документ, в соответствии с которым после его смерти коллекция отходила государству.

Он согласился также вывезти из Швейцарии свою *вторую* коллекцию при условии, что — поскольку в нынешних обстоятельствах посещения стали для него чересчур обременительны — его оставят в покое. Директор музея, гуманный человек, пошел ему навстречу. Двумстам шестидесяти семи фарфоровым изделиям дали зеленый свет на таможне и доставили их в квартиру Утца.

Похороны, как мы знаем, начались в восемь утра десятого марта 1974 года, хотя со временем вышла путаница. В результате директор музея и трое его сотрудников пропустили отпевание и само погребение и на полчаса опоздали на завтрак в гостиницу "Бристоль".

Когда два дня спустя они явились в дом № 5 по Широкой улице, на их звонки в дверь никто не ответил. Потеряв терпение, они вызвали слесаря, чтобы тот сломал замок. Стеллажи были пусты. Все прочее осталось на месте: мебель, даже безделушки в гостиной. Но ни единой фарфоровой фигурки обнаружить не удалось. Только следы в пыли там, где они стояли, да отпечатки на ковре, где находились животные из Японского дворца.

— А что говорит домработница? — спросил я. — Уж она-то наверняка все знает.

— Мы ей не верим.

На следующее утро после завтрака я попросил портье позвонить в Национальный музей и выяснить, служит ли там еще д-р Вацлав Орлик. Оказалось, что, хотя формально д-р Орлик вышел на пенсию, в первой половине дня он по-прежнему трудится в палеонтологическом отделе.

По дороге в музей я, подстраховавшись, заказал столик на двоих в ресторане "Пструх".

Музейный охранник провел меня по длинным путаным коридорам в хранилище, заваленное пыльными костями и окаменелостями. Орлик, поседевший и похожий теперь на мудреца-брахмана, счищал налет с большой берцовой кости мамонта. За ним, подобно готической арке, высились гигантские китовые челюсти.

Я спросил, помнит ли он меня.

— Неужели? — насупился он. — Нет, не может быть.

— Может.

Он отложил мамонтовую кость и оглядел меня с ног до головы подслеповатым подозрительным взглядом.

— Да, — сказал он. — Теперь вижу. Это действительно вы.

— А кто же еще?

— Почему вы не отвечали на мои письма?

Я сказал, что, вернувшись тогда из Праги, женился и пять раз переезжал с квартиры на квартиру.

— Не верю, — категорически отрезал он.

— Вы не согласитесь пообедать со мной? — предложил я. — Можно было бы зайти в "Пструх".

— Ну что ж, — настороженно кивнул он. — А деньги у вас с собой есть?

— Есть.

— Тогда можно.

Орлик провел расческой по волосам и бороде, лихо нахлобучил берет набекрень и объявил, что готов. Уходя, он прицепил на дверь записку, что приглашен на обед "выдающимся иностранным ученым".

Мы вышли на улицу. Я заметил, что он прихрамывает.

— Между нами говоря, я не считаю вас выдающимся, — объявил он, хромая по подземному переходу. — Я вообще не считаю вас ученым. Это я для них так написал.

В ресторане почти ничего не изменилось. Форель все так же плавала туда-сюда в своем огромном аквариуме. Метрдотель — неужели тот же самый? — отрастил живот, похожий на воздушный шар. А малосимпатичное лицо товарища Новотного заменили столь же малосимпатичным лицом товарища Гусака.

Я заказал бутылку белого моравского вина и предложил помянуть Утца. Слезы поползли по морщинистым щекам Орлика и скрылись в чаще его бороды. Обед с плачущим палеонтологом — такого опыта у меня еще не было.

— Как мухи? — поинтересовался я.

— Я вернулся к мамонтам.

— Я имею в виду вашу коллекцию мух.

— Я ее выбросил.

На этот раз с форелью проблем не было.

— Au bleu, n'est-ce pas? — попытался спародировать я диковинный французский прононс Утца.

— Бло! — оглушительно расхохотался Орлик.

Я перегнулся через стол и спросил, понизив голос:

— Скажите, что случилось с коллекцией фарфора?

Орлик закрыл глаза и покачал головой.

— Он ее выбросил.

— Выбросил?

— Разбил и выбросил.

— Разбил? — ахнул я.

— Они вместе. Иногда он разбивал, она выбрасывала.

— Кто она?

— Баронесса.

— Какая баронесса?

— Его баронесса.

— Я не знал, что он был женат.

— Был.

— На ком?

— Ишь ты какой! — фыркнул Орлик. — Угадайте.

— Как я могу угадать?

— Вы ее видели.

— Никого я не видел.

— Видели.

— Не видел.

— Нет, видели.

— Кто она?

— Его домработница.

— Не может быть. Нет, я не верю... Марта?

— Именно.

— И вы говорите, что она уничтожила коллекцию?

— И говорю, и не говорю.

— Где она сейчас?

— Ее нет.

— Умерла?

— Может быть. Не знаю. Она исчезла.

— Эмигрировала?

— Нет.

— Так где же она?

— Уехала из Праги.

— Куда?

— В Костелец.

— Где это?

— Süd-Böhmen[1].

— Значит, она вернулась в Южную Богемию?

— Может, да, может, нет.

— Скажите...

— Здесь, — прошептал он, — я вам ничего не скажу.

И затем до конца обеда Орлик развлекал меня историями про охотников на мамонтов, бродивших по моравской тундре в Ледниковый период.

Я оплатил счет. Потом мы взяли такси и поехали во Вртбовский сад. Там мы посидели на одной из террас возле каменной урны, увитой виноградом.

Утц официально зарегистрировался с Мартой в одну из суббот летом 1952 года, через шесть недель после возвращения из Виши. Время было тревожное. Готвальд устроил печально знаменитую охоту на ведьм, кульминацией которой стал суд над Сланским. У рядовых граждан почти не было шансов не попасть в ту или иную категорию врагов народа: буржуазные националисты, предатели дела партии, космополиты, сионисты, спекулянты... За принадлежность к любой из этих "группировок" полагалась тюрьма, а то и что похуже.

На евреев, выживших в лагерях уничтожения, навешивали ярлык "пособник фашизма".

Опасности подстерегали на каждом шагу, и Утц это понимал.

Однажды утром ему принесли официальное уведомление о том, что в течение двух недель он обязан освободить свою квартиру — по новым правилам он как холостяк подлежал "уплотнению" и из двухкомнатной квартиры должен был переехать в однокомнатную.

Ну вот! Его выставляют на улицу или в лучшем случае загоняют на какой-нибудь вонючий чердак, где ни о какой коллекции и речи быть не может. Решением проблемы был брак.

Во время церемонии Марта очень стеснялась. Красные флаги в здании ратуши окончательно испортили ей настроение. "На кровь похоже", — поежилась она, когда они вышли на солнечный свет.

В следующий понедельник молодожены, держась за руки, уже стояли в унылой очереди к чиновнику по "жилищным вопросам". Предъявив брачное свидетельство, они разыграли перед ним слюнявое шоу неземной любви. Ордер на выселение был аннулирован.

Марта отказалась от своей комнаты и перевезла вещи в дом № 5.

Я не могу поручиться, что Утц имел законное право называться "бароном". Мой мюнхенский приятель Андреас фон Раабе утверждает, что Утцы из Кронсдорфа действительно время от времени вступали в брак с представителями мелкопоместного немецкого дворянства. Получал ли кто-нибудь из них дворянский титул, он не знает. Потерял я уверенность — особенно после поездки в Нью-Йорк к д-ру Франкфуртеру — и в том, что ежегодные паломничества Утца на Запад были абсолютно невинны. Сегодня мне кажется крайне маловероятным, чтобы власти могли позволить ему ездить туда-сюда, не требуя ничего взамен.

1. Южная Богемия (*нем.*).

Как я уже говорил, квартира д-ра Франкфуртера была набита фарфором немецкого производства. Ясно, что бóльшая часть этих вещей когда-то принадлежала аристократическим семьям Чехословакии, а теперь распродавалась государством. Чехам всегда требовалась твердая валюта для финансирования разного рода сомнительных предприятий типа шпионажа и подрывной деятельности.

Я сильно подозреваю, что сейф в женевском банке был неофициальным "магазином" (с Утцем в роли директора), через который реализовывались конфискованные произведения искусства.

Пожалуй, лишь одно я могу утверждать с полной определенностью: у Утца действительно были усы.

Без усов он так бы и остался в моем воображении очередным женоподобным, суетливым собирателем произведений искусства, старательно избегавшим слишком тесных контактов с противоположным полом.

С усами он мгновенно превращался в безжалостного сердцееда.

— Конечно, у него были усы! — гаденько хихикнул д-р Франкфуртер. — Без усов Утц не Утц. Они, можно сказать, ключ к пониманию его личности.

Утц отрастил усы сразу же после своих юношеских неудач в Вене и никогда не оглядывался назад. Он вовсе не был тем унылым мечтателем, каким я изобразил его в сценах в Виши. Напротив, вся его жизнь была чередой побед над пухленькими оперными дивами — хотя со временем, поскольку оперные певицы были слишком темпераментны и чересчур преданы своему искусству, он переключился на звезд оперетты. Через его постель прошла целая вереница Веселых Вдов и Графинь Мици. Обыкновенные объекты эротического интереса оставляли его равнодушным, но вид женской шеи в тот момент, когда певица запрокидывала голову, чтобы взять высокую ноту, приводил его в настоящее исступление.

Внешне он был довольно невзрачным мужчиной маленького роста. Секрет его успеха у женщин заключался в особой изобретенной им любовной технике — он прижимал колючую щетку усов к нежной дамской шее так, чтобы крещендо полового акта было для нее столь же экстатичным, как верхние ноты арии.

Роль Марты во всем этом была незавидной.

Она безнадежно и слепо обожала Утца с того самого мига, как он пригласил ее сесть к нему в машину. Однако, осознав с крестьянской сметливостью, что слишком большие надежды сведут ее с ума, она смирилась с тем, что имела. Пусть ей так и не придется наслаждаться его телом в этом мире, зато — по вере — она сможет наслаждаться его душой в том.

Она неустанно молилась. Регулярно ходила к мессе. Лила слезы в костеле Девы Марии Победительницы перед пражским Младенцем Иисусом — ненасытным дитятей, присваивавшим Себе ожерелья богобоязненных женщин. Каждую неделю монахини меняли Ему наряды.

Однажды в приступе материнской заботы Марта предложила монахиням помочь Его раздеть. Ее грубо одернули.

Она не осмеливалась признаваться Ему в масштабе своих притязаний. Она умоляла простить мужа за блудный грех и себя за то, что превратила спальню в доме № 5 в "польский бордель".

Марта никогда не была с мужчиной, не считая одного брутального соития за стогом сена. Тем не менее она научилась вполне профессионально готовить спальню для дам, которые из гордости или стыдливости не брали с собой необходимое для ночи. Используя свое недюжинное умение выходить на нужных людей, она доставала на черном рынке ароматическое мыло, туалетную воду, тальк, пудру для лица, полотенца, фланелевое белье и ночные сорочки из розового крепдешина, которые по таинственным причинам то и дело не возвращались из прачечных к их законным владелицам — женам дипломатов.

Иногда гостьи не могли справиться с искушением и запихивали какую-нибудь из этих роскошных вещиц в свой ридикюль. Дошло до того, что Марта нарочно оставляла на ночном столике что-нибудь не слишком ценное — помаду или пару нейлоновых чулок, чтобы сохранить вещи подороже.

Она готовила ужин и мыла посуду. Затем, когда Утц — по отработанной схеме — переходил к демонстрации персонажей комедии дель арте и прослушиванию "Ариадны на Наксосе", незаметно выскальзывала на улицу. Иногда она спала на полу у своей подруги Сюзанны, директора овощного магазинчика на Гавелской улице. Бывали ночи и похуже, когда приходилось отправляться на Центральный вокзал и просиживать там до утра, тяжко вздыхая и крестясь при мысли о кутерьме рук и ног на розовом атласе.

А поскольку с годами очередь из охочих до Утца дамочек только росла, ей все чаще и чаще приходилось ночевать не дома. При этом за все это время она не позволила себе ни единого попрека, не выказала даже тени недовольства. Равно как и он ни разу не сказал ей спасибо и не принес извинения за доставленные неудобства.

Она полагала, что самим фактом женитьбы он уже удостоил ее величайшей чести в мире. Подозреваю, что для самой себя, а возможно, и для него она играла роль супруги, обреченной — не без снисходительного любопытства — наблюдать за чередой истерических любовниц.

Переехав к нему, она поначалу спала под стеганым одеялом на узенькой кушетке работы Майса ван дер Роэ. Но однажды ночью, разметавшись в кошмарном сне (ей приснился арест Утца в оккупированной нацистами Чехии), она с диким грохотом рухнула на пол. Удар был такой силы, что от него подпрыгнули, зазвенев, фарфоровые фигурки на полках.

С тех пор она предпочитала спать на походном матрасе, который стелила в прихожей, — ни один грабитель не мог бы пробраться в дом, не наступив на нее.

Я обнаружил неопровержимые свидетельства вражды между Мартой и соседкой снизу.

Во время беспорядочного романа с Утцем Ада Красова, пользуясь привилегированным положением оперной певицы, привезла из Италии розовый атлас и декорировала его спальню во вкусе дамы полусвета.

Затем в нарушение всех приличий она купила квартиру в том же доме и как-то раз, решив, что сможет обдурить Марту, украла флакон Шанель № 5. Реакция Марты на этот припадок клептомании была жесткой: "Для этой я готовить не буду". Больше ее не приглашали. И хотя с тех

пор прошло уже тридцать лет, Ада Красова не забыла обиду и продолжала злопыхательствовать, сидя среди своих сувениров.

Точная дата этого события мне неизвестна, но однажды, примерно в середине 60-х, на представлении "Дон Карлоса" Утц навел бинокль на шею некой певицы, бывшей намного моложе обычных жертв его любовной охоты: крупная красавица, с превосходным голосовым диапазоном, скрывавшая — как того требовал образ испанской королевы — толстую, словно канат, золотистую косу в складках черной мантильи.

На следующий день в театральном кафе, где он был завсегдатаем, Утц, набравшись храбрости, подкатился к ней с комплиментами и тут же отскочил как ошпаренный от ее злобного окрика: "Пошел отсюда, старый козел!"

Стоял хмурый зимний день. У Утца был приступ синусита и ячмень на глазу. Он взглянул на свое отражение в зеркальной витрине магазина и вдруг — это был особый момент освобождения от иллюзий — с необычайной остротой почувствовал, что амплуа вечного героя-любовника уже не для него.

Можно только гадать, что произошло в тот день между ним и Мартой, но с тех пор она спала на кровати. Походный матрас отошел в прошлое.

Розовый халат из искусственного шелка стал эмблемой ее победы.

Его раздраженно-горестный тон при нашем расставании на Староместской площади, возможно, был вызван тем, что они с женой поменялись ролями. Врожденный такт не позволял ей демонстрировать это на людях, но к тому времени главой семьи, несомненно, стала она. И с тех пор, если Утца одолевало желание за кем-нибудь приударить, ему приходилось заниматься этим вне дома.

Затем она окончательно закрепила свой успех. Так как церемония их бракосочетания была атеистической, чтобы не сказать языческой, Марта всегда чувствовала себя обделенной. Стоя на коленях перед пражским Младенцем, она жарким шепотом каялась в том, что живет в невенчанном браке.

Однажды весной, когда они с Утцем разбирали коробки с одеждой, она наткнулась на белую кружевную фату, которую надевали на свадьбу невесты из рода Утцев начиная с XVIII века.

Марта разложила ее на розовом атласном покрывале и многозначительно поглядела на Утца. Он кивнул.

Они обвенчались в костеле Св. Николая жарким полднем Пражской весны 1968 года. Цвели сливы, в воздухе висела голубоватая дымка.

На ней был белый костюм с пятнами пота под мышками. В руке — букетик из белых лилий и ландышей. Несмотря на выбившуюся прядь седых волос, фата ей шла.

Под свадебный марш из "Сна в летнюю ночь" священник в кружевных оборках и парике повел их по главному проходу храма.

Разумеется, они наткнулись на неизбежную уборщицу, которая, пропуская их, поставила на пол ведро, села на скамью и приветственно помахала шваброй. Они миновали кафедру цвета малинового мороженого и остановились перед алтарем напротив статуи святого Кирилла в митре. Святой пронзал язычника толстым концом посоха.

Зеваки, привлеченные вопиющим несоответствием в росте жениха и невесты, невольно подались назад, когда пожилые венчающиеся, оглянувшись, смерили их вызывающими взглядами. Не исключено, впрочем, что еще больше, чем суровые взгляды, их напугали кроваво-красные следы губной помады, которые неопытная Марта (пользуясь помадой впервые в жизни) оставила на виске жениха, будучи слишком высокой, чтобы дотянуться до его губ в момент ритуального поцелуя.

Орган прогремел "К тебе взвываю я" Зигмунда Ромберга, и когда супруги вышли из храма в сверканье солнечного дня, толпа, собравшаяся на ступенях, разразилась аплодисментами.

На улице ждала своей очереди следующая пара. В петлицах молодых людей торчали веточки мирта. Острый глаз Марты отметил, что невеста беременна. Марта сжалась от аплодисментов, решив, что над ними потешаются, но жених, милый интеллигентный парень, пригласил Утцев в храм на венчание, а потом на банкет — в ресторан гостиницы "Бристоль".

Чествование одной пары превратилось в чествование двух. Разгоряченные токаем гости произнесли несколько издевательских тостов в честь медведя, чучело которого стояло напротив их стола.

Теперь я могу кое-что добавить к своему рассказу о похоронах. За время, прошедшее между моментом смерти и прибытием агента из похоронного бюро, Марта закрыла стеллажи с коллекцией фарфора черной материей. Затем вызвала Орлика, и они вдвоем стояли на часах, пока не увезли гроб.

Между тем Ада Красова этажом ниже служила свою панихиду. Женщины из Праги, Брно, Братиславы, презиравшие друг друга на оперной сцене и ревновавшие друг друга к Утцу, объединились в своей ненависти к Марте за то, что она лишила их возможности в последний раз взглянуть на усы.

Они орали. Шипели. Колотили в дверь кулаками. Но Марта осталась глуха к их мольбам.

Накануне погребения она, попросив Орлика выступить в роли телохранителя, провела на лестнице нечто вроде брифинга, информировав безутешных дам о расписании на завтра.

В порыве злокозненного вдохновения она объявила, что отпевание состоится в костеле Св. Иакова (вместо Св. Сигизмунда), а похороны — на Вышеградском кладбище (вместо Виноградского). Завтрак в гостинице "Бристоль" — "на который мой дорогой супруг просил вас всех пригласить" — в 9.45 утра (вместо 9.15).

В результате тем печальным утром по Праге носились еще две "татры": в одной сгрудились бывшие оперные дивы, в другой — официальные представители музея "Рудольфинум".

Две эти группы столкнулись в дверях гостиничного ресторана как раз в тот момент, когда вдова Утц, осушив бокал токая ("За медведя! За медведя!"), не испытывая ни малейших угрызений совести, направлялась к выходу.

Зайдя со своей сумкой из искусственной кожи в дамский туалет, она сменила траурный наряд на коричневый шерстяной костюм. Затем взяла такси до Центрального вокзала, там пересела на поезд, следующий в

Ческе-Будеёвицы, и отправилась к сестре, безвыездно жившей в их родном поселке.

Когда пытаешься восстановить ход событий, не нужно бояться фантазировать: чем невероятнее твои предположения, тем больше шансов на успех.

Держа в уме туманные намеки Ады Красовой о звуках разбиваемого фарфора, якобы долетавших из квартиры Утца, я между часом и двумя ночи занял наблюдательный пост на пересечении улиц Широкой и Майсловой в ожидании мусоровоза.

В Праге, во всяком случае в Старом городе, у людей какие-то особенные отношения с мусором. В жилых домах № 5 и № 6 по Широкой улице, построенных до войны для преуспевающих буржуа, в подъездах сохранилась их родная красно-бурая облицовка из мрамора. Но там, где в былые дни, вероятно, стояло зеркало или ваза с искусственными цветами, в наши менее утонченные времена посетителей встречает взвод серых мусорных баков из оцинкованного железа с одинаковыми крышками на петлях.

Мусоровозы в Праге уже лет пятнадцать красят в ярко-оранжевый цвет. На крышах у них установлены оранжевые вращающиеся прожекторы, озаряющие своими лучами окрестную архитектуру. Эти прожекторы и в еще большей степени скрежет механизмов — проклятье для людей с чутким сном и подобие развлечения для тех, кто страдает бессонницей, — можно вылезти из постели и, стоя у окна, поглазеть на этот маленький уличный спектакль.

Мусорщики одеты в оранжевые комбинезоны и кожаные фартуки, чтобы не испачкаться, когда они выкатывают баки на улицу.

Я увидел, как молодой человек вытащил контейнер с отбросами кошерного еврейского ресторана и подъехал к ресторану "У голема", где я накануне вынужден был отказаться от "Kalbsfilet jüdischer Art"[1], украшенной ломтиком ветчины.

Это был ладный парень со смеющимися глазами и копной курчавых волос. Свои обязанности он выполнял с налетом веселой бравады. В огнях прожектора его лицо казалось оранжевой маской.

Его напарником был крупный доберман-пинчер в намордник из стальных прутьев. Пес либо лежал на пассажирском сиденье, либо гонял местных кошек, либо любовно водружал передние лапы на плечи хозяина.

Выехав на Широкую, молодой человек развернул машину задом к бордюру напротив синагоги Пинхаса. Потом выкатил баки из подъездов домов № 4, 5 и 6 и в соответствующем порядке расставил их на тротуаре.

Из машины высунулась оранжевая клешня, вцепилась в края бака, перевернула его в воздухе и с двойным "Чвынк!.. Чвынк!.." вытряхнула содержимое в чрево машины.

После чего бак был с грохотом поставлен обратно на землю, а из мусоровоза донеслись жуткие звуки прессовки, перемалывания и лязганья металлических челюстей.

1. "Телятина по-еврейски" (*нем.*).

Доберман попытался было лизнуть меня в лицо, но не смог просунуть язык сквозь прутья намордника. Мусорщик отнесся с доверием к человеку, сумевшему расположить к себе его собаку. К моему удивлению, он неплохо говорил по-английски.

Что я здесь делаю?

— Я писатель, — отрекомендовался я.

— Я тоже, — отозвался он.

Он рассказал, что многие его коллеги — писатели, поэты и безработные актеры. По субботам они встречаются в пивной в деревушке рядом со свалкой. Он объяснил мне, как туда проехать.

— Спро́сите Людвика, — сказал он.

Деревня представляла собой оазис фруктовых садов и огородов посреди свалки промышленных отходов. В саду, засаженном розами, Людвик мыл свою машину.

Он привел меня в бар, где его товарищи в оранжевых и синих комбинезонах стучали кружками с пльзеньским пивом. Несколько человек читали газеты, кто-то играл в шахматы. Двое, забравшись в тихий уголок, перекидывались в "дурака". Закончив партию, они подошли к нам поздороваться.

Одним из игроков оказался католический философ Мирослав Житек (я знал его по публикациям в эмигрантской прессе), автор статьи о саморазрушительной природе Силы, широкоплечий человек с сединой на висках и открытым румяным лицом. Он курил пеньковую трубку. Житек рассказал, что в социалистической Чехословакии каждый достигший шестидесятилетнего возраста получает право на пенсию, конечно при условии, что он отработал положенное число лет на государственной службе. Они с друзьями предпочитают не участвовать в карьерной возне и академических склоках. Физический труд позволяет держать сознание чистым.

Житек работал садовником, дворником и мусорщиком. Но теперь, в пятьдесят восемь, ему это уже тяжеловато, поэтому он устроился на новую работу: стал велосипедным курьером.

Его обязанности заключались в том, чтобы развозить программы по компьютерным центрам Праги. В одну из прикрученных к велосипеду сумок он засовывает диски, в другую — тетради с философскими записями. Когда он доставляет диски, директор центра пускает его поработать в свободную комнату. Он пишет в среднем часа три. Иногда в конце рабочего дня читает написанное сотрудникам центра.

Житек не пожалел крепких выражений в адрес некоторых чешских писателей-эмигрантов, возомнивших себя единственными полномочными послами богемской культуры и при этом знать не знающих того, что творится в сегодняшней Богемии.

У партнера Житека были впечатляющие бицепсы и нахальная физиономия, вся в шрамах. Его звали Кошик. После событий 1968-го он уехал в Америку, в Элизабет, штат Нью-Джерси. Но вернулся — слишком уж гадким оказалось тамошнее пиво.

Именно он в 1973 году — когда с Утцем случился первый удар — забирал мусор в Старом еврейском квартале, в том числе и в доме № 5 по Широкой улице.

И здесь мы приближаемся к самому непростому этапу моего расследования. Поскольку я вбил себе в голову, что Утцева коллекция и впрямь могла оказаться в утробе мусоровоза, мне, естественно, хотелось собрать максимум фактов в пользу этого дикого предположения.

В разговоре со мной Кошик держался открыто и непринужденно. Но по здравом размышлении у меня возникли серьезные сомнения в достоверности его рассказа. Нельзя исключить, что он просто говорил то, что, как ему казалось, мне бы хотелось услышать.

Мне представляется чрезвычайно подозрительной нарисованная им картина: будто бы, вытаскивая мусорные баки из дома № 5, он иногда замечал некую смутную фигуру (не то женскую, не то мужскую), прижимавшуюся к стене подъезда. Как-то раз, сообщил он, в окне квартиры на верхнем этаже обозначились два силуэта. Они прощально махали.

Гораздо более правдоподобной кажется мне другая история, которую он рассказал. По крайней мере, слова Кошика подтвердили еще несколько человек.

Все они помнили, что десять-двенадцать — а может, и больше — лет назад воскресным днем в деревню на такси приехала пожилая чета. Мужчина был заметно ниже женщины и подволакивал ногу. Его спутница поддерживала его. Они прошли по дорожке до проволочного забора, огораживающего свалку по периметру, и вернулись обратно к такси.

Я пошел по дорожке.

Поля заросли полынью и иван-чаем. Фабричные трубы выплевывали клубы коричневого дыма. Небо было опутано электрическими проводами.

Я приблизился к забору. У сарая застыла армия бульдозеров. За ними открывался вид на свалку: черная голая земля и горы мусора, над которыми, пронзительно крича, носились чайки.

Я пошел назад к деревне, обдумывая разные версии.

Могли ли Утц с Мартой тайно вывезти коллекцию за границу? Нет. А сотрудники музея? Тоже нет. Об этом бы обязательно узнал д-р Франкфуртер. Мог ли Утц уничтожить фарфор из чувства мести? Я сомневался в этом. Он презирал музеи, но мстительным человеком он не был.

А вот кем он действительно *был*, так это шутником. Сознание того, что эти хрупкие изделия в стиле рококо закончат свои дни на свалке XX века, могло отвечать его чувству смешного.

А может, это было проявлением иконоборчества? Может быть, наряду с боготворением вещей и образов — тем, что Бодлер называл "своей единственной и примитивной страстью", — существует противоположное стремление — расколошматить все к чертовой бабушке? Не требуют ли произведения искусства своего уничтожения?

А может быть, это сделала Марта? Может быть, в ней была эта мстительная жилка? Может быть, Утцева любовь к фарфоровым человечкам соединилась в ее сознании с его любовью к оперным дивам? Если так, то, разделавшись с одними, она могла пожелать избавиться и от других.

Нет. Мне кажется, что ни одна из этих версий не "работает". Скорее уж случилось вот что: оглядываясь на свою жизнь в последние, предсмертные месяцы, Утц горько пожалел о том, что вечно ловчил и всегда выходил сухим из воды сам и спасал свою коллекцию. Он пытался сохранить микрокосм, в котором оставалось бы место изяществу европейской великосветской жизни. Но цена оказалась слишком высо-

ка. Он возненавидел унижения и компромиссы и в конце концов саму коллекцию.

Марта никогда не отказывалась от своих принципов и требований законности. Она не меняла курс. Она была его вечной Коломбиной.

Моя пересмотренная версия этой истории выглядит следующим образом: поздним вечером в памятный день их венчания она вышла из ванной в своем розовом шелковом халате и, развязав пояс, дала ему соскользнуть на пол. После чего обняла Утца как законная жена. И с тех пор они страстно любили друг друга, отвергая все, что могло бы этому помешать. А фарфоровые вещи были всего-навсего дурацкими глиняными безделушками, чем-то вроде старой потрескавшейся посуды, которую пришла пора выкинуть вон.

Поселок Костелец находится неподалеку от австрийской границы, в устье Дуная и Эльбы. Пшеничные поля заросли библейскими "плевелами", неподвластными никаким ядохимикатам. Глаз путешественника радуют васильки, маки-самосейки, крестовник, вдовушки, шпорник — украшение европейской природы. На краю деревни — заливные луга, а за ними в полукружье сосен — пруд, в котором разводят карпов.

На домах — красные черепичные крыши; стены выкрашены в рыжекоричневый и белый. Хозяйки выращивают герань в заоконных ящичках. В центре поселка — аккуратный костел с небольшим куполом.

За костелом сохранилось основание памятника с двойной буквой "К" — Kaiserlich und Königlich[1] — символом Габсбургской монархии. Теперь тут торчит ржавая загогулина в честь советского *налета* в космос.

Только что прошла гроза. Отгрохотал гром, и над заливными лугами встала радуга. Солнце осветило заросли золотых шаров, фиолетовых флоксов и клумбы с белыми маргаритками.

Я распахнул калитку. Белоснежный гусак вытянул шею и, угрожающе шипя, захлопал на меня крыльями. На пороге показалась старая крестьянка в домашнем платье в цветочек и белом платке, надвинутом почти до бровей. Она нахмурилась. Я пробормотал несколько слов, и ее лицо озарила изумленная улыбка.

— Ja! — сказала она, воздев глаза к радуге. — Ich bin die Baronin von Utz[2].

1. Императорский и королевский (*нем.*).
2. Да!.. Я баронесса фон Утц (*нем.*).

Марек Заганчик

Далекое и близкое: Брюс Чатвин

Перевод с польского М. Курганской

Книга Чатвина нашла меня сама. Так бывает только с вещами незаурядными. Взяла и появилась в нужный момент. А до того спокойно лежала в больничном киоске среди газет. Читал я ее запоем. Она уводила меня в далекий мир туземцев. Объясняла их мифологию. Не берусь сказать, в чем ее сила. Почему она захватила меня целиком. "Песенные тропы" — из разряда тех магических книг, которые дают возможность отвлечься от себя, взглянуть в окно и увидеть другую перспективу. Чатвин писал о пейзажах, свободных от исторической определенности, требующих исключительной сосредоточенности и абсолютного слуха, чтобы воспринять музыку, которой они проникнуты: мелодию холмов, обширных пространств, речных излучин. Это дневник его странствий. Роман, в котором ничего не выдумано, — и отчет о путешествии, полный вымышленных персонажей и событий; границы между жанрами тут стерты. Я так до сих пор и не смог от него освободиться. Без конца возвращаюсь к включенным туда фрагментам путевых записок. Похожих на черновик другой книги. Несколько десятков разрозненных отрывков, объединенных лишь мыслью, свободной и изменчивой, как полет ласточки. Чатвин пишет:

Во Франции такие записные книжки в черной клеенчатой обложке называются carnets moleskines; moleskine – это дерматин. Каждый раз, приезжая в Париж, я пополнял их запас в papeterie на Rue de l'Ancienne Comédie. Квадратные листы небольшого формата, обложки перехвачены эластичной лентой. <...> У меня было ощущение, что время путешествий в моей жизни подходит к концу. Я чувствовал, что прежде чем оно истечет, нужно заглянуть в свои записки. Сделать вывод из идей, цитат и встреч, которые некогда показались мне интересными и до сих пор не дают покоя. Я надеялся, что они хоть ненамного приблизят меня к разгадке тайны, превратившейся в навязчивую идею: тайны "беспокойного духа", живущего в человеке.

Записки Чатвина оказались важны и для меня. Полезны и опасны. Они звали в другую жизнь. Саднили, как заноза, которую никак не вытащишь. Из-за них я принялся читать другие книги Чатвина, сказания, привезенные им из путешествий и органично влившиеся в его собственную биографию — написанные без натуги, без жеманства. По сути, это была запись далеко идущих планов. Рассказ о бессрочном путешествии. Чатвин бежал всего, что могло бы его связать, ограничить свободу

© Marek Zagańczyk. Zeszyty Literacki. 2004, № 4
© М. Курганская. Перевод, 2005

действий, сковать мысль. Он хотел запечатлеть историю номадов. Они казались ему идеалом — живым, но труднодостижимым. Чатвин мечтал стать современным кочевником, свободно перемещающимся во времени и пространстве. "Одиночка, — пишет Бродский, — особенно кочевник, подвергается большему риску, чем сообщество людей. Индивидуум способен развернуться на триста шестьдесят градусов; коллектив в состоянии смотреть только в одну сторону. Самая большая радость для кочевника, индивидуалиста — это формировать историю на свой манер: мостить свою античность, свое Средневековье, свой Ренессанс, — в хронологическом порядке или, напротив, совершенно произвольно — и присваивать их себе. Это в самом деле единственный способ сделать столетия обитаемыми".

Чатвин искал тропинки в культурах и стилях. Менял образ жизни. Он не умел останавливаться. Даже когда пришел успех. Мир слишком манил его, чтобы он мог усидеть на одном месте. Случалось, что мысль и воображение уносили его дальше, чем ноги. Словно он без конца повторял про себя отрывок из "Плавания" Бодлера: "Но истые пловцы — те, что плывут без цели, / Плывущие, чтоб плыть! Глотатели широт, / Что каждую зарю справляют новоселье / И даже в смертный час еще твердят: Вперед!"[1]

Его любопытство возбуждали древние легенды, полузабытые мифы, сохранившиеся лишь в памяти последних приверженцев. Он воспринимал их почти как семейные предания. Чатвин не умел ограничиваться только одной областью. Точно так же, как не любил, когда его называли "писатель-путешественник". Он предпочитал читать и смотреть.

Писателем он стал случайно. Бросил работу в торговом доме "Сотбис" в Лондоне, где начинал как рабочий, но быстро отличился и сделал карьеру. Он не был лишен торговой жилки — знал, что́ может понравиться покупателям. Особенно его ценили за наметанный глаз, умение безошибочно распознавать шедевры. Чатвин был знатоком живописи импрессионистов. Он стал одним из самых молодых и способных директоров "Сотбис". Но в конце концов ему надоели мертвые картины, вырванные из естественного окружения. Постепенно он начал терять зрение. Врачи посоветовали ему предпринять длительное путешествие. Чатвин отправился в Африку. Побывал в России, Афганистане, на Ближнем Востоке, потом в Австралии. Ему нравились забытые места, вытесненные на периферию истории и географии. Такие, как Патагония. Ей он посвятил свое первое произведение, где писал об изгнанниках далекой Европы, об их мечтах и повседневной жизни. В этой книге он обращается к неблизкой России и дает необыкновенное описание Буэнос-Айреса. И как всегда у Чатвина, реальность смешивается с вымыслом. Под его пером мир расцветает. Воображение делает форму выразительнее, краски богаче. Писателя упрекали в том, что он извращает факты, подменяет реалии. Но он и не ставил перед собой цели описать реальную Патагонию, он хотел воссоздать ее мифический пейзаж. Это было его новое ви́дение, выход в другое измерение. По сути, он писал о себе, о происходящих в нем переменах.

1. Перевод М. Цветаевой. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

За поддержкой Чатвин обращался и к другим авторам. В первую экспедицию он взял с собой том Мандельштама. Читал "Путешествие в Армению". Цитировал "Разговор о Данте":

Мне не на шутку приходит в голову вопрос, сколько подметок, сколько воловьих подошв, сколько сандалий износил Алигьери за время своей поэтической работы, путешествуя по козьим тропам Италии.

"Inferno" и в особенности "Purgatorio" прославляет человеческую походку, размер и ритм шагов, ступню и ее форму. Шаг, сопряженный с дыханием и насыщенный мыслью, Дант понимает как начало просодии.

Чатвин умел живо рассказывать о литературе прошлого. Расин казался ему таким же близким, как Хемингуэй. Он восхищался Флобером, особенно его способностью слышать мелодии повседневности. Чатвин тоже умел слушать. "Моя задача, – утверждал он, – записывать то, что говорят другие". Он искал миг гармонии, когда окружающий мир раскрывается в полной мере. Как и Картье-Брессон[1], он стремился поймать это загадочное мгновение и заключить в слова. Кажется, будто Чатвин пользовался не пером, а фотографическим аппаратом. Но за его стилем, живым, лапидарным, всегда чувствуется точный, по-охотничьи цепкий глаз. В своих книгах Чатвин ломал хронологию событий, лавируя между цитируемыми текстами. Он постоянно на шаг опережал читателя, заставал врасплох, не давал передохнуть, расслабиться.

Чатвин работал интенсивно, сосредоточенно, забыв обо всем на свете. Писал, живя у друзей, всегда вдали от шума и многолюдья. И покидал их дома, как только заканчивал роман. Свою вторую книгу "Наместник Оюда" он сочинял на вилле под Сиеной в Поджо Альпоццо. "Голые холмы, яркий свет и никаких англичан, которые уже разъехались на зиму по домам. Я езжу в Сиену за покупками на велосипеде, разговариваю с продавцами на смеси испанского, португальского и латыни, а они только широко улыбаются и спрашивают, не хочу ли я орешков. <...> Сегодня я написал четыре страницы, никуда не годных, и ужал их до одной строчки. Вот так и надо".

За всю жизнь Чатвин опубликовал шесть книг. "Песенные тропы" вышли, когда он уже был смертельно болен. Но именно они принесли ему славу. Как автор бестселлера он стал всем нужен. Его книгами восхищались, хотя злорадства тоже хватало. Многие пытались пройти по его тропам, записывая свои впечатления в черные клеенчатые блокноты. Среди друзей Чатвина были Джеймс Айвори и Вернер Герцог, Грегор фон Реццори[2] и Сальман Рушди. Клаудио Магрис[3], работая над "Другим морем", отправился в Патагонию, желая потягаться с легендарной книгой Чатвина. Кевин Воланс[4], выдающийся современный композитор, мечтал переложить "Песенные тропы" на музыку. Этому замыслу не суж-

1. Картье-Брессон (1908–2004) – один из выдающихся французских фотографов XX века.
2. Джеймс Айвори (р. 1928) – американский режиссер и сценарист. Вернер Герцог (р. 1942) – немецкий режиссер и сценарист. Грегор фон Реццори (1914–1998) – писатель венгерского происхождения; жил и работал в Румынии, Германии, Австрии, Италии. См. "ИЛ", 2004, № 3.
3. Клаудио Магрис (р. 1939) – итальянский писатель, филолог-германист, профессор университета в Триесте, лауреат престижных литературных премий. См. "ИЛ", 2004, № 3.
4. Кевин Воланс (р. 1949) – композитор, работающий в стиле этно, знаток африканского музыкального фольклора.

дено было сбыться, но благодаря Чатвину Воланс написал оперу о жизни Рембо. Итальянским издателем Чатвина был Роберто Калассо[1]. В предисловии к альбому фотографий, сделанных Чатвином, Калассо написал:

Я спрашиваю себя, что отличает его книги, фотографии, его личность. Думается, что, помимо всего прочего, это умение отсекать лишнее. Дар, которым обладают амстердамские гранильщики алмазов: каждый раз находить верный угол – так, чтобы заиграл свет. <...> Мне всегда казалось, что для англичанина в идее путешествия заключено гораздо больше эротизма и страха, чем для других европейцев. Пролив Ла-Манш – это не просто бурное море, это прежде всего метафизический барьер. "Бессмертие начинается на берегу Кале".

Чатвин это понимал. Он знал, что домой из настоящего путешествия возвращаются не всегда. Возможно, поэтому он предпочел номадов — Одиссею. Тем не менее он сумел полюбить Грецию. Там он был счастлив. К концу жизни перешел в православие. Писатель хотел, чтобы его прах развеяли над тихим уголком Пелопоннеса. Он твердил, что никто не создал лучших святилищ для Бога, чем греки. Чатвин умер в возрасте сорока восьми лет. Умирал долго, годами борясь с болезнью. Несмотря на это, постоянно переезжал с места на место. Никогда не прерывал работы. Ставил перед собой все новые цели. Последний роман Чатвина "Утц" вышел в 1988 году. Герой книги — коллекционер мейсенского фарфора, живущий в Праге, — на первый взгляд существует вне истории, тогда как на самом деле следует ее предначертаниям. Он прекрасно умеет вписываться в окружающую действительность. Но только для того, чтобы сберечь свою хрупкую коллекцию. Для нее он жертвует всем. Она — его сокровище и источник страданий. Из-за нее он обречен на одиночество, она сжигает его изнутри, лишая других желаний. Она его грех. Ради нее он разрушает себя и других.

Это роман об интеллектуале, приспосабливающемся к власти ради того, чтобы спасти свой собственный мирок. Для себя автор избрал иной путь. Он пересек множество границ, без устали путешествовал, но, помня предостережение Джона Донна, не забывал подумать и о душе. "Аборигены, — писал Чатвин, — верят, что многие люди после смерти превращаются в часть ландшафта. Человек, который всю жизнь кочует, воспевая тропы своих предков, сам становится тропой, предком и песней".

1. Роберто Калассо (р. 1941) — итальянский издатель и прозаик. См. "ИЛ", 2003, № 8.

Джон Клэр
Стихи

Перевод с английского и вступительная статья Григория Кружкова

Гравюра Эдварда Скривена (1821) с портрета Джона Клэра, выполненного Уильямом Хилтоном в 1820 году

Джон Клэр, Зеленый Человечек английской поэзии

Лишь образование внесет человеческий смысл в жизнь невежественного и косного класса, из которого я выкарабкивался на свет — как тот, кто старается вырваться из лап ночного кошмара.

Джон Клэр, из письма

Зеленый цвет — бальзам души болящей...

Из сонета *Одиночество*

I

Полузабытый крестьянский поэт романтический эпохи — но не "второй Роберт Бёрнс", а наоборот, по характеру и темпераменту абсолютно противоположный знаменитому шотландскому барду — Джон Клэр в последние десятилетия пережил нечто вроде ренессанса: публикуются новые биографии, письма, дневники, в сериях классики издаются его стихотворения. 13 июня 1989 года в "Уголке поэтов" Вестминстерского собора, этом Пантеоне английской литературы, в котором похоронены Чосер, Диккенс и многие другие, торжественно открыли мемориал Джону Клэру.

Одно из свидетельств возвращения поэта — цикл стихов нобелевского лауреата Дерека Уолкотта, посвященный памяти матери ("Щедрость", 1996), в котором Клэр присутствует с начала до конца как важный контрапункт в сознании автора, переполненного щедростью жизни, щедростью природы его родных Карибских островов. На фоне моря, пальм и тропического рассвета является неожиданный и трогательный образ — или, можно сказать, призрак — Джона Клэра —

бедного Тома-бродяги, поэта своей глухомани,
друга Жуков и Сверчков, зашнуровывающего башмаки
стеблем вьюнка, заворачивающего Бронзовика

тонкой соломинкой, рыцаря Сороконожки,
облаченного в топкую мглу — с городками, издалека
кажущими свои башни, как улитины рожки,

вольного духом, хоть скованы ноги струей ледяной.
Заиндевела стерня; он стоит посредине потока,
жестом Предтечи благословляя даль за рекой,

башни, улиток, рассвет и песчаную эту дорогу...

© Григорий Кружков. Вступительная статья, перевод, 2005

Характерно, что образ Клэра смешивается у Уолкотта с образом "бедного Тома" – шекспировского Тома из Бедлама, жалкого сумасшедшего, с которым встречается король Лир во время бури, обездоленный король – с обездоленным нищим. Мотив Бедлама, мотив безумия здесь не случаен. Впрочем, мы знаем, что у шекспировского Тома была своя *тайна*, и заключалась она в том, что одетый в лохмотья, бормочущий всякую чушь бродяга – на самом деле не безумец, а переодетый Эдгар, сын графа Глостера, спасающийся от злосчастных обстоятельств своей судьбы.

Мне кажется, что и Клэра слишком рано и слишком надолго записали в безумцы. Впрочем, не будем забегать вперед...

II

История полна странными совпадениями. В начале 1820 года лондонские издатели Тейлор и Хесси почти одновременно выпустили две новые книги стихов: последний прижизненный сборник Джона Китса и первый сборник совершенно неизвестного публике Джона Клэра. Двадцатипятилетнему Китсу предстояло через год умереть от чахотки в Риме; Клэр, который был на два года старше, дожил до семидесяти лет, из которых почти тридцать он провел в сумасшедшем доме; и поистине трудно решить, какая из двух жизней сложилась труднее и трагичнее.

Джон Тейлор, издатель с репутацией и поэтическим вкусом, долго колебался, получив в руки стихи необразованного крестьянина из восточной Англии; он вообще славился привычкой долго запрягать перед тем, как ехать. В конце концов книга все же была издана под названием: "Стихотворения, описывающие сельскую жизнь и природу. Сочинение Джона Клэра, крестьянина из Нортгемптоншира". Стараясь заинтриговать читателя, Тейлор предпослал сборнику обширное издательское предисловие – по сути, подробный биографический очерк об авторе с анализом его стихов. Думаю, будет уместно, если я приведу здесь отрывки из этого предисловия.

Нижеследующие стихотворения должны привлечь интерес благодаря своим внутренним достоинствам; но помимо этого они заслуживают внимания из-за обстоятельств, в которых были написаны. Перед нами подлинные произведения молодого крестьянина, поденного сельского работника, не получившего никакого образования сверх обычного для своего класса минимума; и хотя поэтам в этой стране вообще редко сопутствует счастье, это, по всей вероятности, самый обделенный из всех – обделенный судьбой, обделенный друзьями.

Джон Клэр, автор этой книги, родился в Хелпстоне, вблизи Питерборо, в Нортгемптоншире, 13 июля 1793 года; он единственный сын Паркера и Анны Клэр, урожденных жителей той же деревни, проживавших в крайней нужде и бедности; насколько известно, так же существовали и все их предки...

Может показаться удивительным, что, живя в такой нищете, Клэр сумел найти средства, чтобы получить хоть какое-то образование. Он заработал их сам: брался за все, что предложат, батрачил с утра и дотемна. За восемь недель работы мальчик мог скопить ровно столько пенсов, сколько хватало на оплату

месяца занятий в школе, и так урывками, за три года, он приобрел некоторые знания и научился свободно читать Библию...

Однако склонность к поэзии проявилась в маленьком Джоне еще до того, как он овладел грамотой. Однажды отец прочитал ему стихотворение из книги какого-то нравоучительного поэта — такие книжки разносились коробейниками по деревням и порой попадали в самые бедные семьи. Впоследствии он не мог вспомнить ничего — ни сюжета, ни слова, ни фразы, — лишь острое, ни с чем не сравнимое наслаждение от самого звука метрической речи, от музыки стихов... Неудивительно, что вскоре после того, как Клэр пристрастился к чтению, он начал писать, подражая "Временам года" Томсона и любым другим поэтическим образцам, которые могли попасться в руки сельскому школьнику.

Прошло тринадцать лет с тех пор, как Клэр сочинил свое первое стихотворение: все это время он втайне развивал свой вкус и поэтический талант, без единого слова поддержки или сочувствия, без даже отдаленной перспективы какой-либо награды. Какой же сильной и чистой изначально должна была быть эта страсть, не истребленная столькими годами нужды, труда и беспросветной нищеты...

Публикация этих стихотворений стала результатом случая. В декабре 1818 года мистер Эдвард Друри, книгопродавец из Стамфорда, случайно прочел "Сонет к заходящему солнцу", записанный на листе бумаги, служившем оберткой для какого-то письма. Сонет был подписан двумя буквами "J. C.". Выяснив имя и местопребывание автора, Друри приехал в Хелпстон, где познакомился и с другими стихами Клэра, которые ему весьма понравились. По его просьбе Клэр подготовил сборник, который был послан в Лондон на рассмотрение издателей, отобравших часть предложенных стихотворений для настоящего тома...

Автор и его произведения представлены ныне на суд читателей; от их решения зависит, в конечном счете, их судьба; но как бы ни рассудила публика, не подлежит сомнению, что ни один поэт в нашей стране не выказал бóльших способностей в обстоятельствах, столь враждебных их развитию...

III

Умелый ход Тейлора, разрекламировавшего Клэра как крестьянского поэта-самородка, а также его старания обеспечить благоприятные отзывы в печати сделали свое дело: эдинбургский журнал "Куотерли ревю", который еще недавно вместе с "Блэквудс мэгэзин" разгромил сочинения Китса, доброжелательно отозвался о стихах Джона Клэра. Книга имела успех, в течение года было продано более трех тысяч экземпляров. Для сравнения: книга Китса "Ламия, Изабелла, Канун Св. Агнессы и другие стихи", изданная тиражом в пятьсот экземпляров, расходилась двадцать лет, поэма Вордсворта "Прогулка" при том же тираже — семь лет. Впрочем, были популярные поэты, например Вальтер Скотт, Джордж Байрон или Томас Мур, да и ряд других, ныне забытых, тиражи которых доходили до десяти тысяч экземпляров и более. Вообще, в этот период Англия переживала настоящий поэтический бум, пик которого пришелся как раз на 1820 год; позже читательский интерес к стихам резко упал...

Итак, на какой-то срок Клэр сделался литературной сенсацией, в газетах чуть не ежедневно печатали похвальные отзывы, он получал письма от читателей, в Хелпстон стали заезжать любопытствующие, бесцеремонно отрывая Клэра от дел и смущая разными досужими вопросами. В общем и целом Клэр наслаждался успехом — но не гонорарами: издатель выплачивал их скупо, с натугой; более того, приличные меценатские пожертвования, поступившие для автора от разных лиц, он поместил в какую-то компанию под проценты, которые должны были регулярно поступать Клэру, обеспечивая ему и его семье минимальный доход: в 1820 году Клэр женился и через шесть лет у него уже было шестеро детей. На практике эти деньги доходили до него не всегда регулярно, а в какой-то момент маленькая сумма уменьшилась еще вдвое. Но Клэр был не такой человек, чтобы чего-то требовать или выяснять. Он мог лишь иногда, ссылаясь на отчаянное положение, просить Тейлора заплатить хоть малость из того, что ему причиталось, и терпеливо, месяцами ждать ответа.

В марте 1820 года состоялась первая поездка Клэра в Лондон. Он впервые увидел Темзу, Вестминстерское аббатство, театры, музеи, познакомился со многими литераторами, включая Джона Рейнольдса, друга Китса. С самим Китсом, в то время болевшим, повидаться не удалось. Вдогонку Клэру ушло письмо Тейлора от 16 марта: "Позавчера Китс зашел ко мне на обед в первый раз после своей болезни — Он очень огорчился, что не успел познакомиться с Вами — Когда я прочитал ему "Одиночество", он заметил, что Описание у автора слишком перевешивает Чувство — Но не огорчайтесь — Если это и недостаток, то хороший недостаток".

Мнение Китса о Клэре можно сравнить с мнением самого Клэра о Китсе из сохранившегося черновика его письма. Клэр признает, что описания природы у Китса бывают весьма изящны, но все-таки это взгляд горожанина, основанный больше на фантазии, чем на непосредственном наблюдении. Кроме того, говоря о лесах и полянах, он не может обойтись без нимф, дриад, фавнов и прочих фигур из древнегреческой мифологии, "за каждым розовым кустом у него притаилась Венера, за каждым лавровым деревцем — Аполлон".

К сожалению, с Китсом они разминулись навсегда. И лишь впоследствии их портреты работы художника Уильяма Хилтона (Клэр позировал для него в те же мартовские дни) много лет висели рядом в Национальной портретной галерее.

IV

Поражает, насколько портрет Хилтона не соответствует нашему представлению о "поэте-пахаре". Высокий лоб, мечтательный, устремленный к невидимой цели взгляд, длинные "артистические" волосы...[1] Могут сказать, что художник увидел и намеренно показал в Клэре именно поэта, а не крестьянина. Но и по письменным свидетельствам рисуется отнюдь не "мужицкий" образ. Простые, сдержанные манеры Клэра и

1. Эти черты могли быть наследственными, если верить легенде, переданной первым биографом Клэра Мартином об отце Клэра, якобы родившемся от ирландского бродячего певца, который забрел в Хелпстон и какое-то время учительствовал в местной школе.

мягкость его обращения отмечались многими. В его собственных письмах и в дневниках обнаруживается острая впечатлительность и ранимость: все в мире было для него источником муки или наслаждения. Бродя по полям в своей бедной крестьянской одежде, он выглядел, по словам одной женщины, "как переодетый аристократ" (снова вспомним "бедного Тома" в лохмотьях!).

Недаром Чарльз Лэм в шутку называл его Princely Clare, а также Clarissimus (от латинского clarus – светлый, ясный, а также славный, знаменитый), что можно, используя ту же игру, перевести как "ясновельможный Клэр, Клариссимус".

Клэр приезжал в Лондон всего четыре раза в жизни. Эти поездки приходятся на 20-е годы – время процветания "Лондонского журнала", редактируемого Тейлором. В числе авторов были знаменитый критик Уильям Хэзлит, эссеист Чарльз Лэм, автор "Очерков Элии", Джон Рейнольдс, Томас Гуд, Барри Корнуолл (Брайан Проктер) и другие известные литераторы. Клэр подружился с многими из них; они вместе гуляли по Лондону, навещали знакомых, участвовали в шумных писательских обедах, на которых блистали сам Лэм и другие "великие остроумцы", как их называл Джон Клэр.

Вот характерная сценка из такого обеда, описанная пером талантливого поэта и журналиста Томаса Гуда[1].

По правую руку Редактора сидит улыбающийся Элия со своим зорким взглядом – Проктер однажды заметил, что "от него не укроется иголка на полу", – и с таким же острым умом: будьте уверены, говорил Хэзлит, что именно с этих запинающихся губ слетит лучший каламбур и лучшая шутка за все время обеда. Рядом с Элией, выделяясь изумрудной зеленью на фоне похоронных писательских костюмов, как грядка брюквы среди вспаханного под пар поля, – гляньте! – да это наш Зеленый Человечек – Джон Клэр! В своем травяного цвета сюртуке и желтом жилете (с бледно-зелеными ростками панталон под столом) он выглядит как настоящая весенняя Примула... Неудивительно, что лакей в ливрее и бриджах попытался загородить дорогу странному гостю, который из скромности поднимался по лестнице самым последним; впрочем, впоследствии он искупил свой промах, за обедом прислуживая исключительно нашему Пахарю, совершенно уверенный в том, что перед ним некий эксцентричный магнат или вельможа, нарядившийся Селянином...

Но вернемся к столу. Элия, будучи в душе более Ягненком, чем он хотел бы признать[2]*, и неосознанно влекомый пасторальной зеленью, раз за разом обращается к Нортгемптонширскому поэту с громогласными тостами, именуя его Клариссимусом и Клэром Великолепным, заставляя того вновь и вновь опускать глаза в свою кружку. Всем своим блаженным видом хелпстонский житель изображает простака-деревенщину в обществе сливок писательского общества: Элии, Барри*[3]*, Герберта*[4]*, мистера Table Talk*[5] *и прочих...*

1. Томас Гуд (1799–1845) известен в России прежде всего своей "Песней о рубашке", описывающей каторжный труд швеи ("Работай! Работай! Работай!") и т. д. Это стихотворение любили все защитники рабочего класса, в том числе Карл Маркс, говоривший о Томасе Гуде: "Подобно всем юмористам, человек с очень чуткой душой..."
2. Фамилия Чарльза Лэма по-английски означает "ягненок".
3. Барри Корнуолл (Брайан Уоллер Проктер).
4. Джон Герберт Рейнольдс.
5. Уильям Хэзлит. Двухтомник его эссе, печатавшихся в "Лондон мэгэзин", вышел в 1822 году под названием "Table Talk".

Впрочем, Клэр был вовсе не так прост. Его собственные воспоминания о Лондоне и портретные зарисовки тех же Рейнольдса, Лэма, Хэзлита и других остры и независимы. "Деревенщина"? Деревенским в нем были лишь непосредственность и простодушие. Недаром Томас Гуд в своем словесном портрете поэта отмечает "изящное сложение, тонкость черт и нежный цвет лица, напоминающий скорее о Саде, чем о Пашне". Но наиболее точно и кратко общее впечатление от Клэра в Лондоне сформулировал Тейлор в частном письме:

От нас только что уехал Клэр... Он был прекрасным Гостем, может быть, только чересчур воодушевлявшимся от Стаканчика Эля – Он встречался со всеми нашими Литературными Знакомцами и установил добрые отношения со всеми. Он не умеет каламбурить, но зато обнаружил такой запас Здравого Смысла и в разговоре делал такие проницательные Замечания – при том, что его Суждения о Книгах были глубоки и серьезны, – что, каков бы ни был Предмет Беседы, его всегда было интересно слушать.

V

Клэра как поэта, выбившегося из необразованных низов, зачастую сравнивают с Бёрнсом. Такое сравнение в корне неверно. Бёрнс принадлежал к классу фермеров, а Клэр — к самому низшему классу наемных сельских рабочих; между этими классами проходила резкая граница. По сути, фермеры стояли ближе к сквайрам, чем к той деревенской голытьбе без кола без двора, откуда вышел Клэр, и, как правило, относились к этой голытьбе, из которой они нанимали себе батраков, с бóльшим высокомерием, чем даже сельские сквайры.

"Поэт-пахарь" Роберт Бёрнс получил вполне приличное образование, он учился философии, истории, физике, французскому языку и латыни. Батрак Джон Клэр не выучился даже грамотно писать; двадцать пять первых, самых важных лет он прожил в такой полной изоляции от всякой культурной среды, как если бы он был пленником замка Иф. Тяжелая работа от зари до зари не располагает к изящному, наоборот, она убивает всякую любознательность, всякую любовь к книгам и учению. То, что Клэр сумел сохранить в душе детское очарование поэзией, — чудо. Сродни десятилетиями лелеемой мечте узника о побеге.

Он батрачил за гроши, урывками, втайне от всех писал стихи и засовывал их в щель между кирпичами, которая казалась ему надежным тайником; но мать, приметив это, нередко брала несколько листков на растопку печи, так погибло большинство его ранних стихотворений.

Одна природа была его сочувственницей. Только в одиночестве, среди полей, ручьев и лесов он ощущал себя счастливым. Его стихи доказывают, что он любил все эти травинки и деревья, букашек и улиток, оттенки неба и облаков самозабвенно и бескорыстно. В детстве он, правда, как и другие мальчишки, разорял гнезда, но, повзрослев, только удивлялся им и мог часами следить за жизнью какого-то птичьего семейства. Чем дальше, тем больше он отвращался от любого насилия и жестокости. Когда в своем удивительном стихотворении "Барсук" он восстает против варварской английской забавы — травли барсуков соба-

ками, — степень его сочувствия достигает полного отождествления: автор сам становится барсуком, сам отбивается от кровожадных врагов, ненавидит их, сражается до последнего и гибнет в неравном бою.

Вообще-то, любовь к природе — не крестьянская черта. Природой обычно восхищаются горожане, дорвавшиеся до зелени и тишины (как Китс, например), или обеспеченные сельские жители, у которых довольно досуга (как Вордсворт, рисовавший ее идеальный образ "вдали от суетного света"). Даже у Роберта Бёрнса природа в основном служит фоном для лирического или обличительного монолога ("К срезанной плугом маргаритке", "О подбитом зайце, проковылявшем мимо меня"). Джон Клэр поражает и обескураживает читателя отсутствием всякой морали. Он не обменивает своей любви к природе на откровение, как, например, Вордсворт или Роберт Фрост. В его восхищении всеми формами жизни есть нечто буддийское — как сказали бы сегодня, "экологическое". Он просто смотрит и делится с нами радостью от увиденного.

Вот, скажем, начало стихотворения:

Я выйду рано — в час мучнисто-серый,
Когда еще вокруг лежит роса
И ветерок порывисто-несмелый,
Как веялка, взвивает волоса.

И так далее, и тому подобное. Мы ждем — вот сейчас начнет вырисовываться вывод, но ничего не вырисовывается, стихотворение заканчивается так же описательно, как и начиналось. Это может вызвать разочарование. Но может быть и освежительно для читателя, уставшего от непременных сентенций и эпифаний.

Кто-то, пожалуй, почувствует себя чуть ли не обманутым: вот, я прочитал целое стихотворение — для чего? где тут вывод? Но не то же ли это, что ждать вывода от жизни, верить, что в конце откроется смысл, "все распутается" (Кант)? И вот жизнь прожита, а откровения нет. Обделили?

Да нет же, оглянитесь назад, подсказывает нам Клэр, откровение уже было, каждый миг этой жизни был откровением, каждая деталь, каждая мелочь в ней была откровением; удивляйтесь, радуйтесь и смотрите!

Вы можете сказать, что такого у него нет, я сам "вчитываю" это в Клэра. Не спорю. Может быть. Но и тогда спасибо автору, который дал мне возможность вчитывать это в его стихи.

VI

Второй сборник Клэра "Деревенский менестрель и другие стихотворения" вышел в конце 1821 года; он состоял большей частью из стихотворений, написанных в то время, пока готовился первый сборник. Отчасти в нем сказалось намерение автора сделать шаг навстречу тем, кто упрекал его за чрезмерную описательность, советовал "поднять глаза от земли" и "говорить о явлениях природы более философично". В результате получалось нечто более привычное, похожее на других поэтов-ро-

мантиков, например на Вордсворта, но все-таки не перепев; главная тематическая триада Клэра *природа – одиночество – детство* звучала у него по-своему.

Джеймсу Огастасу Хесси

Когда я только-только в мир вступал
И глупых истин мудрости не ведал,
Добра и зла еще не различал
И страху смерти и греха не предал
Души младенческой — о, если бы
Я был оставлен в местности пустынной,
Где нет людей, — и милостью судьбы
Меня природа, как родного сына,
Взрастила, не уча и не браня,
А лишь во всем хваля и потакая,
Чтоб в райской неге длящегося дня
Не знал я грез и снов — чтоб жизнь такая,
Блаженна, неизменна и светла,
Предвосхищеньем вечности была!

По форме это сонет, причем английского, "шекспировского", канона: три четверостишия плюс двустишие. В "Деревенском менестреле" много сонетов — или, говоря осторожней, четырнадцатистрочников, ибо в большинстве из них никакие структурные каноны не соблюдаются: на шестьдесят сонетов приходится 36 (!) различных рифменных схем. Тут есть и итальянский, и шекспировский, и спенсерианский сонеты, и всевозможные их "сплавы", есть и сонеты, состоящие просто из семи двустиший. Некоторые критики полагают, что Клэр ничего не понимал в катренах и терцетах, я же уверен, что, наоборот, перед нами плоды сознательного экспериментирования. Не о таком ли "расковывании", "освобождении" сонета мечтал Китс:

Раз цепью рифм должны мы неизбежно,
Как Андромеду, сковывать сонет,
Живую прелесть обрекая мукам,
Давайте, если выхода здесь нет,
Хотя бы новым выучимся трюкам,
Дабы иным аллюром шел Пегас...

То, что продемонстрировал Клэр в своих сонетах, это и есть 36 разных "аллюров", притом исполненных так непринужденно, что это до сих пор вводит в заблуждение литературоведов, подозревающих Клэра в незнании правил; он знал правила, но нарочно их забывал ради спонтанности и свободы.

Он любил все делать по-своему. Его стихи написаны без знаков препинания; ясно, что он был не в ладах с пунктуацией, как и многие другие поэты, оставляющие ее на произвол редактора (впрочем, теперь английские издатели предпочитают восстанавливать первоначальный, "модернистский", вид стихотворений Клэра). Но письма Клэр писал во-

обще без деления на предложения; и хотя в те времена манкировать точками и запятыми и злоупотреблять тире в переписке было модно, но хотя бы начинать новое предложение с большой буквы он мог? Мог, но, по-видимому, не хотел, так что его проза внешне выглядит точь-в-точь как поток сознания Молли в последней главе "Улисса" (в чем у нас еще будет возможность убедиться).

Вообще в характере и в стихах Клэра чувствуется смесь внешней мягкости (пластичности) с внутренней силой и упрямством. Он умел *настаивать на своих заблуждениях* (важнейшая черта поэта!), превращать и сами недостатки в особенности стиля.

VII

"Деревенский менестрель" был, в общем, благосклонно принят критиками, но прежнего успеха не имел — новизна пропала. Между тем Джон Тейлор, занятый журнальными заботами, уже прохладней относился к делам Клэра: со следующим сборником "Пастуший календарь" (1827) он проканителил несколько лет. Изменилась и литературная ситуация: поэтический бум 1815—1825 годов закончился, начиналось время прозы.

То же самое происходило и в России с небольшим временным отставанием. Не случайно даже Пушкин в 1830-е годы все больше переходил на прозу и журналистику. Публика гонялась за интригующими новинками, в моде было гротескное, страшное или смешное: Барон Брамбеус, Гоголь с "Вечерами на хуторе...", Одоевский с "Русскими ночами". В поэзии после смерти Пушкина и Лермонтова вплоть до середины пятидесятых годов установилась прочная пауза. Ситуация в Англии была сходная. К 1825 году Байрон, Китс и Шелли уже ушли из жизни; Колридж и Вордсворт еще писали, но их лучший творческий период был давно позади; интерес публики к поэзии упал, и редкие светлячки стихов в журналах оставались почти незамеченными, пока в середине 1840-х годов их всех не затмила восходящая звезда Альфреда Теннисона.

Между тем жизнь Клэра в Хелпстоне становилась все труднее. Семья с каждым годом увеличивалась; жить в двух комнатах, которые они арендовали, становилось невозможно; летом, особенно в сезон уборки, Клэр, как прежде, нанимался поденным работником в поле. Критики, убеждавшие его не оставлять сельских трудов, исходили из благих соображений: они хотели, чтобы он оставался "поэтом-пахарем", и, поощряя его поэтические труды, не могли одобрить его попыток вырваться за пределы сословных перегородок. Отношение даже сочувствующих ему друзей и покровителей было половинчатым: ему помогали, но до известных пределов, так сказать, с разумной умеренностью.

Такое двойственное положение со временем становилось все более нестерпимым. Хуже всего было то, что в деревне Клэр был начисто лишен интеллектуального общения. При всей его любви к природе и одиноким прогулкам жажда поделиться мыслями с равным собеседником была насущной, и она оставалась неудовлетворенной. Он вел обширную переписку, много читал и продолжал упорно, не давая себе передышки, работать над новыми стихами. Но тяготы и переутомление в конце концов сказались. Первый звонок прозвенел в 1823 году; по-види-

мому, это было нервное истощение, сопровождаемое разнообразными телесными симптомами; мы лишь знаем, что в письме к миссис Эммерсон он жаловался на "омертвение мозгов", "провалы памяти", "ухудшение зрения", "блуждающие боли" и "приступы озноба". В конце апреля следующего года Клэр в последний раз приезжает в Лондон. Его цель – посоветоваться с доктором Дарлингом, врачом, которого ему рекомендовал Джеймс Хесси и который до этого лечил Китса, Хэзлита и других литераторов.

В Лондоне ему стало лучше. Не думаю, что помогло лечение, – скорее, смена обстановки, общение с друзьями, которые старались его развлечь. Он как ребенок радовался новым впечатлениям. Например, поединкам между знаменитыми боксерами в большом лондонском зале; встрече с модным френологом, определяющим характер человека по форме и "шишкам" его головы (вспомним пьесу Козьмы Пруткова "Чернослов, сиречь Френолог"); визиту к знаменитому художнику Томасу Лоренсу, очаровавшему Клэра своей любезностью; театральным вечерам и так далее.

Кроме старых знакомых, он обзавелся новыми; назовем, в частности, Джона Бауринга, составителя "Антологии российских поэтов" (1821), а также Чарльза Элтона, ученого-античника, переводчика Гесиода и Проперция. Элтон посвятил Клэру интересное стихотворение, опубликованное в "Лондонском журнале": "Послание от безделья Джону Клэру".

Оно содержит немало любопытного; в частности, Элтон с первой строки отговаривает Клэра от мыслей задержаться в Лондоне: "So loth, friend John, to quit the town?" – "Так, значит, тебе неохота, дружище Джон, уезжать из города?" И далее, продолжая эту тему: "Я бы не стал на твоем месте жертвовать привычками простодушного детства, толкаться среди толпы и изнурять свой ум на обедах и ужинах, чтобы от шумных увеселений в конце концов зачахнуть и сгинуть"[1].

Далее Элтон утверждает, что почитатели Клэра сбивают его с толку, склоняя к подражанию устарелым образцам: "Они хвалят худшее в тебе; твое лучшее до сих пор неизвестно".

Он упрекает публику в ханжестве: "Многие из них обременены скорбью и подозрениями, Клэр! Им хотелось бы знать, как ты молишься, Клэр. Ты не лицемеришь, потому-то они таращат глаза и нюхом чуют вольнодумца; они умоляют тебя страшиться дьявола и клянутся, что ты попадешь в ад". Обратим внимание, что крестьянин Клэр – как и горожанин Китс, между прочим, – скептически относился к религиозным догмам. Отсюда, кстати, его расхождения с Вордсвортом, которого он в целом очень ценил: "Честно говоря мне не очень-то нравится его показная набожность в некоторых длинных вещах она порой становится невыносима"[2]. Как и Китс, он не терпел поэзии, имеющей "слишком очевидные намерения" по отношению к читателю.

Добавлю еще несколько слов, чтобы расставить все точки над "i". Клэр не был атеистом, но он не выносил лицемерия священников и стадных путей к спасению, не любил, чтобы его пасли. "Одиночество и Бог для меня едины".

1. Отрывки из стихотворения Элтона даются в подстрочном переводе.
2. Цитируя прозу Клэра, я везде сохраняю его пунктуацию (или отсутствие таковой).

Послание Элтона заканчивается обращением к их общему другу, бристольскому художнику Риппинджилю, с призывом нарисовать портрет Клэра: "Его кисть мазок за мазком изобразит твои задумчивые глаза с их упорным блеском, виски шекспировских линий, спокойную улыбку, твой здравый смысл и ум – прямой, без подвоха".

His touch will, hue by hue, combine
The thoughtful eyes that steady shine,
The temples of Shakespearian line,
    The quiet smile,
The sense and shrewdness which are thine,
    Withouten guile.

VIII

Во время своего третьего приезда в Лондон Клэр стал очевидцем события, оказавшего на него незабываемое впечатление, – похорон лорда Байрона 14 июля 1824 года. Разумеется, Клэр читал в газетах о смерти поэта, но с похоронным кортежем встретился неожиданно. Шел в гости к кому-то по Оксфорд-стрит, увидел толпу, запрудившую тротуар. Толковали о каких-то похоронах, и по выражению лиц Клэр понял, что людьми владеет не просто досужее любопытство. Стоящая рядом девушка вздохнула и негромко воскликнула: "Бедный лорд Байрон!"

Я взглянул в лицо этой девушки оно было так печально и прекрасно в этот момент я мог влюбиться в нее за один этот вздох которым она почтила поэта он стоил больше чем все надутые хвалы в журналах и газетные выражения скорби... простые люди страны лучшие свидетели и пророки будущего они те вены и артерии которые питают сердце истинной славы дыхание вечности и душа времени запечатлены в этом пророчестве, –

записал он позже в своем дневнике.

В эссе "О популярности", в других заметках для себя Клэр дает высокую оценку Байрону, хотя и достаточно взвешенную: он пишет, например, о том, что его греческая эпопея – "скорее актерство, чем геройство"; и тем не менее считает все грехи и недостатки поэта "пятнами на солнце": "он приобщен к бессмертным и сияет как алмаз на фоне современной литературы". Пройдет десять лет, и помещенный в лечебницу Клэр объявит себя Байроном и станет сочинять новые песни "Чайльд Гарольда" и "Дон Жуана"...

В Хелпстон Клэр вернулся ненамного здоровее, чем был до отъезда. Тем не менее он продолжал упорно работать. В его голове роилось множество планов. Он писал стихи, дневники, критическую и очерковую прозу, брался за "Естественную историю Хелпстона", собирал и записывал народные песни, вел наблюдения за птицами: он был орнитологом-самоучкой, любил приручать птиц, в том числе, ястребов и галок. Его стихи о птичьих гнездах образуют большой цикл, который он мечтал опубликовать отдельной книгой; среди этих стихотворений есть заме-

чательные, например "Гнездо соловья", "Гнездо ворона"... Впрочем, замечателен и сам замысел.

Птичьи гнезда

Как зелен лес! Как свеж весенний воздух!
Куда ни поверну – вокруг меня
Летанье, щебетанье и возня,
Куда ни загляну – повсюду гнезда
Таятся в гуще крон, в тени ветвей,
Укромные, как маленькие кельи;
Вот зяблика плетеный круглый дом,
А выше – домик робкой варакушки,
Прилежно устланный травой и мхом,
А рядом – чиж скучает без подружки,
Посвистывая, чисто соловей.
Какая это радость и веселье –
Гулять вдоль рощ и кущ в закатный час
Под бдительным присмотром стольких глаз.

Другим – к счастью, осуществившимся – замыслом Клэра был "Пастуший календарь", цикл больших стихотворений о двенадцати месяцах. Это чисто описательные, но яркие, интересные стихи, полные движения, красок и звуков. Круговорот времен года увиден в них детскими глазами – еще "незамыленными", любопытными до всего на свете. Сколько раз издатели Тейлор и Хесси упрекали Клэра в бескрылости, в "отсутствии человеческого интереса". Может быть, они и правы, если под "человеком" разуметь взрослого, но в том-то и дело, что в "Календаре" Клэра автор – ребенок, чье сознание лишь полупроснулось. Оно еще не отрефлексировано, зато обладает яркостью сна и абсолютным бескорыстием.

На мой взгляд, в своем "райском", радостном восприятии мира Джон Клэр чрезвычайно близок Кристоферу Смарту, автору "Ликований об Агнце" и "Гимнов, написанных на забаву детворе". Есть у Клэра и безусловное родство с автором "Песен невинности", о котором он еще тогда, в 1824 году, проницательно написал, что "слава Блейка будет возрастать неудержимо, как морской прилив".

Помещенный в этот ряд (Кристофер Смарт – Уильям Блейк) Джон Клэр оказывается в своем истинном контексте; становится понятней и его "безумие", и неистребимая детскость, и тайный героизм его судьбы.

IX

Здесь будет уместно рассказать об одной проделке Клэра, на которую биографы обращают мало внимания, но которая мне кажется очень важной. Еще до выхода своего первого сборника Клэр увлекся поэзией XVI–XVII веков, и этот интерес, несмотря на скудость имеющихся в его распоряжении книг, с годами лишь усиливался. В январе 1824 года он послал редактору газеты "Радуга" в Шеффилде стихи под названием "Тщеты жизни" в сопровождении письма, в котором сообщал:

Я скопировал эти строки с рукописного текста, записанного на чистых страницах старинной книги, озаглавленной "Сокровище Мира, Сборник отменных Советов на все Случаи Жизни в стихах и в прозе, отпечатанный для А. Бетсворта под вывеской красного Льва в Патерностер-лейн год 1720" они кажутся навеянными чтением этой книги и написаны в манере той компании среди которой я их нашел мне думается они не хуже многих других старинных стихотворений сохраняемых с куда большим тщанием и под таким впечатлением я решился послать их вам надеясь что они смогут найти приютный уголок и спастись от забвения в вашем занимательном литературном издании но если я опрометчиво переоценил достоинства этих стихов прошу меня простить за потерянное время и труды...

Разумеется, все это, включая название книги, было чистейшей мистификацией. Но мистер Монтгомери, редактор, заглотил крючок и напечатал стихотворение на страницах "Радуги", тщательно воспроизведя историю их открытия по Клэру. Вдохновленный этим опытом, Клэр в последующие два года сочинил, разослал (подписываясь разными именами) и опубликовал в английских газетах и журналах и другие "счастливые находки", в том числе "О смерти" Эндрю Марвелла, "Отвергнутую любовь" сэра Джона Харрингтона, "Мысли на кладбище" Генри Уоттона, "Цыганскую песню" Томаса Дейвиса и "Попрекай или дразни" Джона Саклинга. В мае 1826 года, когда Монтгомери решил включить "Тщеты жизни" в сборник религиозной поэзии и попросил разрешения взглянуть на рукопись, Клэр чистосердечно во всем сознался и так объяснил мотив своего "преступления":

Я давно питал любовь к поэзии елизаветинской эпохи, хотя у меня никогда не было возможности познакомиться с ней глубже, чем позволяли узкие рамки "Английских песен" Ритсона, "Образцов" Эллиса и уолтонского "Рыболова"[1]; позапрошлой зимой, несмотря на сильную болезнь, я написал ряд стихотворений в этой манере, постаравшись воспроизвести ее как можно лучше, и намереваясь напечатать свои стихи под именем старых поэтов, хотя произведения некоторых из них я и в глаза не видел...[2]

Надо сказать, что Клэр ввел в заблуждение не только Монтгомери; его поделки попали и в другие антологии, и даже через десять лет после его смерти, в 1873 году, в печати еще шел спор, подлинные это стихи или нет. Невольно вспоминается "честоновская трагикомедия "The Covetous Knight", из которой Пушкин якобы перевел своего "Скупого рыцаря" и дискуссия о которой до сих пор не смолкла. Литературные проказы были в духе того времени.

Впрочем, для Клэра это было не просто мистификацией, но проявлением искренней очарованности поэзией той эпохи, о чем лучше всего свидетельствует запись в его "Дневнике" от 8 сентября 1824 года, которую можно назвать "Сон наяву после чтения 'Рыболова' Уолтона". Клэр представляет себя на берегу реки в компании поэтов, "которым я

1. Имеется в виду "Полное руководство по ужению рыбы" Исаака Уолтона (1593–1683), друга и биографа Джона Донна. Классическая английская книга о рыбной ловле, нашпигованная множеством очаровательно наивных стихотворений.
2. Пунктуация дана по книге Дж. Л. Черри "Биография и неопубликованные материалы Джона Клэра".

недостоин и шнурки развязать на туфлях" и тем не менее обходящихся с ним весьма любезно и запросто. Среди них Исаак Уолтон, сэр Генри Уоттон, сэр Уолтер Рэли, доктор Донн, Чарльз Коттон и Джордж Герберт. Некоторые из них декламируют отрывки из своих стихов, группка цыган напевает "Цыганскую песню" Фрэнка Дейвисона – как вдруг брызнувший дождик заставил их поспешно смотать удочки и укрыться под сенью огромного сикомора, где прекрасная пейзанка, только что с сенокоса, спела им "нежнейшую из мелодий, сочиненных Китом Марло", после чего вся компания отправилась в таверну и провела ночь, предаваясь веселью и воспоминаниям.

"Нежнейшей из мелодий" Кристофера Марло (1564–1593) может быть только его знаменитое стихотворение (сразу положенное на музыку) "Влюбленный пастух – своей возлюбленной":

Пойдем со мной и заживем,
Любясь, как голубь с голубком,
Среди лугов, среди дубрав,
Среди цветов и горных трав.

Знаменитым стало и стихотворение сэра Уолтера Рэли под названием "Ответ нимфы влюбленному пастуху":

Будь вечны радости весны,
Будь клятвы пастухов прочны,
Я б зажила с тобой вдвоем,
Любясь, как голубь с голубком...

"Дневник" Клэра доказывает, что он знал стихотворение Марло "Come live with me and be my love". В сущности, я в этом не сомневался с тех пор, как впервые прочел грандиозное "Приглашение в вечность", написанное Клэром в 1844 году в Нортгемптонской больнице для душевнобольных. Это стихотворение читается как дальнейшая реплика в споре: ответ пастуха на ответ нимфы. Но какой это страшный ответ! Нимфа говорит: "Все увядает, поля и горы остывают, весна надежд превращается в зиму печали; ах, если бы юность длилась вечно! – тогда я согласилась бы пойти с тобой". Клэр отвечает: "Не только все увядает и остывает – горы рушатся и миры гибнут; впереди нас – бездна, но если ты не боишься – come live with me and be my love!"

X

После выхода в свет "Пастушьего календаря" (1827) Тейлор окончательно отказался быть издателем Клэра: дескать, поэзия сделалась убыточной, печатайтесь, мой друг, в альманахах. После десятилетних напоминаний ему прислали наконец-то счет от издательства, по которому выходило, что: а) за три вышедшие книги ему практически ничего не следовало и б) что он остался в долгу перед издателями. Клэр не терпел денежных тяжб, все его недоумения и обиды остались в черновиках пи-

сем, которые он так и не решился отправить. Лишь в некоторых строках дневника да в стихах прорывается его горькое разочарование в Тейлоре и других лондонских друзьях, которые, как ему казалось, бросили его, оставив терпеть бедствие на хелпстонской мели. К этому времени относится его "Песня старика", в которой есть такие строки (в дословном переводе):

Я не знал, что счастью моему придет конец, – пока, казалось бы, самые сердечные друзья не охладели ко мне, как солнце, которое высокомерно уклоняется от одинокой ночи. Мне не верилось в измену, ибо они не выказывали прямой вражды, а пылкая память напоминала мне об их прежней доброте. И вот я оглянулся и увидел, что все меня покинули, кроме собственной тени.

Между тем в семье Клэра было уже десять человек, включая беспомощных родителей, а основным его доходом являлись дивиденды от капитала, собранного почитателями после издания первой книги ("деньги от Фонда"). Эту мизерную сумму высылал ему тот же Тейлор. Долги росли. Здоровье Клэра было подорвано. Его лечили, как было принято в то время, кровопусканием, пиявками, жестокой (на хлебе и воде) диетой и так далее. Если эти средства окончательно не доконали больного, благодарить следует лишь его врожденную крестьянскую живучесть, а не докторов. Но едва чуть-чуть отпускало, как он снова брался за стихи и прозу, и снова ему приходилось барахтаться в море разнообразных житейских забот. Глубокая меланхолия становилась фоном жизни поэта, созданного для радости, умеющего извлекать ее крупицы из самой невзрачной жизненной руды. Дважды подряд в своих письмах он цитирует горькую мудрость Соломона: "Сын мой, лучше умереть, чем быть бедным".

После того как иллюзии литературных заработков испарились, единственной надеждой стало получение в аренду дома с небольшим участком, чтобы кормиться от земли крестьянским трудом. После нескольких лет обращений к местным землевладельцам, обещаний и проволочек его покровителям удалось найти подходящий дом в деревне Нортборо, неподалеку от Хелпстона. Местность вокруг была менее лесистой, проще говоря, вокруг простиралась болотистая равнина, но сама деревня была красивой и обсаженной деревьями. Дом под соломенной крышей делился на шесть комнат, включая три спальни, просторную кухню и кабинет Клэра, за домом был огород и сад, в котором Клэр высадил множество яблонь, груш, кустарников и цветов, к саду примыкал выгон для двух коров. По сравнению с хелпстонскими условиями это был просто дворец.

И тем не менее переезд для Клэра сделался причиной глубокой депрессии, которую нетрудно объяснить. Его тоска по старому месту была, в сущности, тоской по прошлому. Ему не хватало знакомых деревьев, на которые он привешивал качели, вороньих гнезд на сосне. В стихотворении "Воспоминания" он перечисляет все милые названия детства, всю эту звучащую географию утраченной страны: Опушка Лэнгли, Футбольная Лужайка, Звенящий Ручей, Холодный Холм, Лягушачий Затон, Круглый Дуб... Нужно еще знать, какое значение Клэр придавал понятию "самости" (identity). Утратив то, что его окружало, он испугался, что может потерять самого себя. Для поэта такой чуткости и ранимос-

ти всякая чужбина (пусть даже расположенная в нескольких милях от родного дома) есть инобытие, всякое переселение – репетиция смерти. Он запаниковал: так ничтожно мало еще сделано для бессмертия. И тогда ему снова начали сниться сны о Мэри Джойс.

XI

Голубоглазая девочка, "самая молчаливая и добронравная в школе", она была на четыре года его младше. Но разница, должно быть, не бросалась в глаза, потому что Клэр всегда был невысокого роста (как и Китс, который стеснялся танцевать, оттого что был коротышкой). Они гуляли и играли вместе и болтали о том, о чем болтают дети за игрой, но он вспоминает в автобиографических записках, как внезапно холодело и трепетало его сердце, когда он касался руки Мэри.

Потом он перестал ходить в школу в Глинтон и не видел ее несколько лет. Они снова встретились в Мартынов день на деревенских посиделках. Играли в фанты. Она раз за разом выбирала его и, краснея, платила штраф поцелуем. Они стали часто встречаться. Ему было уже семнадцать, а ей в ту зиму только исполнилось тринадцать – по деревенским понятиям девушка, почти невеста (да и по веронским – тоже).

Но она была дочерью фермера, а он – нищим батраком без ясного будущего, а значит, ей не пара. Он все больше думал об этом, и ему казалось, что она думает о том же. Все его стихи к ней остались утаенными, романтические признания – невысказанными. Их свидания, прогулки по весенним полям и дорогам постепенно сошли на нет. Ему нужно было что-то делать ради хлеба насущного, искать работу, постоянное место. После 1816 года они, кажется, больше совсем не встречались.

Но Мэри осталась в его стихах, в его воспоминаниях. Чтобы не обижать Пэтти, он старался не упоминать в стихах имени своей первой любви, скрывая его за тремя звездочками. Но утаенное чувство продолжало жить в нем. И настало время, когда оно его спасло.

Погубило и спасло. Тогда, в Нортборо, он очутился на распутье. Можно было оставить "поэтическую блажь" и попытаться стать просто крестьянином. В сущности, у него не было другого выхода. Он устал жить на ничтожные подачки, которые никак не покрывали расходов семьи. Батрацкий сын, отравившийся в юности стихами, он жил как сомнамбула, стремящийся к одной недостижимой цели. Он сам понимал неуместность, раздвоенность своей жизни.

Когда бы все люди чувствовали, как я, человечество не могло бы существовать – зелень полей лежала бы нераспаханной, деревья не рубили бы на дрова или на мебель и люди сохраняли бы мир таким, каким они нашли его в детстве, до самой своей смерти.

Поразительно, но здесь почти дословное совпадение с Пушкиным (хотя и несколько другая мотивация): "Когда бы все так чувствовали силу / Гармонии! Но нет: тогда б не мог / И мир существовать; никто б не стал / Заботиться о нуждах низкой жизни; / Все предались бы вольному искусству" ("Моцарт и Сальери").

Клэр не мог предаться вольному искусству как "праздный счастливец"; но он не мог и предать триединый идеал, к которому тянулся с юности: красоты, бессмертия, поэзии. Мэри Джойс явилась к нему как воплощение этого идеала — призрачная опора, ангел-хранитель его снов и яви.

Он вспоминает и записывает в дневник давний сон, приснившийся ему еще тогда, когда он не напечатал ни строчки стихов. Она предстала перед ним, улыбаясь своей завораживающей улыбкой, вызвала из дому и повела его на поле, называемое Хилли Сноу. Вокруг было множество народа, дамы в пышных платьях, какие-то солдаты верхами, демонстрирующие сабельные приемы, толпа кипела как на ярмарке. Он поразился своей малости в этой толпе и смущенно спросил ее, зачем она позвала его в это огромное скопище людей, когда его единственное желание и радость — быть в одиночестве со своими мыслями. "Ты лишь один из этой толпы", — произнесла она и быстро повела его прочь. В следующий момент они оказались в городе, в книжной лавке, и там на одной из полок он увидел три тома со своим именем на переплете. Он недоуменно оглянулся на нее — и проснулся.

Другой сон, который он записал, был как бы видением Судного дня: много людей, спешащих по улице в сторону церкви, неестественный цвет неба и солнце, светящее каким-то лихорадочным, "лунным" блеском. В переполненном людьми храме она оказалась рядом — облаченная в белые одежды, как ангел-хранитель. Из угла часовни струился таинственный свет, оттуда должен был прозвучать окончательный приговор всему, что человек совершил на земле. Он услышал свое имя — и в этот миг "водительница моя улыбнулась озаренная радостью и губы ее прорекли что-то такое отчего мое сердце исполнилось спокойствием и счастьем..."

Я проснулся под звуки тихой музыки переполненный отрадой и печалью и продолжал говорить с ней наяву как будто она все еще склонялась надо мной – Эти грезы в которых она присутствовала как прекрасное женское божество подарили мне представление о возвышенной небесной красоте и ее приходы ночь за ночью оставили такие яркие следы в моей памяти – божественные отпечатки снов – что я не мог больше сомневаться в ее существовании...

XII

Не следует преувеличивать наивности Клэра, его "литературного целомудрия". Разумеется, за этими снами стоят великие литературные прототипы, прежде всего Данте, автор "Новой жизни" и "Комедии", певец Беатриче. Его вéнчанная жена Джемма ни разу не упоминается в его произведениях. Заметим, кстати, что Данте впервые увидел Беатриче, когда той было девять лет — почти как Мэри Джойс в год ее встречи с Клэром. Ангельское очарование детства несомненно отразилось на сакрализации образа возлюбленной у обоих поэтов: первое впечатление — самое сильное.

Можно вспомнить и Петрарку, и — ближе — Китса с его пророческими снами. Так, в "Оде Праздности" (1819) перед мысленным взором поэта проходят три символические фигуры: Любви, Честолюбия и По-

эзии. В пароксизме тоски и безволия он гонит их из своей жизни и навеки прощается с этими тревожащими, демонскими образами: "Прочь, тени, прочь из памяти моей / В край миражей, в обитель облаков!"

Напрасно, Китс был не в силах изгнать из памяти эту триаду — любовь, поэзию и жажду славы. Он тоже нуждался в поддержке, в женственном воплощении своего идеала; но Фанни Брон была слишком живой, слишком земной женщиной для того, чтобы соответствовать этому тройному образу.

Клэру было "проще": Мэри Джойс уже давно перешла из плана реального в реальнейший, то есть идеальный. Став символом тоски и утраты, она утвердила свое место рядом с ним и в трудную минуту вдохнула в него силу сопротивления судьбе. Она стала его музой, ангелом-хранителем его дней и ночей; удивительно ли, что со временем он стал считать ее своей первой женой?

В 1835 году вышел последний, изданный по подписке сборник Джона Клэра "Сельская муза". Это было навязанное ему название, оригинальная рукопись Клэра называлась "The Midsummer Cushion" — "Летний коврик"; был такой старинный крестьянский обычай — вносить в дом вырезанный на лугу кусок дерна с цветами и украшать им комнату как ковриком. Последовало несколько благожелательных рецензий, несколько добрых писем от старых и новых знакомых — и все. И глухая безнадежность опять сомкнулась над ним.

Часы мои ползут, но время не идет,
Я чувствую себя лягушкой, вмерзшей в лед.

Но Клэр не сдавался. Он продолжал записывать в рабочую тетрадь все новые и новые стихи — как пишут его биографы, "ужасными самодельными чернилами". Их рецепт тоже сохранился среди бумаг Клэра:

Возьмите 3 унции растолченных дубильных орешков поместите в полторы пинты дождевой воды дайте постоять три дня добавьте полторы унции позеленевшей меди и кусочек медного купороса и встряхивайте каждый день перед употреблением.

Этими "ужасными" чернилами он писал стихи о бродягах и отверженных, о живущих в лесу "одиноких испуганных тварях" (выражение Шеймаса Хини): птахах, ежах, зайцах, барсуках... В этих стихах все больше напряжения и тревоги, все меньше проблесков безмятежной радости.

Клэра опять донимает депрессия. Письмо доктору Дарлингу в Лондон поражает беспомощностью, почти отчаянием:

я очень болен не могу описать что я чувствую но попытаюсь как смогу – любые звуки сделались мне невыносимы разные мысли хорошие и плохие беспрестанно кружатся в моем мозгу я не могу спать по ночам лежу с открытыми глазами и чувствую холод пробегающий по телу и вижу какие-то кошмары наяву прошлая ночь не принесла мне никакого облегчения...

Обратите внимание на фразу о невыносимости любых звуков. Она объясняет начало стихотворения, которое по-английски начинается

словами "I hid my love", — в частности, строку о "мушином звоне". Это стихотворение, наверное, одно из лучших в любовной лирике Клэра.

Любовь так долго я таил,
Что белый свет мне стал немил;
Мушиный звон меня терзал,
И солнце жгло мильоном жал.
Я ей в глаза взглянуть не мог;
Но каждый под ногой цветок,
Прекрасный, словно божий рай,
Казалось, мне шептал: "Прощай".

Мы снова встретились в лесу,
Где колокольчик пил росу;
В жемчужно-серый ранний час
Я был обласкан синью глаз.
Ее скрывала дебрей мгла,
Ей пела песенку пчела,
И луч, скользя в листве густой,
Дарил цепочкой золотой.

Любовь так долго я таил,
Что ветерок меня валил;
Я всюду слышал дальний зов,
В жужжанье мух — рычанье львов;
И даже тишина могла
Меня пугать из-за угла;
И жгла, как тайна бытия,
Любовь сокрытая моя.

XIII

В ноябре 1836 года в Нортборо неожиданно заявился Джон Тейлор. Он привез с собой доктора для освидетельствования здоровья Клэра. По словам самого Тейлора, Клэр выглядел как обычно, разумно отвечал на все вопросы, смеялся, вспоминая смешные происшествия в Лондоне. Лишь иногда что-то невнятно бормотал себе под нос. Если прислушаться, можно было расслышать нечто вроде: "боже спаси", "боже оборони докторов"... То ли "докторов", то ли "от докторов" — Тейлор не понял. Однако он сделал вывод, что разум Клэра пошатнулся. Приезжий врач был того же мнения и рекомендовал поместить Клэра в лечебницу. Тейлор сразу же нанес визит местному пастору Чарльзу Моссопу, который обещал переговорить с графом Уильямсом (чьим арендатором был Клэр) о больнице.

Что-то в этой истории остается для меня не совсем ясным. Прежде всего, по чьей инициативе возник вопрос о медицинском освидетельствовании? Не мог ли в этом с самого начала участвовать преподобный пастор Моссоп или, может быть, сама Пэтти Клэр? Последнее представляется вполне вероятным.

Ясно, что у Пэтти накопилось немало поводов для недовольства своим мужем. Работник он был никудышный, постоянно то болел, то хандрил, то чудил, то писал свои бесконечные вирши, от которых шло одно расстройство. Правда, он нежно любил детей (у них было три сына и четыре дочери), заботился об их образовании, выписывал и доставал для них самые лучшие и полезные книги. Согласно семейному преданию, он не мог видеть, как детей наказывали, и порой, когда Пэтти сгоряча пыталась вздуть кого-то из них, предлагал, чтобы взамен вздули его самого. И все-таки он со всеми своими странностями и непонятными хворями мог казаться обузой. Человек, занимающийся бесполезным и неприбыльным делом, в крестьянской среде всегда считался ненормальным. (Впрочем, не только в крестьянской и не только в те времена.) Пэтти никогда не понимала занятий мужа, зато она была сильной и энергичной женщиной. Она терпела его стихописание, пока оно не стало совсем гиблым делом. К тому же в последнее время Клэр явно рехнулся, вообразив, что у него две жены: Мэри Джойс, которую он не видел уже двадцать лет, и она, Пэтти. Не всякая женщина такое выдержит.

Говорили еще о пьянстве Клэра. Но это, по-видимому, было злостной сплетней. Он мог выпить и даже немного пошуметь, но пьяницей не был, тем более буйным. Ни в молодости, ни в зрелые годы, ни в старости. Это мы знаем точно, ведь более двадцати пяти лет Клэр провел в больницах, под наблюдением врачей, внимательно следивших за его поведением.

Итак, Тейлор условился с преподобным мистером Моссопом, что тот обратится с графу Уильямсу по поводу Клэра. Пока граф думал (а в те времена лорды думали неспешно), миновало несколько месяцев, и тем временем у Тейлора родилась удачная мысль. Незадолго до этого он напечатал книгу известного врача-психиатра Мэтью Алена "Опыт классификации душевнобольных". При очередной встрече он переговорил с ним. Под покровом глубокой секретности были сделаны все нужные приготовления. Наконец в июне 1837 года посланец доктора Алена появился в Нортборо. При нем была записка Клэру от Джона Тейлора, в которой говорилось: "Податель сего привезет Вас в Лондон. Положитесь на него полностью... Вам будет оказана полная медицинская помощь неподалеку от города, которая вас совершенно исцелит".

Через несколько дней Клэр находился уже за восемьдесят миль от своего дома, в местечке Хай-Бич возле Эппинг-парка, к северу от Лондона, где располагалась частная психиатрическая лечебница доктора Алена.

XIV

Здесь я хотел бы поделиться с читателями некоторыми собственными соображениями, может быть, и неверными, — ведь я не специалист. Я думаю, что бóльшая часть так называемых душевных расстройств имеет не физиологический, а социальный характер — и в смысле причин, и в смысле симптомов. Бедняка, окруженного голодной семьей и погруженного при этом в мечты стихотворства, безусловно сочтут сумасшедшим. Поместите этого же человека в барский дом, снабдите деньгами и шта-

том слуг — никому и в голову не придет объявить его больным, любые его странности будут трактоваться как милые чудачества.

Да и откуда взяться депрессии при хорошей жизни? Другое дело, если человек посвящает себя неустанному поэтическому труду, одновременно борясь с собственным невежеством, с отчаянной нуждой и сопротивлением косной, равнодушной среды. Такое давление прогнет любую душу. Но вспомним, как быстро проходили многие скорби и болезни Клэра, едва его пригревало солнце удачи, дружества и счастливого рассеянья от забот.

В Хай-Бич, после неизбежного первого шока, он должен был почувствовать облегчение: лечебница доктора Алена дала ему передышку. Отметим, что это было одно из самых передовых заведений такого рода в Англии. В стране, где еще недавно понятие "сумасшедший" ассоциировалось с цепями и плетьми Бедлама, Алену удалось создать нечто вроде семейного пансиона для душевнобольных, где врач со своими подопечными жили в одном большом доме как добрые соседи, где устраивались игры, танцы и всевозможные совместные развлечения. Клэр получил полную возможность свободно гулять по окрестным полям и лесам ("красивее природы я не видывал в жизни", — писал он домой), сочинять стихи, сколько вздумается, и не беспокоиться о хлебе насущном.

Его физическое здоровье намного улучшилось, душевное настроение внешне успокоилось. Но именно здесь, в Хай-Бич, у Клэра развились некие странности, которые биографы называют "маниями". Здесь он стал писать "Чайльд Гарольда" и "Дон Жуана" размером Байрона, причем в записных книжках сохранились наброски объявлений такого типа:

В ближайшее время будет напечатано —

Новый том стихотворений лорда Байрона
доныне не собранных
включая новые главы Чайльд Гарольда
песни, фрагменты etc.

Отметим, что если сатирические фрагменты "Дон Жуана" Клэра грубоваты и малоудачны, то "Чайльд Гарольд", написанный спенсеровой строфой с многочисленными вставными стихотворениями и песнями, принадлежит к числу замечательных произведений Клэра. От Байрона в нем принцип построения и свободная манера лирического изложения, все же остальное — совершенно клэровское, оригинальное. Называть эти вещи доказательствами "мании" или "отождествления себя с Байроном", на мой взгляд, рискованно. Продолжения "Дон Жуана" писались многими (одно такое издание имелось в библиотеке Клэра), как писались продолжения и других знаменитых произведений мировой литературы. Как мы уже говорили, для романтической эпохи были весьма характерны всевозможные литературные "игры в прятки"; Клэр к тому времени уже испробовал свое перо на сочинении "неизвестных стихотворений" Эндрю Марвелла и других старинных поэтов. Разумеется, стилизация или подражание включает в себя элемент самоотождествления с иным автором, но говорить о "мании величия" здесь вряд ли стоит — иначе следует признать "маньяками", например, всех переводчиков.

Не стоит забывать, что кроме понятия "мания" есть еще понятие "маски". Николай Гумилев писал, что искусство творить поэтические маски есть часть искусства творить стихи вообще. При этом "число и разнообразие масок указывает на значительность поэта...".

Мне кажется, что дух игры, актерства был вообще развит в Клэре. Когда ему навязали определенную роль, он почувствовал искушение испытать эту роль, проверить, насколько далеко простираются привилегии безумца. Кроме того, попав в сумасшедший дом (а жизнь в таком месте не сахар, сколь бы передовым оно ни было), он использовал маску не только для игры, но и для защиты своего внутреннего "я". Заметим, что такая линия поведения имеет длинную и почтенную традицию в английской литературе, начиная с "Гамлета".

Те две-три постоянных мании, о которых пишут биографы, были скорее сознательными масками или ролями Клэра. Роль Байрона укрепляла в нем чувство свободы и поэтической раскрепощенности. Роль "боксера" (он вспомнил виденные им в Лондоне бои) давала возможность сбросить излишек обиды, постепенно накапливавшейся в изоляции. Порой ему казалось, как затравленному барсуку, что на него накинулись все собаки мира. "Он вдвое меньше этих бестий злых / Но бьется насмерть, побеждая их!"[1]

В одной из записных книжек мы находим запись, которую можно рассматривать как свидетельство навязчивого бреда, а можно — как патетический монолог, сыгранный на воображаемой сцене:

Вызов Джека Рэнделла Всему Миру
Джек Рэнделл Чемпион Призового Ринга
Имеет Честь Сообщить Всему Спортивному Миру
Что Он Готов Встретиться С Любым Противником На Ринге Или На Сцене
И Биться Против Заклада В 500 или 1000 Фунтов С Каждой Стороны
Честный Прямой Полуминутный Бой — Победи Или Проиграй
Вес Цвет Или Страна Не Имеют Значения Единственное Его Желание
Встретить Противника У Которого Хватит Духу Выйти На Поединок

Как сказал бы Полоний: "Если это и безумие, в нем есть своя система". Мне она более чем понятна. Вспоминаю, как в аналогичных обстоятельствах, оказавшись на много месяцев отрезанным от дома и друзей, я по много раз в день крутил знаменитую песню "Боксер" Саймона и Гарфункеля: "In the clearing stands a boxer, and a fighter by his trade / And he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him / 'til he cried out in his anger and his shame / I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains..."[2]

1. Из стихотворения "Барсук" (ок. 1836).
2. Подстрочный перевод: "На открытом месте стоит боксер, привычный к ударам, на нем — отметины всех перчаток, которые сбивали его с ног или рассекали лицо; и настает момент, когда он восклицает с яростью и со стыдом: 'Довольно, я ухожу!' Но боксер остается..."

XV

Доктор Аллен и сам полагал, что болезнь Клэра не носит органического характера и что, если бы он мог вернуться к семье и дому, но без подтачивающих его здоровье ужасных условий прежних лет, полное выздоровление было бы почти гарантировано. В лондонских газетах был объявлен сбор благотворительных средств: если бы удалось собрать 500 фунтов, это подняло бы доход Клэра до 60 фунтов в год и избавило его семью от нищеты. Последовало несколько пожертвований, из которых самым щедрым было от королевы-матери (20 фунтов), но общая сумма оказалась слишком мала для обозначенной цели; по-видимому, она вся ушла на оплату пребывания Клэра в лечебнице.

Тем временем Клэр все больше и больше тосковал по дому. Примечательны два письма 1841 года к Пэтти Клэр и Мэри Джойс, первое – отправленное, второе – оставшееся в форме черновика, две мольбы о помощи, путанных и противоречивых.

...Я Жму Руку Злосчастью И Обнимаюсь С Грозой Весна Улыбается И Я Должен Улыбаться Но Не прежде Чем Я Покину Это Место <...> Я Предпочту Сносить Невзгоды В Одиночку Чем Обременять Ими Других Я Вернусь В Нортборо Как Только Меня Сменят С Караула Эссекс Прекрасное Графство Но "Дома Лучше" Береги Детей И Пусть Они Водятся С Хорошими Товарищами Тогда Они Будут Не Только Здоровы Но И Счастливы Не Знаю Почему Меня Держат Здесь Я Вполне Здоров По Крайней Мере Уже Два Года Да И Никогда Не Был Слишком Болен Лишь Обременен Беспрестанными Заботами Но Меня Удерживают Здесь Год За Годом Должно Быть Я Обречен Такой Судьбе Лучше Бы Меня Бросили В Трюм Невольничьего Корабля И Отправили В Африку, –

пишет он Пэтти[1].

А черновик письма к Мэри Джойс начинается так:

Моя дорогая Жена Мэри

Я мог бы сказать моя первая жена и первая любовь и первое всё – но я никогда не забуду мою вторую жену и вторую любовь ибо когда-то я любил ее так же сильно как тебя – и до сих пор почти так же люблю – поэтому я решил вовек не покидать вас обеих – когда я пишу тебе я пишу и ей в то же самое время и в том же самом письме...

А заканчивается обещанием скорого свидания с обеими женами:

...поцелуй своих милых детей и передай им привет от их пропавшего отца а также детей Пэтти и скажи Пэтти что ее муж остался таким же, каким был в день свадьбы двадцать лет назад сердцем и душой – Благослови Бог вас обеих со всеми семействами будьте здоровы и счастливы потому что я скоро с помощью Божьей снова буду дома со всеми вами – моя любовь к тебе милая Мэри не изменилась а лишь возросла в разлуке...

Тем же летом 1841 года Клэр бежал из Хай-Бича.

1. В этом письме, как и в некоторых других текстах этого периода, Клэр пишет каждое слово с заглавной буквы.

XVI

Сперва он рассчитывал на цыган, которые обещали спрятать его в своем лагере и показать дорогу на север, в Нортгемптоншир, но цыгане неожиданно исчезли. Промаявшись ожиданием два дня, он решился обойтись без их помощи и выступил в путь самостоятельно. При нем не было ни гроша, ни еды в дорогу, лишь трубка, табак в кисете и надежда дойти. Он ночует где придется – на чужом сеновале, на голой земле, в канаве, мерзнет и дрогнет, четыре дня и три ночи обходится без куска хлеба, ест траву, жует табак, когда кончаются спички, сбивает ноги, выбивается из последних сил, но добирается до цели.

По пути он ведет краткие записи, по которым в первые дни своего возвращения составляет подробный отчет о побеге и о восьмидесятимильном походе через четыре графства. Он и здесь играет в мальчишечьи игры: то руководит сам собой как полководец, то как капитан, фиксирует в бортовом журнале новые острова и их обитателей.

20 июля Сегодня разведал дорогу указанную мне Цыганом и нашел ее пригодной для передвижения своей армии из одного человека вооружился мужеством и двинулся в поход мои верные войска последовали за мной однако из-за небрежно проложенного маршрута я пропустил дорогу ведущую в Энфилд и маршировал по большаку пока не поравнялся с трактиром "Пустые хлопоты" здесь мне повстречался только что вышедший из трактира знакомый подсказавший верное направление <...>

21 июля Когда я проснулся было уже светло и боясь как бы мой гарнизон не был взят внезапным штурмом и захвачен в плен я оставил свое пристанище возблагодарив Бога предоставившего его мне (ибо в голодный год что-то лучше чем ничего и любое место дающее отдых усталому путнику благо) и отправился по дороге на север искусно лавируя между полей и деревушек...

На четвертый день пути он наконец добрался до Питерборо, где встретил знакомых крестьян из Хелпстона, возвращающихся домой. Они дали ему несколько пенсов, на которые он перекусил в ближайшем трактире. Они же, по-видимому, сообщили Пэтти новость – она встретила его за четыре мили от Нортборо на телеге с лошадью.

Сначала он ее не узнал и даже отказывался сесть в телегу. По этому поводу биографы Клэра глубокомысленно замечают, что "отношения с самыми близкими родственниками бывают труднее всего для душевнобольных".

А может быть, дело обстоит проще и перед нами всего лишь поэтическая драматизация момента возвращения, сымпровизированная Клэром? Прошло столько лет, что Пенелопа не узнает Одиссея (или Одиссей Пенелопу).

XVII

И вот после восьмидесятимильного голодного похода Клэр снова дома, так сказать, в кругу семьи. Три дня он пишет свои дорожные записки,

ставит дату – 27 июля 1841 года – и в той же тетради начинает письмо к Мэри Джойс:

Моя дорогая Жена,

Я сочинил отчет о своем путешествии или точнее сказать бегстве из Эссекса ради того чтобы ты могла развлечься на досуге – Мне следовало раньше сообщить тебе что я еще в пятницу вечером вернулся в Нортборо но не видя тебя и ничего о тебе не слыша я скоро почувствовал себя бездомным в своем доме и безнадежно несчастным – хотя и не таким одиноким как в Эссексе потому что отсюда я все-таки вижу шпиль Глинтонской церкви и чувствую что моя Мэри близко... и хотя мой дом мне больше не дом но есть еще надежда пока память о Мэри живет рядом со мной...

Сохранился и черновик его письма к доктору Алену, в котором он объясняет свой побег:

...я могу быть более-менее счастлив в любых условиях и в любом месте хотя бы и в вашем доме возле леса если бы друзья порой вспоминали обо мне и навещали меня – но самое нестерпимое в таких местах как ваше это тупые служители и санитары которые порою так помыкали мною как будто я был их узником я смирялся с этим по своей нелюбви к ссорам но в конце концов слишком устал от всего и услышав голос свободы повиновался ему...

Кончилось лето и настала осень 1841 года – последняя осень Клэра на свободе. Наши сведения об этих месяцах довольно скудны. Мы знаем только, что Клэр работал над окончанием "Чайльд Гарольда" и, по-видимому, был весь углублен в стихи и чтение, в то время как за его спиной шли переговоры о его дальнейшей судьбе. Тейлор писал доктору Алену, что, по мнению доктора Дарлинга, Клэр мог бы оставаться дома. В ответном письме Ален сообщает, что Пэтти находит состояние мужа намного лучше и согласна оставить его на испытательный срок. Ален был готов, если Клэру станет хуже, снова принять его у себя в Хай-Биче.

Далее все неожиданно и необъяснимо катится под горку. В декабре 1841 года – неизвестно, по чьему вызову – в Нортборо прибывают двое местных врачей, Фенвик Скримшир из городской больницы Питерборо и Уильям Пейдж. Они составляют свидетельство о душевной болезни Клэра. В нем утверждалось, в частности, что болезнь носит наследственный характер (никаких подтверждений тому не найдено до сих пор!), что последнее "обострение" случилось четыре года назад, и особо подчеркивался факт его бегства из лечебницы доктора Алена. В то же время признавалось, что никакой агрессивности по отношению к окружающим или к себе Клэр не проявлял, что поведение его не обнаруживало "слабоумия, озлобления или неопрятности". На обязательный для таких свидетельств вопрос, "какие жестокие потрясения или длительные умственные напряжения" могли привести к умопомешательству, врачи ни словом не упомянули бедность, одиночество, обманутые надежды, острую душевную ранимость. Причиной болезни медики назвали "многолетнее пристрастие к стихописанию".

С таким веселым диагнозом Клэр был отправлен в Нортгемптонскую общую лечебницу для душевнобольных. 29 декабря 1841 года за

Клэром приехали санитары. На этот раз его волокли насильно, он громко протестовал и вырывался.

За пребывание в больнице (около десяти шиллингов в неделю — такса для неимущих) согласился платить местный землевладелец лорд Фицвильямс.

XVIII

Директором Нортгемптонской лечебницы в 1841—1854 годах был Томас Причард, человек по-своему передовых взглядов в психиатрии. Как и доктор Ален, он не применял примитивно-жестоких методов, чтобы укрощать своих больных. У него были свои подходы. Сей, по мнению некоторых современников, полубезумный эскулап настолько верил в превосходство своей воли над волей пациентов, что предпочитал воздействовать на них *месмерически*, даже на расстоянии. Те больные, которых он классифицировал как "неопасных", получали значительную свободу: они могли бродить без опеки в окрестностях больницы, а также ходить в Нортгемптон, до которого была всего миля пути.

Клэр сразу попал в "безвредные" и, несмотря на числящийся за ним побег, получил разрешение свободно гулять и ходить в город когда вздумается. Там, под каменным портиком церкви Всех Святых, он, бывало, проводил целые часы. Горожане любили его и нередко подносили стаканчик пива или пару унций табаку. По просьбе мецената, он мог расплатиться стихами, которые на ходу сочинял. По городу ходило множество его шутейных, питейных, галантных и сатирических экспромтов; все они со временем затерялись и пропали.

Доктор Причард полагал, что, несмотря на укрепившееся физическое здоровье, в умственном плане Клэр постепенно деградирует и его безусловно ждет полное слабоумие. Доктор Причард ошибался. Редкие посетители, видевшие Клэра в 1840-х и 1850-х годах, отмечают его здравые разговоры о литературе, удивительную память и живое воображение: он умел рассказать о казни Карла I, о Битве у пирамид или о смерти Нельсона так, как будто он сам был очевидцем этих событий.

При этом он мог в разговоре с тем же посетителем процитировать стихи Байрона или Шекспира (или любого другого поэта) как свои, а на недоуменный вопрос собеседника ответить: "Да-да, я именно он и есть; просто меня порой называют Шекспиром, порой Байроном, порой Клэром". Ваша воля принимать эти слова буквально; на мой взгляд, они не более безумны, чем многое другое, что говорят поэты или (например) во что верят последователи Будды.

Казалось бы, привычка писать легкие стихи для милосердных самаритян, угощавших его в трактире, а также для самаритянок, с которыми он входил в какие-то загадочные отношения (женские лица всегда волновали его, и Мэри Джойс, его "небесная" любовь, не была помехой для мадригалов земным красоткам), казалось бы, эта профанация своего поэтического дара должна была привести к его вырождению и угасанию. И однако именно тогда, в сумасшедшем доме, ему удалось выйти на новый уровень письма и создать несколько удивительных по своей пронзительности стихотворений. Так иногда бывает у поэтов, потерявших друзей, потерявших читателей (вспомним хотя бы Павла Вязем-

ского в старости), и, вне зависимости от обстоятельств, каждый раз – это пример верности музам и крепкой веры в поэтическое бессмертие.

Самое известное из этих поздних шедевров Клэра – стихотворение "Я есмь".

Я есмь – но что я есмь, не знаю; слово
Забыто, как я сам для всех забыт;
Я есмь самоуправец бестолковый
И самоед – ловец своих обид
В мучительных, туманных снах былого;
И все-таки я есмь, я жив – болит

Душа, но я живу – в забвенье, в горе,
В ничтожестве, часы и годы для
Под вечный шум немолкнущего моря, –
Как на песке руина корабля.
Я всем чужой (кому ж ярмо на шее
Захочется) – чем ближе, тем чужее.

Скорей бы мне уйти из сей пустыни
В тот край, где нет ни плача, ни тревог,
Чтоб с милым Богом пребывать отныне
И спать, как в детстве, – спать, не чуя ног,
На ласковом лугу, как на холстине:
Внизу – трава, вверху – лишь купол синий.

Клэру было суждено провести в Нортгемптонской больнице целых двадцать три года. Я думаю, с годами ему становилось все страшнее и тяжелее, но он не позволял себе показывать это, чтобы окончательно не сойти с ума. Время от времени он писал детям и в ответ получал короткие ничего не значащие записки с приветами от родных и знакомых. Почти в каждом из его писем, ровных и спокойных, найдется одна неловко торчащая, ни к селу ни к городу вставленная фраза: "в гостях хорошо, а дома лучше".

Лишь иногда в письмах к Пэтти слышится безнадежное: возьми меня из этого ада, из этой земли Содомской.

– это английская Бастилия правительственная тюрьма где невинные люди томятся и мучатся пока не умрут – Английское жречество и английское рабство более свирепо чем рабство Египетское и Африканское когда сын страны в свои мужественные годы заперт и лживым обманом разлучен с лучшими мыслями своего детства – не смея обнаружить свою память о доме и любовь к близким – пребывая в мире как в темнице в отлучении от всех своих друзей –

Я хочу, чтобы читатель на этом месте сделал вдох, чтобы читать дальше:

– и все-таки Правда лучший товарищ ибо она сносит все перегородки лжи и притворства – Правда входит ли она на Ринг или в Палаты Правосудия выдвигает простого Человека которого не испугать призраками громких слов полных ярости но ничего не значащих... – честный человек разоблачает мерзких

жрецов этих лжецов и подлых трусов позорящих Христианство – я ненавижу и презираю этих трусов – В Откровениях они припечатаны заглавными буквами как "Блудница Вавилонская и матерь Блудниц" не значит ли что это Жречество я думаю именно так – это вздорное ханжество должно исчезнуть – как и всякое другое – Я начал письмо а кончил проповедью – да и бумага кончается тоже...

Это не настоящее письмо, а лишь сохранившийся черновик; можно предположить, что гневные строки против английского Жречества не были отправлены Пэтти – в черновиках Клэр всегда давал волю тем чувствам, которые он предпочитал сдерживать на людях; и все-таки сила его негодования поражает – вспоминается Блейк с его ненавистью к Английской церкви, вспоминается saeva Indignatio из эпитафии Свифта[1].

В своей собственной эпитафии, написанной за десять лет до смерти, он просил написать лишь несколько полных смирения слов. Вот эта запись из Нортгемптонского дневника:

Я бы хотел лежать там, где Утреннее и Вечернее солнце могло бы подольше светить на мою Могилу. Пусть моим надгробьем будет грубый, неотесанный камень, вроде жернова, чтобы шаловливые мальчишки ненароком его не сломали, и пусть на нем будут только эти слова: "Здесь покоятся надежды и прах Джона Клэра". Не нужно никаких дат, ибо я хочу жить или умереть вместе со своими стихами и прочими писаниями, которые, если потомство найдет их достойными, заслужат сохранения, а если нет, то не заслужат.

1. "Hic depositum est Corpus IONATHAN SWIFT... Ubi saeva Indignatio Ulteris Cor lacerare nequit..." ("Здесь покоится тело Джонатана Свифта... Где яростное негодование уже не сможет терзать его сердце...") (*лат.*)

Поэт- крестьянин

Любил он в мае плеск ручьев,
И ласточек полет,
И выгон, пестрый от цветов,
И в тучах небосвод.

Когда он слышал грома гул,
То был Господень гром,
В вечерней мгле на берегу
Стоял Пророк с жезлом.

Любое в мире существо,
Букашка и паук,
Священным были для него
Твореньем Божьих рук.

От роду молчалив и тих,
Задумчив с детских лет,
Крестьянин в тяготах своих,
В мечтаниях — поэт.

Цыганская стоянка

Валится снег. Лес утонул в сугробах.
Мальчишка вышел хворосту набрать
И поскорей спешит в тепло обратно.

Иллюстрации из книги Джона Клэра "Пастуший календарь" (1827).

Цыган озябший дует в рукава,
Сворачивая в жалкий свой приют
Под дубом, занесенным снегопадом,
Но тем вернее прячущим от ветра.
Там на костре, на угольях горячих,
Вонючая баранина шипит;
Пес трется рядом, сам полуподжарен:
То молится, припав на все четыре,
То, отскочив, отчаянно скулит;
Но тщетно ждет, никто ему не кинет
Желанного куска... Вот так живет
Народ сей живописно-самобытный:
Невинный, вороватый, беззащитный.

Вечерняя звезда

О Геспер, гаснет небосвод,
Густеет сумрак быстро;
В тебе одном сейчас живет
Земной надежды искра.

О Геспер, на траву легло
Тумана полотенце,
Как будто млечное тепло,
Дыхание младенца.

О Геспер, ты своим лучом
Ласкаешь мир влюбленно;
Роса невидимым дождем
Кропит земное лоно.

О Геспер, отблеск твой дрожит,
Как влага на реснице,
И пилигриму говорит
О том, что все простится.

Сидел на иве ворон

Сидел на иве ворон
И перьями сверкал,
А пахарь шел за плугом
И громко распевал:
“Свежа, как розовый бутон,
Молочница моя,
Я по уши в нее влюблен,
А де́вица — в меня!”
Так пел крестьянин на ходу,
Ведя по пашне борозду.

“Не нужно мне палат златых,
Богатства в сундуках,
Люблю молочницу мою
С румянцем на щеках.
Когда она доить коров
Шагает по росе,
Она, как Феба, хороша
В простой своей красе!”
Так пахарь пел, и все вокруг
Звенело песней — лес и луг.

"Моя любовь резва, юна,
Жизнь за нее отдам,
В холщовом платьице она
Не хуже модных дам.
Нежна, как лилия в лугу,
Как в гнездышке птенец..."
Встряхнулся ворон на суку
И каркнул: — Молодец!
Так пахарь на ходу слагал
Свой деревенский мадригал.

Наш ворон тоже был влюблен,
И, чувствами объят,
Старался тоже сверху он
Прокаркать что-то в лад.
А пахарь шел и глотку драл
И нажимал на плуг,
И громким эхом отвечал
Ему весь мир вокруг:
"Люблю молочницу мою
И во всю мочь ее пою!"

Видение

Я к небесам утратил пыл,
От похотей земных устал,
Я сон прекрасный возлюбил —
И Ад против меня восстал.

Ценой утраченных отрад
Стяжал я вдохновенья дар
И, радости бессмертной бард,
Возжег в душе небесный жар.

Любимую я потерял,
В ней было все мое добро;
Но я у солнца луч украл
И превратил его в перо.

Я жизнь и славу пережил,
Преодолел земную глушь
И дух свой вольный приобщил
К бессмертному созвездью душ.

2 авг. 1844

Приглашение в вечность

Пойдешь ли, милая, со мной —
о девушка, пойдешь ли ты
в туман и холод ледяной,
в ущелья мглы и темноты —
туда, где не видать ни зги,
где в никуда ведут шаги
и ни звезды во мгле ночной, —
пойдешь ли, милая, со мной?

Где вал восстанет выше скал,
и в прах осядет горный кряж,
и превратится пик в провал,
и мир исчезнет, как мираж, —
не испугаешься ли тьмы,
где будем мы — уже не мы,
где нет ни рук, ни губ, ни глаз,
где братья не узнают нас?

Пойдешь ли, милая, со мной
в ту смерть, несходную с земной,
где станем вместе ты и я
жить без имен и бытия —
жить вечно — и ничем не быть,
лишь зыбкими тенями плыть
в пустой бездонности небес —
другим теням наперерез?

Готова ли ты жить, скажи,
в таком краю, где нет межи
меж настоящим и былым,
где мертвые равны живым?
Тогда ступай вослед за мной
глухой стезей в туман ночной.
Не бойся пугал тишины —
мы с вечностью обручены.

Роза Никому: *поэзия Пауля Целана*

Борис Дубин

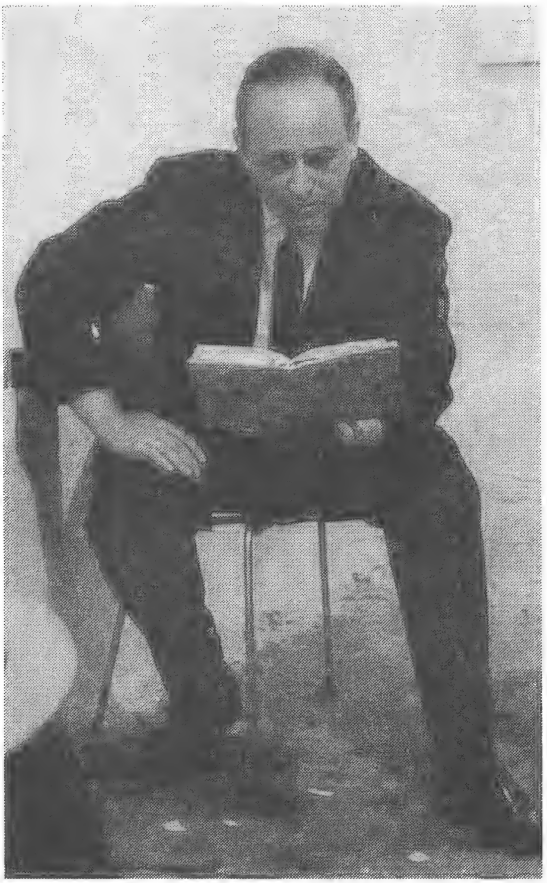
Встреча на берегу сердца

Обратившись не так давно к архивным дневникам, воспоминаниям, переписке русского образованного сообщества в первые два десятилетия XX века, отечественные историки с изумлением убедились, что средоточием литературы, главной фигурой, на которой сходились интересы и связи множества писателей, читателей, издателей, критиков, был, оказывается, никаких программ не возглашавший и никаких групп не возглавлявший... Александр Блок. С завершением двадцатого столетия становится очевидно, что центром европейской поэзии второй половины века был вроде бы маргинал по рождению, образу жизни, самоощущению, герметичный по поэтике Пауль Целан.

Пожалуй, никто иной не пережил и не передал ужас, боль, беду и надежду столетия с такой силой чувства и слова, проникновения и соучастия. Это, что называется, во-первых. И случилось так, вероятно, потому, что жизнь и поэзия Целана вобрали в себя человеческий опыт, исторический путь, языковой обиход едва ли не всех народов Европы, и это – во-вторых. О его поэтическом языке – а Целан его сознательно выбрал, поскольку в юности писал еще на румынском, украинском и русском, – Юлия Кристева писала, что он "процежен через румынский и еврейский, но еще и через английский, итальянский, греческий, латинский, французский" и что поэт его "под давлением ужаса доводит, перекручивает, стискивает уже до *совсем другого* немецкого". Словами, интонациями, духом еврейского и румынского, цыганского и украинского, чешского и венгерского, русского и французского, английского и испанского, итальянского и португальского языков живут собственные строки поэта, не с одного из них он помногу и со страстью переводил, да еще так, что переводы на немецкий отзывались в других литературах (так произошло с его переводами из Мандельштама, вызвавшими переводческий и исследовательский бум во Франции). Целан – уникальный по энергии и охвату объединитель национальных историй, собиратель и скрещиватель национальных наречий, его поэзия с самого начала многонациональна и многоязычна. Но, может быть, именно в силу подобных причин написанное Целаном, его взгляд на мир, его понимание поэзии, его поэтика – и это в-третьих – оказали такое влияние на национальные литературы нескольких континентов, что чтение стихов Целана, попытки их перевода и толкования становились на протяжении 1960–1990-х годов событиями для Франции и Польши, Италии и Великобритании, Испании и США, Португалии и Югославии, вехами их собственной культурной жизни. Народы Европы как бы читают себя, свою историю через поэзию Целана. Сегодня можно сказать, что на целановской лирике выросли уже несколько поколений читателей и не одна школа интерпретаторов во всем мире.

Стихи Целана, как мало какие еще, предназначены для того, чтобы их читали многократно и читали вместе; отсюда множество взаимодополнительных переводов едва ли не каждого его стихотворения на лю-

© Борис Дубин, 2005



Пауль Целан читает свои стихи в галерее Дороген Лёр во Франкфурте-на-Майне 18 июля 1964 г.

бом уважающем себя языке, отсюда практика их совместного интерпретаторского прочтения (материалы подобных коллективных и междисциплинарных предприятий изданы в Германии, Франции и других странах). А читать вместе — значит быть вместе благодаря слову поэта, акту поэтической речи, которая движется — тем и действует — у Целана так, что создает места и события нашей читательской, нашей человеческой общности — пространства близости друг другу и неотчужденности от смысла (со-мыслия). Пользуясь выражением самого Целана из его речи "Меридиан", "утопические" пространства неизгнанности, невыдворенности из общего мира. Целановская поэзия самым решительным образом изменяет способ *участия читателя* в поэтическом тексте и в акте поэзии — акте нашей человеческой встречи, условной (условленной между нами) транскрипцией которого выступает текст.

И происходит это потому, что в корне изменился и способ *участия поэта* в языковом событии — откуда теперь его право на речь, каким запасом оно обеспечено, как его "я" связано с другим "ты", с другими "мы"? Быть поэтом для Целана (а начало такой поэзии положили для него Бодлер и Рембо, у которых Поэт, процитирую перевод из Рембо, выполненный Геннадием Русаковым, и берет на себя "стенанья Прокаженных, проклятья Каторжан, Отверженных упрек") — значит быть на стороне притесненного, поруганного, искореняемого, вместе с тем всеми возможными силами противостоя этому истреблению; быть *на стороне*, быть *среди* и значит здесь сопротивляться. Таков целановский путь к тому, чтобы сделать невозможное — "стихи после Освенцима", по скептической реплике Теодора Адорно, — реальным. "Целан, — пишет итальянский поэт Андреа Дзанзотто, — делает реальностью то, что казалось невозможным: он не только пишет стихи *после* Освенцима, но и пишет их *по* его пеплу".

С другой стороны, личное для Целана — это отметил его друг и истолкователь, французский философ Эммануэль Левинас — и есть по-

эзия. Поэтому для него, как обмолвился он в одном из писем, нет особой разницы между стихотворением и рукопожатием. Но поэтому же самые незначительные, на первый и внешний взгляд, подробности пережитого и увиденного поэтом, сценки и вещи, имена и даты входят в целановские стихи, можно сказать, "напрямую", как сырые материалы и готовые предметы в новейшую живопись или окружающие звуки, шум машин или шелест дождя в новейшую музыку. Этим объясняется особое значение черновиков, документов, личной переписки, мемуаристики друзей и знакомых для понимания поэзии и поэтики Целана.

В последнее десятилетие поэзия и проза Целана все внимательнее читаются и в России (переводить его стихи у нас стали еще в середине шестидесятых, но для многих — и надолго — это была работа "в стол"). Накопился уже немалый запас русских переводов из Целана, к ним несколько раз обращалась "Иностранная литература", основательное издание избранной лирики, прозы и писем поэта, составленное Марком Белорусцем, находится сейчас в стадии подготовки. Весомым вкладом в эту общественно и культурно необходимую работу стал своего рода путеводитель по жизни и творчеству поэта — первый том подготовленного Ларисой Найдич сборника материалов, исследований, воспоминаний "Пауль Целан. Диалоги и переклички" (М.—Иерусалим: Мосты культуры / Гешарим, 2004); теперь сдан в производство второй том, "Комментарии и мемуары". Событием стала публикация одиннадцати стихотворений Целана в переводе Ольги Седаковой (в альманахе "Контекст-9", 1999, № 4), появились целановские переводы молодых поэтов Анны Глазовой, Михаила Гронаса. У Целана, называвшего себя "русским поэтом в землях немецких варваров", собственное отношение к России. Однако и у России перед ним — не только особые права, но немалый долг. И, хотелось бы надеяться, сугубая заинтересованность: поэт такого трагедийного накала и гуманистического звучания нужен в России и, рискну сказать, соразмерен пережитому здесь людьми за XX век.

Публикуемые ниже тексты Целана — часть большой, коллективной и, как уже говорилось, общемировой работы. Но, при ее впечатляющем объеме и немалых успехах, участников этого work in progress все-таки не оставляет странное ощущение задолженности; попробуем в нем немного разобраться. Что это — вина перед рано ушедшим, тем более по собственному решению? Да, несомненно, и это нелегкое чувство очень важно, но, кажется, не в нем одном тут дело. Каждый, кто терял близких, знает тот вневременной провал ошеломленности и безучастия разом, которые охватывают после их ухода. Раньше или позже шок закончится — сменится болью, заглушится хлопотами, зарастет воспоминаниями. Часы снова начнут тикать. Но это потом, и тогда мы, оглянувшись на прежний пробел, вслушавшись в тогдашнюю оглушенность, вдруг поймем (каждый — отдельно и всякий раз заново), что жизнь, достойная этого имени и наполненная чем-то общим, *не непрерывна*, что смысла в ней, конкретной, и смысла в мире вообще *может не быть*. А это значит, что смысл (еще раз напомню — со-мыслие) нужно ежесекундным усилием строить и общей волей удерживать, иначе его и вправду не станет. Такой творческой силой (Пастернак называл ее "усильем Воскресенья") был движим, по-моему, сам Целан — ею, мне кажется, по сей день живет его поэзия: "Скажи, что Иерусалим есть!"

Пауль Целан
Стихи

Переводы с немецкого

Из книги "Мак и память"

***

Так спи, мои глаза еще открыты.
Все чаши ливня, кажется, пусты.
Ночь сердце будет трогать, сердце — жито.
Но слишком поздно, жница, для косы.

Так снежно-бел ты, ветер небосвода!
Бело, что отнято, бело, что есть!
Ты знаешь счет часам, я знаю годы.
Мы пили ливень, ливень пили здесь.

Из книги "От порога к порогу"

Надгробье Франсуа

Обе двери мира
еще открыты:
ты их не закрыл за собой
в сумерках.
Мы слышим: они стучат и стучат
и впускают неведомое
и впускают Зеленое в твое
Навсегда.

Из книги "Решетки языка"

Сжатие (Стретта)

Доставлены в эту
местность
с несомненным следом:

© Deutsche Verlag-Anstalt GmBH, Stuttgart 1952, 1955; Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1959, 1963; Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1967, 1968, 1970
© Ольга Седакова. Перевод, 2005
© Марк Белорусец. Перевод, 2005

трава, раздельными буквами. Камни, белые,
с тенями стеблей:
Довольно читать — смотри!
Довольно смотреть — иди!

Иди, у твоей поры
не будет сестер, и ты —
ты дома. Не спеша, колесо
само из себя вращается, спицы
катят
катят по черноватому полю, ночи
не нужна никакая звезда, нигде
о тебе не спросят.

*

Нигде
о тебе не спросят —

Место, где лежали они, оно
как-то зовется — оно
не зовется никак. Они не лежали здесь. Нечто
между ними лежало. Они
не смотрели сквозь это.

Не смотрели, нет,
говорили о
словах. Ничто
не пробудилось, сон
нашел на них.

*

Нашел, нашел. Нигде
не спросят —

Я это, я,
я лежал между вами, я был
открыт, я был
слышим, я вам тикал навстречу, ваше дыханье
слушалось, я
все тот же еще, вы
ведь спите.

*

Я все тот же еще —

Годы.
Годы, годы, палец
шарит вверх, шарит вниз, шарит
вокруг:
швы, рубцы, на ощупь: вот здесь

оно широко разошлось, а здесь
снова сошлось, срослось — и кто
это прикрыл?

*

Прикрыл это
— кто?

Пришло, пришло.
Слово пришло, пришло,
пришло сквозь ночь,
хотело светить, хотело светить.

Пепел.
Пепел, пепел.
Ночь.
Ночь — и — ночь. Иди
к глазу, к мокрому.

*

Иди
к глазу,
к мокрому —

Бураны.
Бураны, с начала времен,
воронка частиц, а другое,
ты
ведь знаешь это, мы
в книге читали, было
не больше чем мненье.

Было, было
мнение. Как
мы друг за друга
хватались, за друга —
этими вот
руками?

Так оно и записано, это.
Где? Мы
все это накрыли молчаньем,
ядомлеком снотворным, огромным,
зе-
леным
молчанием, чашелистником, самая мысль
об этом повисла вокруг растительности —

зеленым, да,
повисла, да,
под безжалостным
небом.

Вокруг, да,
растительного.

Да.
Бураны, во-
ронки частиц, оставалось
время еще, оставалось
камнем еще попытать это — он
был согласен, он речи не
прерывал. Как тут
нам повезло:

зерноватый,
зерноватый и волокнистый. Стеблистый,
плотный;
кистевидный, лучистый; в почках,
гладкий и
комковатый; пористый, раз-
ветвленный; он не
прерывал этой речи, оно
говорило,
говорило охотно сухим глазам, пока их не закрыло.

Говорило.
Было, было.
Мы
не поддавались, стояли
в середине
пористого строенья, и
оно пришло, приблизилось.

Приблизилось к нам, пришло
сквозь нас, залатало
невидимо, залатало
до последней мембраны,
и
мир, мириадокристалл,
выпал, выпал.

*

Выпал, выпал.
Затем —

ночи, расслоившиеся. Круги,
синий или зеленый, в огне
квадраты: все свое
сокровенное мир предоставил
игре с этим новым
временем. — Круги,

красный или же черный, и про-
свечивающие квадраты, и ни одной
тени летящей,
ни одного из

мерных столов, ни одна
дымодуша не поднялась и к игре не примкнула.

*

Поднялась и
к игре не примкнула –

В час сумерек, возле
Окаменевшей проказы,
возле
наших отброшенных рук, в
последнем отказе,
над
стрельбищным рвом у
погребенной стены:

видимые, еще
раз, эти
борозды, эти

хоры когда-то, эти
псалмы. О, о-
санна.

Итак,
стоят еще храмы. У
звезды
света еще хватает.
Ничто,
ничто не пропало.

О-
санна.

В совином полете, здесь,
разговоры, цвета серого дня,
вод грунтовых следы.

*

(–Цвета серого дня,
вод
грунтовых следы

Доставлены в эту
местность
с не-
сомненным следом:
трава,
трава,
раздельными буквами.)

Из книги "Роза Никому"

Цюрих, "У аиста"

Нелли Закс

О слишком многом шла речь, о
слишком малом. О тебе
и еще-тебе, о
помраченье сквозь свет, о
еврейском, о
твоем Боге.

Об
этом.
В день вознесенья, ввиду
городского собора, который сорил
золотом по воде.

О твоем Боге шла речь, я говорил
против него, я
позволил сердцу, какое есть у меня,
надеяться:
на
его лучшее, разъяренное, на его
раздирающее слово —

глаз твой посмотрел на меня, в сторону,
рот твой
пробормотал глазам, я услышал:

Мы
ведь не знаем, ты знаешь,
мы
ведь не знаем,
как
быть.

Лед, Эдем

И есть страна Утрата,
там месяц в осоке стоит,
и все, что с нами замерзло,
сверкает и глядит.

Глядит, ведь оно с глазами,
и каждый глаз — земля.
Ночь, щелок, щелок, пламя.
Глядит оно, глаз дитя.

Глядит, глядит, мы смотрим,
ты видишь, я гляжу.
Воскреснет лед из мертвых
скорей, чем я доскажу.

Алхимия

Молчанье, как золото, сварено в
углях
ладоней.

Серый, огромный,
близкий, как все, что утрачено,
сестринский образ:

все имена, все эти с вами
сожженные
имена. Сколько
пепла чтоб благословлять его. Сколько
земли покоренной
над
легкими легкими
кольцами
душ.

Серый. Огромный. Без-
примесный.

Ты, тогда.
Ты, с поблекшим
бутоном закушенным.
Ты в винной струе.

(Не так ли? и нас
освободил этот час?
хорошо
хорошо, как минуло: умерло здесь твое слово)

Молчанье, как золото сварено, в
углях, углях
ладоней.
Пальцы, в дым ушедшие. Как венцы, ореолы
над –

Серый. Огромный. Без-
следный.
Цар-
ственный.

Это больше не

Это больше не
та
постепенно с тобой
часу на дно уходившая
тяжесть. Это
другая.

Это вес, приносящий назад пустоту,
спут-
ницу твою.
Он, как ты, безымянен. Быть может,
вы оба одно. Быть может,
и ты однажды меня назовешь
вот так.

Светлые камни

Светлые
камни проходят сквозь воздух, свет-
ло белые, све-
тоносцы.

Им нужно
не рушиться, не низвергаться,
не метить. Они
раскрываются,
как мелкий шиповник, вот так они распускаются,
так парят они
к тебе, моя тихая,
моя верная —:

я вижу тебя, ты их собираешь моими
нынешними, моими
чьими- угодно руками, ты ставишь их
в еще-раз-сиянье, какого никто
не обязан оплакивать, не должен именовать.

При свете дня

Заячьей шкурки небо. И снова
четко пишет крыло.

Ведь и я, ты помнишь,
цвета
пыли, я пришел
как журавль.

Из книги "Поворот дыхания"

Стоять в тени

Стоять в тени
шрама воздушной раны.

Ни – для – кого – ничего – не – ради – стоять.
Неузнанным,
ради тебя
одного.

Со всем, что сумеет вместить это
и без
слов.

Coagula

И твоя
рана, Роза.

И свет на рогах у твоих
румынских волов
вместо звезды над
сугробом, в го-
ворящей, крас-
нопепельномощной
колбе.

Странный гул: это

Странный гул: это
правда, сама,
в мир людей
вступила,
вовнутрь
вихря метафор.

Однажды

Однажды,
я слышал его:
он мыл этот мир,
невидимый, ночь напролет,
он самый.

Раз – и до – без – конца,
уничтожаем,
аим.

Свет был. Спасение.

Из книги "Нити солнца"

Ты был моя смерть

Ты был моя смерть:
тебя
я мог удержать,
когда все от меня отпало.

Ирландское

Дай мне право прохода
по зерноступеням в твой сон,
право прохода
по соннотропе,
право, чтобы срезал я дерн
на сердцесклоне
наутро.

Роса. И лежал я с тобой

Роса. И лежал я с тобой, ты, в отрепьях,
разжиженный месяц
ответами нас облеплял,

мы открошились с тобой друг от друга
и снова скрошились в одно:

Господь преломил хлеб,
хлеб преломил Его.

Силы, власти

За ними, в бамбуке:
Лающая проказа, оркестр.

Винсентов подарок,
ухо
дошло по адресу.

Из книги "Давление света"

Ночь оседлала его

Ночь оседлала его и скачет верхом, он в уме,
сиротское рубище – флаг,

больше не сбиться, не сбиться —
он к цели гоним

так это, так это, будто в волчцах апельсины,
будто на том, кто гоним и оседлан, уже ничего
кроме собственной
первой
в пятнах родимых, та-
инственномеченой
кожи.

Я еще вижу тебя

Я еще вижу тебя: отголосок,
уловимый лото-
словами,
на гребне
прощанья.

Лицо твое тихо робеет,
когда оно вдруг
лампообразно засветится
во мне, в этом месте,
где горше всего говорят: Никогда.

Ирландка

Ирландка, разлукой замаранная,
руку твою
читает
быстрей
быстроты.

Синь взгляда ее сквозь нее прорастает,
конец и победа
в одном:

ты,
пальцеокая
даль.

Перевод Ольги Седаковой

Из книги "От порога к порогу"

Поля

Всё один этот тополь
на окраине помысла,
всё один этот перст
на меже.

До него задолго
борозда медлит к вечеру.
Только облако,
оно даль бороздит.

Всё глаза,
всё эти глаза и ресницы
от света ты поднимаешь
опущенных их сестриц.
Всё глаза.

Всё глаза, их взглядом
заткан один этот тополь.

Из книги "Решетки языка"

Нет,
не голос, а
поздний шорох, дан, чужевременно,
твоим помыслам в дар,
наконец пробужденный сюда,
он – зародыш листа, сообразного оку,
сочится, глубоко процарапан,
живицей,
не рубцуясь.

Из книги "Роза-Никому"

***

Слово про-движение-вглубь,
что мы прочитали однажды.
Годы с тех пор и слова.
Мы еще как тогда.

И пространство это, знаешь, бесконечно,
и летать тебе, знаешь, не нужно,
и знаешь, в глазах твоих зримо
глубь нас углубляет[1].

1. В стихотворении – скрытая цитата из первой строфы стихотворения немецкого поэта-экспрессиониста Георга Гейма (1887–1912) "Твои ресницы длинные". Привожу подстрочник:

Твои ресницы длинные,
Твоих глаз темные воды,
Дай мне нырнуть в них,
Дай мне продвинуться в глубину.
(*Здесь и далее – прим. перев.*)

***

По обе руки там,
где звездами я обрастал, вдали
всех небес, вблизи
всех небес —
как бодрствуем здесь! Как
мир нам открывается, проникая
средь нас.

Ты,
где глаза твои, ты
вверху, ты
внизу, я выход
обнаружу.

О эта, подвижно полая,
принимающая середина, в разделенье
я выпадаю тебе, ты
мне выпадаешь, друг для друга
выпав, мы проглядываем
сквозь:

Одно,
что нас
потеряло.
Одно,
что нас
позабыло.
Одно,
что
нас...

...Ш*епот колодца*[1]

И молитва, и хула,
вы, молитвоострые ножи
моего
молчания.

1. Здесь название и некоторые образы отсылают к стихотворению "Кристалл" из сборника 1952 года "Мак и память":

Не у моих губ ищи твои уста,
не у ворот пришельца,
не в глазах слезу.

Семью ночами выше алого к алому путь,
семью сердцами глубже стук руки в ворота,
семью розами позже шепот колодца.

Вы со мною вместе
скрюченные все слова, вы,
мои слова прямые.

А ты:
ты, ты, ты
мое до-подлинной-муки-
подлинное Позже
этих роз:

О сколько, сколько
сторон света. Сколько
странствий.

Ты, клюка, ключица крыла. А мы...

Мы детскую ту песенку затянем,
слышишь, ту,
с челом вместе, вместе с веком, с человеком,
с зарослью и
двумя глазами вместе, начеку стоящими
слезою-и-
слезою.

Из книги "Нити солнц"

В шорохах, как наше начало,
там в провале,
где ты мне выпала,
я завожу ее снова,
шкатулку музыкальную — ту,
знаешь, что невидима,
что
неслышима.

Из книги "Давление света"

Как ты себя вымираешь во мне:

и лишь в последнем
истертом
узле дыхания
торчишь будто
осколком
жизнь.

***

Обморок листвою липы, тех он,
низвергнутых ввысь,
звенящий
псалом.

***

Будет что-то, после,
полнится тобой
и доходит
до губ.

Из сколков
расколотого бреда
я встаю
и вижу, как моя рука
этот один,
единственный
очерчивает круг.

Перевод Марка Белорусца

Письма Пауля Целана

Перевод с немецкого и французского Т. Баскаковой

Пауль Целан – Жизель Лестранж[1]

[Париж], понедельник [7.1.1952], десять часов

Майя, любовь моя, хочу тебе сказать, как я желаю, чтобы все это оставалось, чтобы *мы* оставалось, чтобы *мы* оставалось всегда.

Видишь ли, у меня впечатление, что, когда я иду к тебе, я покидаю какой-то мир, слышу, как двери хлопают за моей спиной, двери и двери — их ведь так много, дверей этого мира, состоящего из недоразумений, ложных очевидностей, издевок. Может быть, для меня остаются и еще какие-то двери, может, я еще не пересек все пространство, на которое наброшена эта сеть сбивающих с пути знаков, — но я иду, слышишь, я приближаюсь, ритм — я чувствую — ускоряется, обманки одна за другой гаснут, лживые рты, закрываясь, перестают пускать слюни — нет больше никаких слов, никаких шорохов, ничего, что бы сопровождало мои шаги —

Пауль и Жизель Целан в день свадьбы. Париж. 23 декабря 1952 г.

Я буду здесь, рядом с тобой, через мгновение, через одну секунду, с которой начнется настоящее время,

Пауль

Пауль Целан – Ханне и Герману Ленцам[2]

Воскресенье [Париж, 11.4.1954]

Дорогие мои, друзья мои!

Итак, я снова дома — вернее, не дома, а здесь, в Париже, просто здесь, здесь, где я теперь привык жить. В целости и сохранности прибыл я сюда: поговорка о

© Éditions du Seuil, 2001; Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1993, 2001, 2004, Friedenauer Presse Berlin, 2001
© Т. Баскакова. Перевод, 2005

1. Жизель Лестранж (1927–1991) — французская художница-график, в ноябре 1951 г. в Париже познакомилась с Паулем Целаном и в 1952 г. стала его женой. Стихотворные сборники Целана "Кристалл дыхания" (1965) и "Черный мыт" (1969) были проиллюстрированы Жизель Целан-Лестранж. Это письмо — первое из писем Целана к Жизель. Все они написаны по-французски. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2. Герман Ленц (1913–1998) — немецкий писатель, автор романов "Тихий дом" (1947), "Русская радуга" (1959) и др. Пауль Целан познакомился и подружился с ним и его женой Ханной Ленц (р. 1915) в 1954 г. во время своей первой поездки в Германию. Переписка Целана и Ленцев продолжалась с 1954-го до 1962 г.

последнем желании осужденного оправдала себя, оказала благотворное воздействие, и ничего дурного со мной не приключилось: Темное, Наитемнейшее (очень часто включающее в себя и то, что мы думаем) может быть "снято" только посредством Темного же, Темного в превосходной степени. Однако довольно об этом: вы меня понимаете, а потому ограничимся полунамеками.

Я много рассказывал о вас Жизель, моей жене, я думаю о вас и вашем доме, который раскрылся передо мной — гостеприимно, как ни один дом прежде. Еще только раз, один раз хочется мне повторить это раз и навсегда: со мной очень редко случалось, чтобы мои надежды оправдывались в такой мере, как это получилось, когда я гостил у вас. Я буду вам благодарен до конца жизни.

В спешке и из-за излишнего возбуждения я забыл подарить вам мои неопубликованные стихи; теперь им надлежит последовать за этими строками, точнее — надлежит их сопровождать.

Я все еще слегка опьянен, одурманен, отуманен всеми этими встречами и разговорами, а также словами, внушенными мне только что пережитым мгновением; еще не совсем остыл мой внутренний пыл, воспламенявший эти слова, а потому не решаюсь пока благодарить вас за тишину и безмолвие, которыми вы со мной поделились. Но опьянение скоро пройдет, я чувствую; так позвольте же мне и впредь делить с вами тишину и безмолвие, позвольте думать о вас, когда мои дни обезлюдеют!

Пауль

Пауль Целан – Герману Ленцу

Париж, 12 июля 1955 г.

Дорогой Герман,

прежде всего хочу сообщить тебе, с благодарностью за твои добрые слова: у нас теперь есть сын Эрик, родившийся 6 июня недоношенным. Мы только успели выехать в сельскую местность — Жизель после всех этих переменчивых, волнующих весенних недель нуждалась в длительном отдыхе, — только собрались было сменить свой парижский образ жизни на сельский бессобытийный, как наш сын, на целых два месяца раньше, чем было предусмотрено, вдруг начал заявлять о себе, сперва довольно невнятно, но вскоре весьма решительно и безо всякой оглядки на то, что доктору из соседнего местечка понадобится не меньше трех часов, чтобы добраться до его мамочки. Когда же доктор наконец объявился, было самое время отправляться в Париж, правда, осуществить это оказалось непросто, потому что сперва нам пришлось искать машину. Наконец машину нашли, и мы со всей скоростью, какая приличествует нашему столетию, помчались в Париж, куда, по счастью, успели как нельзя вовремя: четверть часа спустя разразилась сильная гроза.

Итак, наш сын родился без десяти одиннадцать при очень тревожных обстоятельствах и вовсе не тяжеловесом, но тем не менее с твердым намерением помериться силами с этим миром. Позволь мне теперь перескочить через наши начальные волнения и просто сказать, что за истекший период Эрик добился замечательных результатов и что в пятницу, то есть уже через три дня, мы будем иметь честь поселить его у се-

бя. У себя — в квартире матери Жизели, точнее, в двух комнатках этой квартиры на ул. Монтевидео, 29, Париж, 16-й округ. Как замечательно, что именно теперь вы оба собрались в Париж! До 7 августа мы планируем оставаться в городе, а потом опять отправимся "на природу", в Рошфор-ан-Ивлин, это на полпути между Парижем и Шартром. Я конечно приеду в Париж, как только узнаю, что вы уже здесь, но было бы очень неплохо, если бы и вы сумели нас навестить: дом, где мы намереваемся жить — он принадлежит матери Жизель, — когда-то был мельницей: мельничный ручей, или *Fluder*, все еще наличествует, а вот "скрип-скрип" мельничного колеса вам придется домысливать самим; дом расположен у проселочной дороги, ведущей через лес Рамбуйе, а по соседству в деревне имеется очень красивая романская церковь: для любителей старины — как раз то, что надо. И — last not least[1] — в этом доме будут обитать ваши неизменно думающие о вас (что подтверждается их леностью по части написания писем) друзья.

Дорогой Герман, публикации, запоздавшей публикации моей книги, предшествовала весьма неприятная переписка с издательством "ДЕФА", так что, когда наконец книга была готова, я почувствовал, что и сам "готов". (Письмо, которое я тебе тогда написал, по сей день лежит в ящике моего стола; я не отправил его единственно потому, что не хотел обременять тебя заботами, с которыми сам я умею справляться только одним способом — безропотно с ними смиряясь.)

Меня очень позабавил твой рассказ о том, как вы беседовали с Томасом Манном: в подобных ситуациях всегда нелишне вспомнить, что и у тебя есть собственный опыт общения с Румпельштильцхеном[2], причем приобретенный отнюдь не вчера.

Уже сейчас, имея в виду, что вскоре увижу вас, займусь раздобыванием проездных билетов и тому подобного, дабы ты потом мог с чистой совестью поведать высокочтимым господам в Бонне, как их великодушные дары помогают поэтам создавать остальное...[3]

Так что, приезжайте скорее, а пока примите
самые сердечные пожелания
от

вашего Пауля

Пауль Целан – Ханне и Герману Ленцам

Ул. Монтевидео, 29 bis,
Париж, 25 июля 1955 г.

Дорогая Ханна, дорогой Герман!

Позавчера, в субботу, во время нашей первой совместной с Эриком "вылазки", нам доставили ваш подарок, серебряный и круглый[4], с име-

1. Последнее по порядку, но не по значению (*англ.*).
2. Румпельштильцхен — гном, герой немецких сказок.
3. Намек на стихотворение Гёльдерлина "Воспоминание", которое заканчивается так:

...В море взоры
Устремите свои. Оно отнимает
И возвращает память, любовь дарует.
Все остальное создадут поэты.

Перевод Г. Ратгауза

4. Серебряный кувшин, см. дальше: Друзья Белого Кувшинчика.

нем Эрика в этом серебряном кругу; подарок, указующий дорогу туда, куда и мы сами со свойственным нам бесстрашием мысленно направляем нашего сына: к тому Сиянию, коим возвещает о себе Сокровенное, ибо оно знает, что служители Духа уже отправились в поход, чтобы его отыскать. Да, именно из-за таких или подобных воззрений мы столь обрадованы приходом Эрика в этот мир, и вот теперь являетесь вы, Друзья Белого Кувшинчика, дабы освещать ему путь Серебром, — так примите же нашу сердечную благодарность!

А еще я охотно узнал бы, когда вы намереваетесь посетить наши края; и прошу сообщить мне об этом безотлагательно!

Пока же от всего сердца желаю вам всяческого добра!

Ваш
Пауль

Пауль Целан – Нелли Закс[1]

[Без даты, предположительно 13.1.1958]

Дорогая, от всего сердца почитаемая мною Нелли Закс!

Позавчера, когда пришло Ваше письмо, я, будь на то моя воля, сразу же сел бы в поезд и помчался в Стокгольм, чтобы сказать Вам — но какими словами, каким молчанием? — что Вы не должны думать, будто слова, подобные Вашим, могут остаться неуслышанными.

Много сердечного пространства загромождено руинами, да, и все-таки традиция уединенных раздумий, о которой Вы говорите, она — благодаря тому, что существуют Ваши слова, — найдет для себя достойных продолжателей в разных местах, пусть даже и среди ночного запустения.

Фальшивые звезды летают над нами — это так; и все же частичка праха, которую Ваш голос напитал болью, показывает дорогу, уходящую в бесконечность.

Ваш
Пауль Целан

Пауль Целан – Нелли Закс

Париж, 30 мая 1958 г.

Дорогая, почитаемая мною Нелли Закс!

Я благодарю Вас, благодарю от всего сердца[2].

Столько вопросов, на которые невозможно найти ответы в эти мрачные дни. Это призрачное, немое Еще-не, и еще более призрачное, еще более немое Никогда-больше, и Уже-опять, а между ними — Непредсказуемое, уже завтра, уже сегодня.

Всегда
Ваш Пауль Целан

1. Нелли Закс (1891—1970) — поэтесса и переводчица, родилась в Германии, в 1940 г. эмигрировала в Швецию и до конца жизни жила в Стокгольме; лауреат Нобелевской премии по литературе 1966 г. Переписывалась с Паулем Целаном в 1954—1969 гг.
2. В письме от 27 мая 1958 г. Нелли Закс прислала Целану несколько своих стихотворений и попросила хотя бы в двух словах сообщить, как у него дела.

Наш трехлетний сынишка сейчас на улице сыплет птицам хлебные крошки: "Venez moineaux! Venez pigeons![1]"

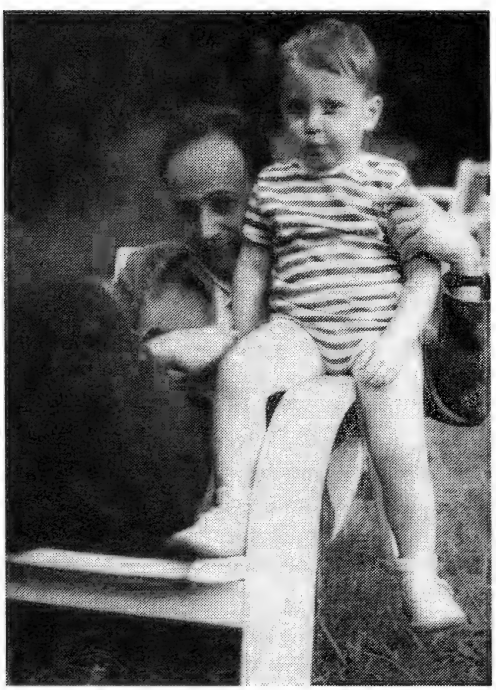
Пауль Целан – Хансу Бендеру[2]

[Париж, 18 мая 1960 г.]

Дорогой Ханс Бендер,

благодарю Вас за Ваше письмо от 15 мая и за любезное предложение принять участие в работе над Вашей антологией "Стихотворение — мой нож".

Я припоминаю, что в свое время уже говорил Вам: поэт с момента, когда его стихотворение реально присутствует *здесь*, оказывается вновь отпущенным из своего первичного со-знания того, как это стихотворение рождалось. Сегодня я, может быть, попытался бы сформулировать свое мнение иначе или более развернуто; но, по сути, я и сегодня придерживаюсь того же — старого — мнения. Конечно, есть еще и такая вещь, которую в наши дни слишком охотно и легковесно называют *ремеслом*. Но — позвольте мне обобщить здесь то, о чем я думал и что знаю по личному опыту, — владение ремеслом, как и честность вообще, является необходимой предпосылкой всякой поэзии. *Это* ремесло уж точно не имеет золотого дна — кто знает, имеет ли оно хоть какое-то. Оно имеет свои бездны и глубины — и кому-то (увы, я не принадлежу к их числу) даже удается найти для них имена.



Пауль Целан с сыном Эриком в Мулене. Август 1958 г.

Ремесленное изделие — нечто такое, что сделано человеческими руками. И эти руки могут принадлежать только *одному* человеку, то есть однократному и смертному одушевленному существу, которое — со своим голосом и своим молчанием — ищет для себя какой-то путь.

Только правдивые руки пишут правдивые стихи. Я не вижу принципиальной разницы между рукопожатием и стихотворением.

1. "Сюда, воробушки! Сюда, голуби!" (*франц.*)
2. Ханс Бендер (р. 1919) — немецкий литератор, издатель журналов "Акценты" и "Магнум", переписывался с Целаном в 1953–1965 гг. Целан написал это письмо в ответ на предложение Бендера принять участие в подготовке антологии "Стихотворение — мой нож" (Mein Gedicht ist mein Messer. — München, 1961) и позже разрешил опубликовать его — именно как письмо — во втором издании антологии.

И пусть нам не толкуют о "poiein"[1] и тому подобных вещах[2]. Это слово вместе с его "близями" и "далями"[3], вероятно, изначально имело несколько иное значение, нежели то, которое оно обрело в сегодняшнем контексте.

Да, конечно, существуют упражнения — в *духовном* смысле, дорогой Ханс Бендер! И наряду с ними существует на каждом поэтическом перекрестке топчущееся на месте экспериментирование с так называемым словесным материалом. Стихотворения — это еще и подарки, подарки внимательным. Судьбоносные подарки.

"Как делается стихотворение?"

Много лет назад мне пришлось сколько-то времени видеть с близкого расстояния — а потом я наблюдал то же самое, но уже с некоторой дистанции, — как "делание" стихов из умения делать дело превращается в "деловитость", то есть умение устраивать собственные дела. Да, бывает и *такое*. Вы, вероятно, знаете. И происходит это не случайно.

Мы живем под омраченными небесами, и сейчас не так уж много настоящих людей. Может, именно поэтому мало и настоящих стихотворений. Надежды, которые я все еще питаю, невелики: я лишь пытаюсь сохранить то, что у меня осталось.

Примите же мои наилучшие пожелания для Вас и Вашей работы.

Ваш
Пауль Целан

Париж, 18 мая 1960 г.

Пауль Целан – Нелли Закс

Париж, 28 июля 1960 г.

Дорогая, дорогая Нелли!

Тебе уже лучше – я знаю[4].

Я знаю это, потому что чувствую: то Зло, которое тебя преследует — которое преследует и меня, — опять убралось восвояси, вернулось в Несуществующее, где ему самое место; потому что я чувствую и знаю: оно никогда больше не вернется, оно развоплотилось, превратившись в маленькую кучку Ничто.

Так что теперь ты освободилась от него раз и навсегда. И — если позволишь мне такую мысль — я тоже вместе с тобой, мы все вместе с тобой.

Я тебе посылаю еще кое-что, помогающее против мелких сомнений, которые иногда возникают у каждого из нас; это кусочек платановой коры. Нужно зажать его между большим и указательным пальцами,

1. Производить (*древнегреч.*).
2. Пауль Целан имеет в виду доклад М. Хайдеггера "Вопрос о технике" (1953; первая публикация — 1954 г.). В статье Хайдеггер цитирует слова Платона о poiesis, "произведении", и комментирует их: "Про-изведение — не только ремесленное изготовление, не только художественно-поэтическое выведение к явленности и изображенности. <...> Благодаря этому событию как выросшее по природе, так и изготовленное руками ремесленника и художника выступает, каждый раз по-своему, в своей явленности. <...> Произведение выводит из потаенности в открытость. <...> У греков есть для этого слово αλήθεια. Римляне переводят его через veritas. Мы говорим "истина", понимая ее обычно как правильность представления" (в кн.: Мартин Хайдеггер. Время и бытие / Перев. В. В. Бибихина. — М., 1993, с. 224.)
3. О понятиях "дали" и "близи" (в эпоху античности и в Новое время) идет речь в докладе М. Хайдеггера "Вещь" (1950; опубликован в 1954 г.). См. там же, с. 316.
4. В июле 1960 г. Нелли Закс переживала тяжелый психический кризис.

крепко держать и думать о чем-нибудь хорошем. Но — не могу этого от тебя скрыть — *стихи*, особенно твои, *еще* более действенны, чем платановая кора. Поэтому, пожалуйста, продолжай их писать. И пусть они попадают в наши руки. Ты ведь понимаешь, как сильно мы — и не только одни мы — нуждаемся в таком средстве.

Если же вдруг у тебя возникнет желание, чтобы я приехал в Стокгольм и доучил парочку шведских диалектов, пожалуйста, так прямо и скажи. Но я вполне могу себе представить, что приеду не только ради них.

От всего сердца

твой Пауль

Эрик посылает тебе сделанный им самим витраж — из *настоящего* стекла!

Пауль Целан – Альфреду Маргул-Шперберу[1]

Пауль Целан
Эколь нормаль
45, rue d'Ulm[2],
Париж, 5-й округ

30 июля 1960 г.

Дорогой Альфред Маргул-Шпербер!

Я обращаюсь к Вам с настоятельной и сердечной просьбой.

Вы конечно знаете о происках неонацизма в Федеративной Республике. Так вот, в очевидной взаимосвязи с этими происками уже давно предпринимается попытка уничтожить меня и мои стихи. Чтобы добиться этой цели, меня обвиняют в обмане, в присвоении чужого наследия, в плагиате. (Я не преувеличиваю!)

Зачинательница всех этих козней... вдова Ивана Голля[3].

Сперва о "предыстории": я впервые посетил Голлей поздней осенью 1949 г., чтобы передать им весточку от Вас[4]. Воспользовавшись случаем, я тогда подарил им один из не попавших под нож[5] экземпляров моего венского поэтического сборника "Песок из урн" (издательство А. Зексля, Вена, 1948). На Голля моя книжка произвела сильное впечатление. Вплоть до его смерти в марте 1950 г. я часто навещал его и иногда показывал или читал ему и его жене свои опубликованные только в журналах или — что было очень неосмотрительно — неопубликованные стихи. То обстоятельство, что Голль, который уже много лет не писал по-немецки, тогда, незадолго до смерти, вновь обратился к немецкому

1. Альфред Маргул-Шпербер (1898—1967) — румынский поэт и переводчик, писавший на немецком языке; автор стихотворных сборников "Параболы ландшафта" (1934), "Звездные часы любви" (1963) и др. Он познакомился с Паулем Целаном в Бухаресте в 1945 г., в тот период покровительствовал молодому поэту, а потом переписывался с Целаном в 1948-м и 1962—1966 гг.
2. Ул. Ульм (*франц.*).
3. Иван Голль (наст. имя Исаак Ланг, 1891—1950) — еврейский поэт-авангардист, писавший по-немецки и по-французски, родился в Германии, до прихода к власти нацистов жил то в Германии, то во Франции, с 1939-го по 1947 г. — в США, а позже — во Франции.
4. Альфред Маргул-Шпербер подружился с Иваном Голлем и его женой поэтессой Клэр Штудер-Голль во время своего пребывания в Париже в 1920—1921 гг.
5. Тираж первого поэтического сборника Целана, содержавший большое количество опечаток, был по требованию автора изъят из продажи и уничтожен.

языку, не в последнюю очередь объясняется — только, пожалуйста, не сочтите это за самодовольство! — его знакомством со мной и моими стихотворениями. Голль также попросил меня перевести его французские стихи; я ему пообещал. Я, хотя меня уже тогда кое-что настораживало, выполнил это данное умирающему обещание и перевел одну за другой три его французские книжки. Пока я переводил, вдова находила мои переводы замечательными; но у нее — о чем я, легковерный и доверчивый, к сожалению, не догадывался — были на их счет особые планы. Когда все было готово, она убедила швейцарского издателя, которому сама передала мою рукопись, отвергнуть ее — на том основании, что в переводе якобы слишком отчетливо проявился *мой* почерк. Я тогда потребовал, чтобы издатель вернул мне рукопись; он написал, что передал ее вдове; вдова же, в свою очередь, написала мне, что сперва должна снять с нее копию. После чего, уже имея эту копию, сама взялась за перевод...

Но одной этой кражей она не удовлетворилась. Вдова начала издавать "наследие" покойного поэта. В 1951 г. вышел первый немецкоязычный том этого "наследия" ("Сонная трава"). Что автор или авторы этой публикации очень детально ознакомились с моим — из-за многочисленных опечаток сразу же после издания отправленным под нож — венским поэтическим сборником, очевидно. Упомянутая книжка Голля — я должен это подчеркнуть как обстоятельство, важное для понимания дальнейшего, — особенного отклика не нашла.

В 1952 г. вышел мой сборник "Мак и память", который, как Вы знаете, по большей части представляет собой переиздание венского цикла. Эта публикация была встречена очень доброжелательно.

И тогда вдове пришло в голову еще кое-что: с помощью одного — найденного ею в Америке — гангстера-германиста она принялась рассылать открытые и частные письма издателям, литераторам, ведущим литературных радиопрограмм и пр., пытаясь убедить их в том, что моя опубликованная в 1952 г. — то есть через год после "Сонной травы" — книжка якобы является плагиатом с "вверенного" ей наследия Голля. Для подкрепления этого тезиса, "профессионально" подтвержденного упомянутым "преподавателем немецкого языка", которого вдова быстренько облекла званием "ординарного профессора Калифорнийского университета", на меня — а почему бы и нет? — вдобавок навесили ярлыки обманщика, посягателя на чужое наследие и шарлатана. (Буквально так, дорогой Альфред Маргул-Шпербер!)

Эта "деятельность", которая началась в 1953 г., в самое последнее время, в обстановке возрождающегося гитлеризма, стала приносить новые и характерные плоды. К моим, то есть "шарлатанским", "методам", как Вы уже поняли, направленным на то, чтобы сбивать с толку *порядочных* людей в Германии, якобы относится — Вы только вдумайтесь, дорогой Альфред Маргул-Шпербер! — и такой: я умею очень трогательно излагать *легенду* о моих убитых нацистами родителях...

После всего сказанного Вас, конечно, не удивит, что всевозможные нацисты и "ненацисты" тотчас же почувствовали себя обязанными вмешаться в эту историю и начали ее обсуждать и описывать. И, дорогой Альфред Маргул-Шпербер, до сего времени не нашлось никого, кто возмутился бы и выразил свое возмущение хоть одним внятным словом...

Что до меня, то я не собираюсь доставлять дополнительное удовольствие этим клеветникам, вступая с ними в полемику: с выкормышами Геббельса — еврейскими или арийскими — я дела не имею.

А теперь моя просьба: я намереваюсь издать полное собрание своих стихотворений, в том числе ранних и самых ранних, с указанием точных дат; нет ли у Вас возможности как-нибудь переслать мне или моему издателю С. Фишеру *копии* моих стихотворений, находящихся у Вас, у Рут и Корины[1]? Я бы хотел также получить копии моих переводов стихотворений Тудора Аргези[2] и Сергея Есенина. (Я как раз подготавливаю на основе нового ленинградского издания выборку стихотворений Есенина; Аргези я бы тоже при случае охотно опубликовал.)

Ах, знаете ли... Я часто спрашиваю себя, не лучше ли мне было бы остаться среди буков моего отечества...

Я очень надеюсь, что у Вас все хорошо!

С сердечными пожеланиями Вам и Вашей милой супруге,

Ваш
Пауль Целан

Пауль Целан – Нелли Закс

Париж, 9 августа 1960 г.

Нелли, дорогая, ты беспокоишься, ты спрашиваешь, как у нас дела — у нас все хорошо, Нелли, действительно хорошо. Пусть и у тебя все будет хорошо, Нелли, прошу тебя!

Вокруг нас так много дружеских сердец и рук, Нелли! Посмотри, прошу тебя, как они близко, как их много!

Да, вот и опять посветлело — та сеть, темная, исчезла; не правда ли, Нелли, ты это теперь видишь, ты видишь, что ты на свободе, на свету, с нами, среди друзей?

Да, ты это видишь, Нелли, как и я, как и мы все: мы теперь можем беспрепятственно дышать и существовать — ты, и мы, и друзья вокруг нас, которых так много.

И еще я вижу слова, ждущие тебя, Нелли, те слова, которые ты одушевишь собою и своими новыми прозрениями — на радость всем нам.

Неизменно твой Пауль

Пауль Целан – Рене Шару[3] (письмо осталось неотправленным)

78, ул. Лоншан,
Париж, 22 марта 1962 г.

Дорогой Рене Шар,

спасибо за Ваше письмо — такое правдивое. Спасибо, что пожали мне руку — я пожимаю Вашу.

1. Рут Крафт и Корина Марковичи — подруги Пауля Целана в бухарестский период его жизни.
2. Тудор Аргези (наст. имя Йон Теодореску, 1880–1967) — румынский поэт, автор стихотворных сборников "Цветы плесени" (1931), "Весенние медальоны" (1936), "Семь песен с закрытым ртом" (1939) и др.
3. Рене Шар (1907–1988) — французский поэт, участник Сопротивления; он часто встречался с Целаном в 1954–1959 гг., Целан переводил его стихи. Их переписка продолжалась с 1954-го по 1966 г. Этот черновик письма написан по-французски.

То, что сейчас со мной происходит, — простите, я вновь к этому возвращаюсь, — поверьте, есть нечто совершенно уникальное в своем роде. Поэзия, и Вы хорошо это знаете, не может существовать без поэта, без его личности — без личности как таковой, — но, видите ли, эта шваль, шваль правая и шваль "левая", сумела объединиться, чтобы меня уничтожить*. Я больше не могу публиковаться — меня изолировали, и это тоже. Вы — когда-то Вы были изгнанником в этой стране, но ведь Вам остается Ваша истинная страна; что до меня, то меня сперва попытались сделать не тем, кто я есть, а потом стали с удовольствием побивать... обломками моего же "я". Я Вас не удивлю, сказав, что первыми, кто "нашел" такой способ обращения со мною, были псевдопоэты. И ведь таких много среди наших с Вами общих "друзей", Рене Шар. Очень много. Не верьте, Рене Шар, тем, кто обезьянничает, пытаясь Вам подражать. (Я знаю, о чем говорю, — увы.) Будучи ничтожествами, они рассматривают Вас как кладезь образов, комбинируя которые можно добиться мнимого сходства с оригиналом; но на самом деле они не *отражают* Вас; они Вас замутняют.

А я, видите ли, всегда пытался *понять* Вас, ответить вам, пожать ваше слово, как пожимают руку; и, разумеется, именно *моя* рука пожимала *Вашу*, когда была уверена, что встретит ответное движение. На то, что в Ваших произведениях не открывалось — или пока еще не открывалось — для моего понимания, я отвечал уважением и вниманием: нельзя же всегда делать вид, будто ты понимаешь все целиком и полностью; это было бы неуважением к Неизвестному, которое обитает — или устраивает себе обиталище — в поэте; это значило бы забыть, что поэзия сама собой дышит; забыть, что поэзия дышит Вами. (Но это дыхание, этот ритм — откуда он к нам приходит?) Мысль неизреченная — еще есть слово — организует это дыхание; будучи *критической*, она спрессовывается в интервалах: она раз-личает, она не судит; она решается; она делает выбор; она остается верной своей симпатии, она *вообще* повинуется симпатии.

Но позвольте мне вернуться к тому, с чего я начал: Вы говорите, что сумели создать вокруг себя пустоту, куда устремляются и где губят друг друга Ваши враги, — мне радостно видеть Вас таким сильным, так хорошо защищенным. Что же до моей пустоты, то есть до пустоты, которую сумели создать вокруг меня другие, то я вижу... как она порождает целую расу тварей, которых я даже не в состоянии назвать по имени. И эти твари, как я замечаю, весьма плодовиты; они умножаются и умножаются; ибо Ложь, она умеет себя воспроизводить — благодаря "нимфеткам" или, если угодно, благодаря своей способности размножаться делением.

Скитания, изгнанничество Правдивых Человеческих существ...

(Я понял, что Вы ссылаетесь на Сен-Жон Перса[1] [*вымаранное слово*] и его "двуязычного поэта": Вы уверены, что даже здесь можете найти аргумент, оправдывающий их подлое двурушничество...)

Ах, этот *снежный покров*, о котором Вы мне толкуете! Довольно долго он у меня был! Но потом я превратил его в скатерть, которую моя жена постелила на наш обеденный стол — приятно круглый, — чтобы принимать в качестве гостей за этим столом... столько оживших сгустков грязи!

1. Сен-Жон Перс (наст. имя Алекси Сен-Леже Леже, 1887–1975) — французский поэт и дипломат, с 1940 г. живший в США, лауреат Нобелевской премии по литературе 1960 г.; автор книг "Анабасис" (1924), "Изгнание" (1942), "Ветры" (1946) и др. В книге "Ветры" Сен-Жон Перс писал, что поэт исполняет на земле посредническую миссию, "проясняя послания" высших сил, пытаясь разгадать "утраченный шифр".

Мы иногда вспоминаем, Рене Шар, как Вы в первый раз к нам пришли, вспоминаем и ваше Слово, вписанное в Вашу книгу. Травы всегда выпрямляются. Сердце Победительницы Второй Олимпиады неизменно с ними, как и ее лук.

Пауль Целан

* И они славно поработали {как саперы}, чтобы подвести подкоп под нашу с Вами дружбу... Они были хорошо натренированными...

Пауль Целан – Эриху Айнгорну[1]

78, ул. Лоншан, 16-й округ;
24 апреля 1962 г.

Дорогой мой Эрих,

от Густава Хомеда[2] я пару дней назад получил твой адрес — ты даже не представляешь, что для меня означает возможность тебе писать! С чего мне начать? Прошло ведь так много лет — так много лет, и дней, и часов. Но, может, чтобы выразить столь многое, хватит немногих слов: все близко и незабываемо; и, хотя я вот уже четырнадцать лет — а точнее с июля 1948-го — живу в Париже, мысли мои часто возвращаются к дому и к старым друзьям.

О тебе я мало что знаю: слышал, что ты женился, что мама твоя сейчас живет с тобой, что ты работаешь редактором в каком-то журнале. Я тоже женился, моя жена — француженка, у нас есть сын, *Эрик*, в июне ему исполнится семь лет. Вот уже три года преподаю немецкий язык в Эколь нормаль и до сих пор продолжаю писательствовать. Опубликовал несколько поэтических сборников, а год назад — еще и томик избранных стихов Есенина. (Первые мои сборники[3] вышли в "Немецком издательстве" в Штутгарте, переводы с русского[4] — у С. Фишера, где был издан и мой последний сборник[5], а два перевода с французского[6] — в издательстве "Инзель".)

Прости, что заговорил об этом, — так получилось прежде всего потому, что мне хотелось бы все это тебе подарить. В литературном справочнике Германской Демократической Республики (Веймар, 1961) ты легко найдешь такого рода сведения. (Там упомянут и мой перевод "Двенадцати".)

1. Эрих Айнгорн (1920–1974) — друг детства Пауля Целана, знавший его в Черновцах; в 1941 г. эмигрировал в Советский Союз, был военным переводчиком, потом жил в Москве, преподавал румынский и итальянский языки, переводил стихи. В 1944 г., уже после того, как Черновцы были вторично заняты советскими войсками и вошли в состав Советского Союза, Пауль Целан, который тогда работал ассистентом врача в психиатрической клинике, ненадолго приехал в командировку в Киев и написал ему письмо. Их переписка, на этом прервавшаяся, возобновилась в 1962 г. и продолжалась до 1967 г.
2. Густав Хомед (р. 1920) — одноклассник и один из ближайших друзей Пауля Целана, с которым Целан переписывался до самой смерти. До начала 70-х гг. жил в Черновцах, потом эмигрировал в Израиль.
3. "Мак и память" (1952) и "От порога к порогу" (1955).
4. "Двенадцать" Александра Блока (1958) и "Стихотворения" Осипа Мандельштама (1959).
5. "Решетки языка" (1959).
6. "Пьяный корабль" А. Рембо (1959) и "Юная парка" П. Валери (1960).

Все русское года два назад вдруг сделалось для меня очень близким — тогда я читал главным образом русскую поэзию, в том числе чудесный перевод Данте Михаила Лозинского и великолепные переводы шекспировских сонетов, выполненные Самуилом Маршаком. Была ли у тебя возможность лично познакомиться с русскими поэтами? (Одной из моих работ, которая как никакая другая пришлась мне *по сердцу*, был перевод стихотворений Осипа Мандельштама, книжка вышла в 1959 г., как раз после публикации в "Новом мире" воспоминаний Ильи Эренбурга, и я послал ее Эренбургу через редакцию журнала; дорогой Эрик, не мог бы ты разыскать Э. и спросить у него, получил ли он мою бандероль? Кстати, правда ли, что вдова поэта живет недалеко от Москвы?)

Прости, что я так много говорю о себе; самое мое сокровенное желание — когда-нибудь по пути домой заехать в Россию и вновь увидеть тебя, и Густава, и Таню[1].

Как сухо это звучит! Если позволишь, в следующий раз я расскажу тебе больше, среди прочего и о жизненном опыте, приобретенном мною на этом якобы "золотом" Западе, об опыте моих контактов с Западной Германией. Это будет длинная, совершенно невероятная, горько-правдивая история.

Тебе и твоим желаю всего-всего хорошего!

Всем сердцем
твой Пауль

Пауль Целан – Петре Соломону[2]

25.4.1962

Дорогой Петрике,

благодарю за письмо. Что тебе сказать? Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что все, о чем я говорю, если воспринимать это издали, должно казаться невероятным. Сознаю я и то, что, когда, увлекаемый собственной яростью, так неудержимо и бессвязно обрушиваю на тебя отдельные имена и факты, я только еще больше способствую тому, чтобы они казались тебе нереальными и невероятными. Но, увы, факты остаются фактами, а мое положение — таким, каким я его тебе описал; я же могу только просить тебя верить мнѐ, продолжать вопреки всему и впредь оказывать мне доверие. Что касается тона моего разговора с тобой, то его можно назвать каким угодно, но не равнодушным: не забывай, мне приходится жить с этим каждодневно.

Я, Петрике, *готов отвечать* за *каждое* свое слово и надеюсь, когда-нибудь мне представится случай черным по белому доказать тебе, что я ничего не придумал. (Все это действительно и самым убедительным образом перехлестывает границы моего "персонального дела".)

Я хотел бы ясно обозначить в этой связи еще одно: мне *хватает сил*, чтобы сопротивляться нацизму, где бы он ни заявлял о себе. Всегда. Но

1. Имеются в виду Густав Хомед и Таня Адлер, дружившая с Целаном в Черновцах. Во время войны Таня уехала в Россию, вышла замуж, потом с сыном вернулась в Черновцы и в 70-е гг. эмигрировала в Израиль. Умерла в 1994 г.
2. Петре Соломон (1923–1991) – румынский поэт и переводчик; подружился с Паулем Целаном в Бухаресте в 1946 г. и переписывался с ним в 1948–1970 гг. Это письмо написано по-французски.

неонацизм — очень сложный феномен: он выдает себя, среди прочего, и за своего рода нонконформизм. В Федеративной Республике национализм — со всеми старыми, приспособившимися к текущему моменту мифами — ныне переживает ренессанс. Травестия царит повсюду — и в литературе, и в других сферах. Пробил час извращений, час очень немецких и очень западноевропейских "мужских союзов", час проекций в будущее и ретроспективных поисков алиби. Час *всяческих* двусмысленностей, *всяческих подозрительных совпадений*, час всякого рода "эрзацев"... Прошлое ныне заново переоценивается — в расчете на какое будущее?! Впрочем, мои рассуждения представляются тебе чересчур абстрактными, я понимаю.

Я тебе посылаю мою книжечку избранных стихотворений Есенина; ты там найдешь среди прочего и "Балладу о двадцати шести".

Жму твою руку,

Пауль

Пауль Целан – Эриху Айнгорну

Moisville par Nonancourt (Eure)[1], 10 августа 1962 г.

Дорогой Эрих,

надеюсь, мои книжки добрались до тебя. Выполняя твое желание, я послал тебе все вплоть до перевода "Двенадцати" Александра Блока, поэмы, ни одного экземпляра которой у меня уже не было. (Но ты говоришь, они есть в московских библиотеках — что меня особенно радует.)

Кое-что из того, что я тебе послал, моя дармштадтская речь[2], например, определенно не будет соответствовать твоему вкусу и твоим взглядам, я приложил ее только потому, что она со всеми ее безответными вопросами показывает, каким одиноким может быть человек в капиталистическом обществе. Ты прав, когда говоришь: в Западной Германии мне не простили того, что я написал стихотворение о немецком лагере уничтожения — "Фугу смерти". Чего стоило мне это стихотворение — и другие подобные, — в двух словах не расскажешь. Литературные премии, которые мне вручались[3], не должны сбивать тебя с толку: они в конечном счете служат лишь оправданием для тех, кто, обеспечив себе такого рода алиби, другими осовремененными средствами продолжают делать то, что начали еще при Гитлере.

В моем последнем сборнике ("Решетки языка") ты найдешь одно стихотворение, "Стретту", в котором идет речь об опустошениях, вызванных атомной бомбой. Там в ключевом месте перефразируется изречение Демокрита: "Нет ничего, кроме атомов и пустого пространства, все остальное — лишь мнения". Мне не нужно объяснять тебе, что стихотворение написано как раз ради этих мнений — ради *людей*, то есть против всяческой пустоты и атомизации.

1. В местечке Муавиль под Нонанкуром (департамент Эр), примерно в сотне километров от Парижа, Жизель и Пауль Целан в 1962 г. купили себе небольшой загородный дом.
2. Речь "Меридиан", произнесенная Паулем Целаном 22 октября 1960 г. по случаю вручения ему литературной премии им. Георга Бюхнера, в которой Целан изложил основные принципы своей поэтики.
3. Кроме премии им. Георга Бюхнера Пауль Целан получил в 1958 г. литературную премию Вольного ганзейского города Бремена.

Излишне говорить, как бы меня порадовало, если бы ты захотел перевести какие-нибудь мои стихи.

Как дела у твоей матушки? А у жены и у маленькой Марины? И где вы проводите отпуск?

Мы будем до середины сентября в Нормандии. И надеемся, что следующие летние каникулы сможем провести в Советском Союзе.

Пластинки, которые ты мне послал, очень хороши. Скажи, пожалуйста, Самуилу Маршаку, что я преклоняюсь перед его работой.

Мы вас приветствуем от всего сердца!

Пауль

Если ты, как ты предложил, время от времени будешь обращать мое внимание на публикации молодых советских поэтов, я буду очень признателен. И, пожалуйста, говори мне, где в своих переводах я что-то не так понял.

Пауль Целан – Альфреду Маргул-Шперберу

12.09.1962

Дорогой мой Альфред Шпербер,

у Вас скоро день рождения — позвольте же мне от всего сердца пожелать Вам всего самого доброго! Вам, Вашей супруге, Вашему дому, Вашей работе, Вашему неутомимому сердцу!

О себе — и на сей раз — я мог бы много чего рассказать, но ограничусь сообщением, что я дал согласие на публикацию в издательстве "Фишер" маленького сборника моих стихов, в котором... имеются "мелкие" недостатки. Но *одно* в этом (школьном) издании побуждает меня примириться со всеми его просчетами: книжка открывается стихотворением[1], которое много лет назад было посвящено Вам. Таким образом, имя Ваше стоит на том месте, где оно и стояло всегда — в самом начале, там, где открылся для меня путь, по которому я потом шел, шел со словами, словами нашего языка, Вашего и моего. Вы всегда оставались для меня образцом, дорогой Альфред Шпербер, я никогда не забывал, сколь многим Вам обязан, и — если мне позволительно сказать и *такое*, — следуя Вашему примеру, я всегда передавал дальше и раздаривал то, что как бы само давалось мне в руки — из прожитого и прочитанного, из перечитанного и пережитого. В каком-то смысле мой путь есть повторение Вашего пути, он начался, как и Ваш, у подножия родных нам гор и буков, но вывел меня — как бы это сказать полегче, — "питающего слабость к Карпатам", далеко в закарпатские края; правда, в один прекрасный день жители этих краев решили, что пришло время сделать Каринтию, и Гессен, и Померанию, и Бранденбург, и другие приграничные области с благородно-звучными именами литературно самодостаточными и литературно автономными. Начался процесс генеалогического облагораживания и очищения, или, если хотите, нового облесения — крайне необходимого через семнадцать лет после так называемой "сплошной вырубки" — литературного заповедника. <...> В Германии, как я недавно прочитал, были

1. "Стрела Артемиды" (1944).

когда-то военные преступники, однако в своей совокупности они составляли не более пятисот, от силы тысячу человек, а значит, их розысками можно и должно заниматься только в административном порядке, с применением предусмотренных конституцией средств.

Литература меж тем, как я уже говорил, процветает. "Мир" и "Время" протягивают друг другу обеспечивающие алиби зеркала: и она, литература, оказывается вполне достойной *этого* и всех прочих упомянутых мною новых веяний — одновременно экзистенциальной и экспериментальной, теоретически устойчивой и экономически защищенной; она даже, что не может не радовать, готова оказывать великодушное покровительство всяким там иммигрантам и доходягам, предварительно простив им все прегрешения, даже их иностранное подданство. Сам я тоже вот-вот удостоюсь исключительной чести: мне будет присвоено почетное звание Неплагиатора!

Однако довольно об этом! Нечто такое, что часто представляется мне (как в годы нацизма и Вам) взыскующим рифмы Нерифмующимся[1] — слово *человек*, — оживает и тянется к своей рифме всякий раз, как я адресую какую-нибудь мысль или строчку Вам и другим — близким в их отдаленности — друзьям; так происходит сейчас, и это Сейчас есть Всегда, а потому я, пусть даже расФИШЕРенный, разДЕФАвленный и разИНЗЕЛЬзвленный, все еще остаюсь тем, кого Вы хорошо знаете, для кого когда-то открыли столько стихотворений — и вместе с ними миров; остаюсь, вопреки всему, никуда не впутанным и не запутавшимся, равно далеким от Парижа и маленького Парижа (который, как все мы знаем со времен Гёте, тоже образует замкнутый в себе мирок[2]), зато совсем не далеким от Ваших книг, которые живут рядом со мной и поныне, все, даже добродушнейший Гейне — во Франкфурте-на-Майне иногда именуемый "нашей незаживающей раной"; не далеким и от Вашего ландшафта с его параболами[3] — что ж, после того как я, наконец, с не совсем уместной здесь обстоятельностью от-писался от всяческих шлаков, и инцидентов, и прецедентов пресловутого Запада, я могу от всего — свободного теперь — сердца поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам счастья, здоровья, неиссякаемых творческих сил!

Ad multum annos![4]

И до встречи, дорогой Альфред Шпербер!

Преданно

Ваш
Паулъ Целан

Наши поздравления! От всего сердца

Жизель Целан
Эрик

Moisville (Eure), двенадцатого сентября 1962 года

1. Этот образ вновь возникает в книге Целана "Нити солнц" (1968): "Душевно-слепой, за завалами пепла, / в священно-бессмысленном слове, / шагнул сюда Обезрифмленный, / мыслеплащ легко наброшен на плечи...".
2. В подлиннике — перефразированная цитата из "Фауста" "Es ist ein klein Paris, und bildet seine Leute", в переводе Б. Пастернака: "А Лейпциг — маленький Париж. / На здешних всех налет особый, / Из тысячи нас отличишь".
3. "Параболы ландшафта" (1934) — стихотворный сборник А. Маргул-Шпербера.
4. На многие лета! (*лат.*)

Пауль Целан – Жизель Целан-Лестранж

[Париж] Вторник [20.4.1965]

Только одну строчку, любимая, только это Wir-sind-es-noch-immer[1] – чтобы она встречала Вас у нас в Муавиле, в нашем доме: Вас и нашего сына.

Все это тяжело, но мы выкарабкаемся[2], мы обязаны помогать жить Эрику.

В тот вечер, когда я вернулся из Дрё сюда, мне подумалось, что и я тоже отсюда, что я сейчас нахожусь в родных стенах, что я никогда больше не стронусь с этого места, не покину Францию, страну, где я нашел мою жену, где я нашел Вас – Вас, моя Очень-Светлая, Очень-Правдивая, Очень-Прямая-и-Очень-Верная.

Обнимите нашего Эрика. И поприветствуйте этот Дом. Поприветствуйте наши Тополя, наши Розы, наши цветы и нашу зелень.

Обнимаю вас,

Пауль

Пауль Целан – Жизель Целан-Лестранж

78, ул. Лоншан, 16-й округ
[Париж, 5.5.1965?]

Любимая,

все, что я делаю, я делаю, поверьте, для нашего сына, для нас, для нас троих.

Я сейчас отправлюсь лечиться[3], а Вы возьмете Эрика, будете следить, чтобы он работал, и вместе вы дождетесь моего возвращения, а потом мы сможем жить и работать втроем и будем счастливы.

Пауль

Все будет хорошо. Мы опять обретем наших старых друзей. И все, что мы любим.

Пауль Целан – Эдит Хюбнер[4]

Париж, 29 июля 1965 г.

Дорогая и почитаемая мною милостивая госпожа,

Ваш подарок, бессарабский ковер, уже здесь – он добрался сюда, никем не допрошенный, сумев даже пересечь границу. ("Никогда не знал я

1. Мы-еще-как-тогда (*нем.*). Целан вспоминает строчку из стихотворения, которое он когда-то посвятил Жизель и которое вошло в сборник "Решетки языка" (1959): "Слово про-движение-вглубь, / что мы прочитали однажды. / Годы с тех пор и слова. / Мы еще как тогда". (Перев. М. Белорусца.)
2. В феврале–апреле 1965 г. Целан переживал период тяжелой депрессии в связи с публикацией в январе этого года в немецком журнале "Меркюр" двух статей, содержавших резкую критику его поэзии (одна из них называлась "Цвести и писать в Ничейной стране").
3. В начале мая 1965 г. Пауль Целан по настоянию Жизель решается пройти курс лечения в частной психиатрической клинике; он будет госпитализирован 8 мая.
4. Эдит Хюбнер – владелица книжного магазина в Вюрцбурге; познакомилась с Целаном в июле 1965 г., когда он выступал в этом городе с публичным чтением стихов, и периодически с ним переписывалась в 1965–1967 гг.

стран...”[1]) И через неделю-другую двинется дальше, в Нормандию, где обретет наконец пристанище и кров надолго.

Бессарабия — что она для меня? Многое, касающееся и конкретных людей, и вообще всего человеческого. Имена. Те, что Вам знакомы, и другие, которые могли стать для Вас знакомыми позднее, потому что я взял их с собой, когда уезжал оттуда, как Вы, милостивая госпожа, — ковер.

Когда-нибудь, когда Вы по пути в Бретань остановитесь в Париже или Муавиле — так называется местечко в Нормандии, где Ваш подарок, бессарабский ковер, будет жить и дожидаться Вас, — я перечислю-помяну эти имена и попытаюсь их оживить.

“Его (sic!) за вечер (sic!) в степи молдаванской” —
это песня, часто исполняемая, “сентиментальный романс” (Вертинского?)[2] и все же нечто совсем другое: с “Молдаванкой” внутри, навеянное Одессой, “Конармией” Бабеля, сыном рабби[3], Татарбунарами[4].

И ассоциирующееся далеко не только с этим. Одушевленное Вашим проделавшим кружной путь через “Вартегау”[5] — как это ужасно! — ковром. (Дóма в Буковине мы, не любившие румынский среди прочего и потому, что нам — нам, евреям, — запрещали говорить на своем языке, называли немецкий, *еще один* тамошний язык, Kotzen — “груборвотиной”[6].)

Только сегодня, *благодаря Вам*, милостивая госпожа, и потому, что вместе с Вашим подарком и в нем пробудилось к жизни столь многое, я начинаю учиться любить все это и даже могу учить все это любить.

В Вюрцбурге было хорошо — я благодарю Вас за это тоже, от всего сердца. Благодарю также Вашего зятя. И фрейлейн Редер[7].

Ваш Пауль Целан

Пауль Целан – Жизель Целан-Лестранж

78, ул. Лоншан, 16-й окр.
[Париж, 19.9.1965]

Дорогая, Любимая,

Вы быстро выберетесь из этого испытания[8], Вы выйдете из него повзрослевшей, исцеленной, обогащенной, Вы будете жить и проживете, со мной и с нашим сыном Эриком, проживете счастливо еще долгие годы, годы любви, работы, счастья, мы будем вести эту жизнь вместе,

1. Неидентифицированная цитата.
2. Целан цитирует (по-русски, но с ошибками) название песни Александра Вертинского “Что за ветер в степи молдаванской...”
3. “Сын рабби” — рассказ И. Бабеля из цикла “Одесские рассказы”.
4. Татарбунары — румынское село, центр восстания в Бессарабии 15—18 сентября 1924 г., целью которого было восстановление советской власти и воссоединение с СССР. Восстание было подавлено румынскими войсками, в результате чего погибло более трех тысяч человек.
5. Название Западной Польши после ее аннексии Третьим рейхом.
6. Здесь обыгрывается созвучие диалектального (австрийского и баварского) слова *der Kotzen*, или *die Kotze* (“грубошерстное одеяло”) и немецкого *die Kotze* (“блевотина”).
7. Неидентифицированная личность.
8. Целан имеет в виду свое тяжелое психическое состояние, обострившееся осенью 1965 г.

да, мы вместе будем ее вести, и Вы также будете заниматься графикой и еще живописью, если Вам захочется, Вы увидите разные красивые вещи — они сами будут к Вам приходить попросту, во множестве, и Вы будете нести в сердце, как я и как наш сын Эрик, еврейство — правдивое; и Вы увидите, вместе со мной, как Эрик будет добиваться успехов в своих занятиях, как он поступит в университет, получит хорошую профессию и начнет работать, как он женится на женщине, достойной его, Вы увидите, как и я, Эрика вместе с его женой, и наших внуков, мальчиков и девочек, — да, Вы увидите все это и вообще все правдивое и хорошее, что только бывает на свете.

Пауль
19.9.1965

Пауль Целан – Эрику Целану

78, ул. Лоншан, 16-й окр.
[Париж, 19.9.1965]

Мой сын Эрик, ты живешь, ты будешь жить, ты растешь, ты будешь расти, ты станешь прямодушным и мужественным мужчиной, ты учишься и ты будешь учиться, ты пишешь и ты будешь писать, ты поешь и ты будешь петь, ты любишь и ты будешь любить, ты любим и ты будешь любим, ты найдешь достойную тебя жену, умную и красивую, у тебя будут дети, мальчики и девочки, у тебя будет хорошая профессия, у тебя будут верные и честные друзья, ты будешь справедливым и щедрым, ты полюбишь поэзию и сам будешь поэтом, у тебя будет вера, и ты будешь уважать веру других людей, ты будешь хорошим евреем, ты будешь всегда в добром здравии, будешь в добром здравии долго, ты будешь настоящим человеком.

Твой папа
19.9.1965

Пауль Целан – Илане Шмуэли[1]

41, ул. Ульм
Париж, 21.10.1969

Дорогая Илана,

твое второе письмо уже здесь, жданное-нежданное, твое хорошее Ко-мне-письмо.

1. Илана Шмуэли (р. 1924) — подруга детства и юности Пауля Целана, в 1944 г. эмигрировавшая из Черновцов в Палестину; она служила в израильской армии, позже работала с "трудными" подростками. В 1965 г., оказавшись ненадолго в Париже, Илана нашла адрес Целана и увиделась с ним. В октябре 1969 г., когда Целан приехал на две недели в Израиль, они встретились снова и между ними возникли близкие отношения. Илана приехала к Целану на Рождество 1969 г. и виделась с ним еще несколько раз во время этого своего пребывания в Европе (в Лондоне и Женеве), закончившегося 2 февраля. Переписка между ними была почти ежедневной, последнее письмо Целан написал Илане за неделю до смерти.

Да, говори со мной, говори непрерывно, это для меня никакая не тягота, ты зря боишься. Это противо-тягота и не-тягота, это — да ты сама знаешь.

Я опять написал для тебя небольшое стихотворение, завтра-послезавтра оно уже отправится в путь — путь к тебе и к нам.

Я буду задавать и задавать тебе вопросы, словами и без слов, — спрашивай и ты, ты тоже задавай мне вопросы.

Ты пытаешься, говоришь, быть простой, и вместе с тем понимаешь, как понимаю и я, что все это совсем не просто: да, я это понимаю, как понимаешь и ты, и все-таки оно обитает в простом, которое вбирает в себя — вынуждено в себя вбирать — все многочисленное и многообразное.

Ты не должна этого бояться, не должна бояться самой себя, тебе там внутри следует оглядеться и понять, что поддерживают тебя великая надежность и еще — я здесь переиначу одно твое выражение — нечто крупномасштабное.

Я уже написал кое-что за пределами "Поворота дыхания" и "Нитей солнц", две книги лежат готовые в виде рукописей, первая, она будет называться "Внутрь смысла"[1], должна выйти летом следующего года. Но как будет выглядеть то, что я напишу теперь, после Иерусалима? Что Иерусалим станет поворотом, цезурой в моей жизни — это я знал. Но не знал, что там буду одарен тобою.

Не только дышащими глазами —

Пауль

О статье в "Хаареце"[2] я слышал; Давид Зейдман[3] вкратце пересказал мне ее перед самым моим отлетом. Но, если это не составит для тебя труда, я, конечно, охотно прочел бы ее целиком по-немецки.

Ты все понимаешь, ты знаешь малые бесконечности — даже их.

Я вижу тебя, как ты удаляешься в ночи, вижу, как входишь в эту ночь, и я хотел бы оказаться там, на другом ее краю, чтобы перенести тебя в Несказуемое.

21.X.69

Обвив руками, прямо у врат всех тщетностей[4] и вопреки им.

Я вижу твое лицо, вижу его в Иерусалиме, рядом со мной, подо мной, надо мной, я вижу его в Тель-Авиве, в темноте, боль сдвигает брови над твоими глазами, потом напряжение спадает, у меня тоже есть лицо, это я считываю с твоих глаз — и это тоже.

1. Позже Пауль Целан изменил это название на "Давление света".
2. Имеется в виду статья Иехошуа Тира "Беседа с Паулем Целаном", опубликованная в израильской газете "Хаарец" 12 октября 1969 г.
3. Давид Зейдман (1917–1989) — израильский медиевист, уроженец Буковины; он познакомился с Паулем Целаном в 1940 г. в Черновицком университете, в 1969 г. принимал Целана в Израиле, они переписывались в 1964–1969 гг.
4. "Врата милосердия" (или "Врата тщетностей", как их называют в своей переписке Целан и Илана Шмуэли) — замурованные ворота в стене старого города в Иерусалиме, которые, согласно легенде, откроются тогда, когда придет Мессия. Эти ворота упоминаются в посвященных Илане стихотворениях Целана "Зной", "Полюса", "Царская дорога", опубликованных посмертно в сборнике "Подворье времени" (1976).

21.X.69

Твое письмо, твое третье письмо пришло, я благодарю и благодарю тебя.

Да, попытайся приехать — или нет, не пытайся, просто приезжай, приезжай, и все, на рождественские праздники. Обнимаю тебя,

П.

23.X.69

Пауль Целан – Илане Шмуэли

26.XI.1969

Илана, на оборотной стороне открытки с видом Иерусалима, которую ты послала мне 6 числа, стоит написанное твоей рукой: "... какие бы побуждения тобой ни двигали, какой бы груз и какие сомнения тебе ни приходилось бы нести, не отворачивайся от меня".

Так вот, речь шла о *таком* грузе, я его обозначил словами, — разве *тебе* не следует от меня отвернуться?

Сегодня пришли твои письма от 23 и 24 ноября, завтра, наверное, ты получишь мое невообразимое письмо от 23-го.

Речь идет о самом худшем: вчера я написал тебе, что надеюсь, — но надеюсь ли? Да, о худшем — я мог бы, если бы ты была здесь, упомянуть и то, что заходит еще дальше, еще дальше во тьму, ибо такое — ты ведь догадываешься или даже знаешь — такое тоже случалось, что и пригибает меня к земле. Во мне было так много сил, Илана, — не только поэтических, — и они все были одним, они были *единой* силой. Мне их не пожелали оставить — или они были слишком велики, сила была слишком велика, чтобы мне могли позволить распоряжаться ею. Я долго оборонялся, но чем решительнее, чем безоглядней я вел свою борьбу, тем чаще меня бросали на произвол судьбы. "Бросали" — прости мне эту неопределенность, я мог бы, поверь, выразиться точнее, но ты позволь мне уклониться от этого, по крайней мере сегодня. И потом, я бы не хотел никого обвинять, я даже понимаю такое поведение, в последнее время я действительно был одним из тех, кого люди, обороняясь или из-за своей беззащитности, называют сумасшедшими. Но только вправду ли я стал бы таким, если бы ко мне относились с бóльшим пониманием? Не берусь судить — я уже и сам точно не знаю, и это тоже, как я тебе говорил, уже не имеет во мне никакой длительности.

Не буду распространяться на эту тему дальше — ты меня понимаешь.

Я разворачиваю Иерусалим, как свиток, я вижу дороги, по которым мы поднимались и спускались, — не все, но некоторые. Кто нас тогда вел, кто или что?

Золотой буй обязательно должен появиться, чтобы опасность могла быть преодолена[1]. И благодаря ему — сейчас? — я обнимаю тебя.

1. Ранее Пауль Целан прислал И. Шмуэли стихотворение "Сияние" об их совместной прогулке в Иерусалиме, которое заканчивалось словами: "Один золотой буй, / из храмовой низины, / измерял размеры опасности, / притаившейся глубоко под нами". Мотив испускающего золотое сияние и звенящего как колокол буя, или бакена, часто встречается в поэзии Целана.

Конечно, я непрерывно думаю об Израиле –

Пауль

Пауль Целан – Жизель Целан-Лестранж

[Париж], четверг, 14 января 1970 г.

Жизель, очень для меня дорогая,

сейчас тот редкий момент, который я, может быть, могу как-то сориентировать в пространстве. Ты поняла мое конечное намерение, цель существования; поняла смысл моего бытия.

Произошла "килодрама". Столкнувшись с необходимостью выбора между стихами и нашим сыном, я выбрал нашего сына. Теперь он на твоем попечении, помоги же ему.

И не сходи с нашего уровня (одиночек)[1]: на нем ты продержишься.

Я не любил ни одной женщины так, как любил, как люблю тебя.

Именно любовь – вещь более чем спорная – диктует мне эти строчки.

Пауль

Пауль Целан – Илане Шмуэли

3.4.1970

Я обещал, Илана, сегодня написать, но письмо не получится длинным: я в полном разладе с собой.

Часто, еще и в самое последнее время, в Германии[2], я говорил себе, что должен продержаться со своими стихами, с "Давлением света", а после с "Удел снега", что К-этому-стояние и есть моя борьба, моя судьба.

Но я живу в тяжелой материальной зависимости, и это гложет меня, постепенно изничтожает.

Тревогу, большую тревогу вызывает у меня мой сын. Ты видишь: только так, совсем скупыми словами, могу я об этом – с тобой. Я думаю о том, что ты называешь "жизнью", о твоей внутренней разорванности, об этой поздней утренней заре в твоей жизни, которую вызвал я своей возродившейся в Иерусалиме силой. Я думаю о нашем дне и вечере в Париже, я слышу тебя, как ты лежишь рядом, наполненная мною, открывшаяся, распахнутая, и как выходит твое дыхание, слышно-слышно: слышу эту счастливую поступь дыхания, озвученного из-за твоей предельной открытости.

Пауль

1. С конца 1965 г. Жизель и Пауль Целан не жили вместе, Целан периодически находился на лечении в психиатрических клиниках, Жизель боялась, что его состояние плохо скажется на их сыне, но продолжала помогать ему в житейских делах, ежедневно звонить, писать письма.
2. Имеется в виду последняя поездка Пауля Целана в Германию (где он выступал с чтением своих стихов), 19–31 марта 1969 г.

Пауль Целан – Илане Шмуэли[1]

Воскресенье, 12.4.70

Я пишу тебе это письмо, Илана, в знак благодарности. Благодарности за твое Обо-мне-думание, твое Ко-мне-чувствование, Ко-мне-стояние. Ты знаешь, я как-то написал: "То, что стояло к тебе / на каждом из берегов, / будучи скошенным, входит в другую картину"[2]. Не принимай этого всерьез, Илана.

На прошлой неделе я возобновил занятия со студентами[3], и мне хочется сказать тебе: сегодня, Илана, семинар прошел хорошо. Когда в Эколь нормаль у меня выдается хороший день, это какое-то время поддерживает даже в других ситуациях.

Я перечитал некоторые из твоих писем, я их перечитаю все. Твои слова о том, что правдивость есть тоска по иному, совершенно захватили меня. Позволь мне процитировать в этой связи слова Кафки: "... привести мир к чистоте, правде, незыблемости"[4].

Не беспокойся, если сколько-то времени — восемь или десять дней — от меня не будет писем: с завтрашнего дня объявлена забастовка почтовых служащих.

Осенью выйдет "Давление света".

Позволь мне сказать тебе, что своему издателю, Зигфриду Унзельду, я все-таки доверяю.

Ты знаешь, что такое мои стихи — читай их, я это почувствую.

Пауль

1. Это последнее написанное Целаном письмо. В ночь с 19 на 20 апреля 1970 г. он покончил с собой, бросившись с моста Мирабо в Сену.
2. Строки из стихотворения, открывающего книгу "Решетки языка" (1959):

Голоса, в зелень
водной поверхности врезанные.
Когда ныряет голубой зимородок,
жужжит та самая секунда.
То, что стояло к тебе
на каждом из берегов,
будучи скошенным,
входит в другую картину.

3. С 1959 г. Пауль Целан преподавал немецкий язык в Эколь нормаль в Париже.
4. Дневниковая запись от 25 сентября 1917 г.: "Но счастлив я был бы только в том случае, если бы смог привести мир к чистоте, правде, незыблемости" (перевод Е. А. Кацевой).

Противосвет

Перевод с немецкого Т. Баскаковой

А сердце оставалось скрытым в темноте и твердым, словно философский камень.

* * *

Была весна, и деревья летели к своим птицам.

* * *

Разбитый кувшин до тех пор ходит к источнику, пока тот не оскудеет.

* * *

Все разговоры о справедливости будут тщетными, пока последний линкор не разобьется о лоб какого-нибудь утопленника.

* * *

Четыре времени года — и нет пятого, чтобы выбрать одно из них.

* * *

Столь велика была его любовь к ней, что запросто могла бы сдвинуть крышку гроба, если бы цветы, которые она возложила ему на гроб, не были так тяжелы.

* * *

Столь длительным было их объятие, что довело до отчаянья саму любовь.

* * *

Пришел Судный день, и, чтобы отыскать наивеличайшее злодеяние, к Христу прибили крест.

* * *

Похорони же этот цветок и возложи на его могилу этого человека.

* * *

Час выскочил из часов, встал перед ними и велел не отставать.

* * *

Когда военачальник положил к ногам своего владыки окровавленную голову мятежника, владыка впал в страшный гнев. "Ты осмелился осквернить наш тронный зал запахом крови", — крикнул он, и военачальник содрогнулся.

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1983
© Т. Баскакова. Перевод, 2005

Тогда уста убитого раскрылись и поведали историю о сирени.
"Слишком поздно", — подумали министры.
Позднейший хронист подтверждает справедливость такого мнения.

* * *

Когда повешенного сняли с виселицы, глаза его еще не успели закатиться. Палач украдкой надавил на них. Но стоявшие вокруг все же заметили и от стыда опустили взоры.

В эту минуту сама виселица вообразила, будто она дерево, и, поскольку никто на нее не смотрел, теперь уже невозможно установить, не была ли она деревом на самом деле.

* * *

Он возложил на весы свои добродетели и пороки, вину и невинность, добрые и дурные качества, потому что хотел досконально во всем разобраться, прежде чем вершить над собою суд. Однако чаши весов, хотя и отягощенные таким образом, оставались на одном уровне.

Но поскольку он упорно хотел обрести уверенность, любой ценой, он закрыл глаза и бессчетное число раз обходил весы по кругу, то в одном, то в другом, противоположном направлении — до тех пор, пока не утратил всякое представление о том, какая чаша несет на себе какой груз.

Когда он снова открыл глаза, то увидел, что одна из чаш все же опустилась, но теперь невозможно было узнать, какая именно: чаша ли с виной или чаша с невинностью.

Впав из-за этого в ярость, он запретил себе толковать происшедшее в свою пользу и вынес обвинительный приговор — но после так и не освободился от ощущения, что, может быть, был неправ.

* * *

Не обманывайся: не эта последняя лампа вдруг стала давать больше света — просто темнота вокруг нее углубилась в саму себя.

* * *

"Все течет"; эта мысль тоже, и разве тем самым она не возвращает все к состоянию неподвижности?

* * *

Она отвернулась от зеркала, возненавидев тщеславие амальгамы.

* * *

Он учил законам тяготения, громоздил один довод на другой, но ученики его оставались глухи. Тогда он поднялся в воздух и, свободно паря, продолжал учить их тем же законам — теперь ему наконец поверили, однако никто не удивился тому, что он так и не вернулся на землю.

1949

Ольга Седакова

Пауль Целан. *Заметки переводчика*

Die Form — Leer Hohl-form — des Gedichts, ist auf das Gedicht wartende Herz des Dichters.

Paul Celan[1]

1.

Впервые имя Пауля Целана я услышала от С. С. Аверинцева (он говорил о нем как о "самом значительном немецкоязычном поэте послевоенной Европы").

Первым стихотворением Целана, которое я прочла по-немецки, был "Псалом" (анализу "Псалма" была посвящена прекрасная статья М. И. Лекомцевой, включенная в структуралистский сборник по негативной поэтике). Как же поразил меня этот "Псалом"! С тем большей силой, что ничего биографического и исторического, ничего такого, что могло бы объяснить мне напряжение этой формы (см. эпиграф), я еще не знала. Оставалось чистое изумление поэтом такой душевной силы и прямоты, какую можно было бы ожидать от средневековых авторов, таких, как Хуан де ла Крус; на худой конец от поэтов, обращенных к "большим временам", как Рильке в "Часослове". Из этих параллелей можно понять, что жизнь, о которой идет речь в "Псалме", я опознала сначала как "внутреннюю жизнь", как то, что происходит в любовных песнях испанского монаха или в рассказах об иноческой жизни свободного художника, — что, как выяснилось впоследствии, совсем не так. Или не совсем так. Реальность "Псалма" — не "мир души", а мир истории. Быстрее всего это могло бы подсказать его "мы": мистики, поэты "внутреннего" (Innigkeit) обыкновенно говорят о "я".

Из двух этих первых встреч, происходивших где-то в середине 70-х, я вынесла впечатление абсолютной необходимости, во-первых, узнать все, что можно, об авторе этого "Псалма" и, во-вторых, попробовать перевести на русский то, что узнается.

Чем объяснить это мгновенное чувство насущной необходимости русского Целана? Прежде всего теснотой и замкнутостью того глухонемого времени — с его огромной внутренней энергией, его ожиданием формы, в целановском смысле. Формы свободного и точного лиризма. Ни свободы, ни точности в отечественной стихотворной продукции тех

© Ольга Седакова, 2005

1. Форма — пустая полость-форма стихотворения — есть ожидающее (этого) стихотворения сердце поэта. Пауль Целан (из подготовительных записок к "Меридиану").

лет я не находила (я имею в виду прежде всего публикуемых авторов, но и во "второй культуре" рутины хватало). Вязкая, тусклая, запредельно устаревшая мысль... Устаревшая уже относительно Тредиаковского. Да, подцензурное искусство уникально, новее его — все! А то, что там обыкновенно обсуждается под именем формы и мастерства, представляет собой самые периферийные вопросы поверхностной техники.

Как у многих (из тех немногих, кто вообще этим интересовался), мое тогдашнее знакомство с европейской поэзией кончалось на высоком модернизме (Рильке, Элиот, Валери, Клодель, польские катастрофисты); собственно, на этом же месте — месте смыслового взрыва — кончалась для меня и традиция русского стиха (Хлебников "Синих оков", Мандельштам "Воронежских тетрадей", Цветаева времен эмиграции, Ахматова "Поэмы без героя", Пастернак — как раз не поздний, а времен "Сестры моей жизни").

Классический модернизм, или пламенеющий модернизм, — очень высоко взятая нота европейского творчества, огромное напряжение интеллектуальных, формальных и душевных возможностей. Он многого требует от своего читателя (слушателя, зрителя) — так много, что до позднейших времен его "неевклидов" опыт оказался почти не усвоен (так же как в обывательский опыт так и не вошли естественно-научные перевороты XX века; в нашей обыденной "научной картине мира" попрежнему правит ньютонова механика). Если бы модернизм был в самом деле включен в магистральную линию движения европейского искусства (иначе говоря, если бы в школе ставили двойки тем, кто отказывается понимать "Улисса" и не хочет слушать Веберна, поскольку это "сумбур вместо музыки"), очень, очень многим пришлось бы признать себя "вышедшими из игры", потерпевшими фиаско в качестве "людей культуры". Но этого не случилось. Модернизм остался островом, который культурное человечество благополучно обогнуло, прихватив там, правда, кое-какие, совсем мелкие "находки", формальные навыки вроде "монтажа" (которыми оно украсило рутинный психологический реализм), но не главное: не небывалое напряжение модерна, не его готовность идти до конца, за пределы обитаемой ойкумены. Точнее было бы назвать это обитаемой психической реальностью: душевное пространство модернизма — Lichtung, разрыв времени, взрыв, молния, момент неприкровенности. Такое пространство не только не застраивают, не заселяют и не обставляют своей психической мебелью — в нем и задержаться-то на лишний миг не получится. Этот просвет, эту моментальную вершину, эту волнующую новизну душа нашей цивилизации оставила в стороне как странный эпизод, который к общеобязательным опытам не относится, как hors d'oeuvre своего основного сюжета — и отправилась дальше, к покатым равнинам постмодерна.

Постмодернизм избавил от смущения тех, кто не чувствовал в себе способности выйти за пределы классической физики смысла *всерьез*, а в качестве немудрящей и ничего от тебя не требующей игры, которую он предложил, это оказалось проще простого. Читателю Хайдеггера придется потрудиться и сейчас, и, думаю, через двести лет — Деррида доступен каждому, а поскольку он "сменил" Хайдеггера, можно считать неудавшееся знакомство с "заумным" уже излишним.

Но в те годы постмодернизма мы еще не знали, и для меня было ясно как день, что модернизм богаче и "современнее" всего, что создава-

лось у нас в позднейшие десятилетия, не зная его вовсе или не принимая его в расчет. Что "новее", что "последнее": "Поэма воздуха" или... Давид Самойлов, скажем? Более серьезно: что "новее" — бабочка из мандельштамовских "Восьмистиший" или бабочка Бродского? Я не спрашиваю: что лучше? — но: что новее, что резче будит нас от привычного полусна сознания?[1] Модерн оставался для меня непродолженным и неотвеченным началом.

И вместе с тем нельзя было не почувствовать, что эти вещи родились в другом воздухе. В нашем же или в близком нашему (в чем его отличие, в то время я не могла бы определить, теперь определение у всех наготове: "после Аушвица"; "после Аушвица и ГУЛАГа") звучала более или менее рутинная речь.

И вот, наконец, поэт, который не снизил рокового напряжения модернизма, — поэт, который не колеблясь обращался к миру с невозможным будто бы уже гимническим "o!" ("du", в немецком изводе) и при этом звучал в гораздо более близком нам воздухе, — такой поэт нашелся: это был автор "Псалма", "самый значительный немецкоязычный лирик послевоенной Европы", Пауль Целан. Потому-то он был насущно необходим.

Однако как переводить эти трудные, странные, оглушающие образы, я не могла придумать еще много лет.

2.

Я знала, что русский язык во многих отношениях здесь облегчает дело, в сравнении с французским или английским, — и в силу своих природных качеств (свободы синтаксиса, допустимости грамматических прорех, темнот и туманов), и в силу того, что сам Целан резонировал русской поэзии и особенно (как это многократно описано и изучено) Мандельштаму. Целан-переводчик нашел немецкое слово для Мандельштама, не поможет ли Мандельштам найти русское слово для Целана? Мы знаем их общий источник — автономное слово французского символизма, "абсолютная метафора", но вышедшая из себя, раскаленная добела, до *точки безумия*, до *совести*[2]. Да, на русском языке что-то похожее уже было. Это качество слова — расплавленное, полубезумное мандельштамовское слово:

> Играй же на разрыв аорты
> С кошачьей головой во рту! —

1. Я представляю, что защитники второй бабочки скажут: "Да, 'О бабочка, о мусульманка!', вероятно, острее и чище, чем 'Сказать, что ты мертва?' Но с этой расхоложенной интонацией мы охотно отождествляемся, тогда как одическое 'О!' — кто теперь его повторит как свое? Ведь если что за пределами нашего времени — так это безоглядный восторг, безоглядная уверенность в собственной речи. Вот что ушло безвозвратно после Аушвица. В этом-то и заключается новизна и своевременность Бродского, которой Вы не можете оценить". Что на это сказать? Что новизна не бывает унылой? Что, словами философа, "отчаяние принадлежит обыденности и имеет непроясненный источник"? (В. В. Бибихин. Язык философии. — М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 144.)
2. Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя.

оно уже нам знакомо. Где-то в этой области и нужно было искать, со всеми — огромными — отличиями. "Дикость" позднего Мандельштама не перестает держаться на огромном культурном фундаменте, а Целан действительно как будто начинает с нуля, с земли, по которой еще не ступала нога Орфея. Мандельштам никогда не забудет своего любимого эллинизма, даже в самых безумных воронежских стихах *("Нереиды мои, нереиды")*. Какие нереиды возможны у Целана? От золотой меры стиха, от *гласных долготы*, от эллинской *бессмертной весны*, от *храмины Мельпомены*, от *юноши Гёте* ничего уже не осталось (впрочем, кое-что осталось: обезумевшая Маргарита и безумный Гёльдерлин). В душевном внимании (столь дорогой обоим "доблести лирического поэта") не осталось самых сильных мандельштамовских поворотов — страстного любования:

Переуважена, увлажнена, вся в холе —

и ребяческого изумления:

Вот оно, мое небо ночное,
Пред которым, как мальчик, стою.

Детство ушло вместе с историей, вместе с историческим творчеством:

Они рыли и дальше не слушали; и
они не стали мудрей, не сложили песен,
не придумали для себя никаких языков.
Они рыли.

Детство долетает сюда только из-за границы смерти:

где про чело, про века, где про человека...

Осталась голая, не взрослая, не детская речь на голой — доисторической или послеисторической — земле, не на земле, собственно говоря, а в земле — в беспросветной земле, куда взятый от нее человек почти вернулся и знает, что второй раз "никто нас из нее не вылепит" (вот здесь русский язык, в отличие от английского, не действует, требуется отрицание с одним "не": "Никто нас вылепит", — и тогда оно может значить и полную невозможность такой перспективы, и одновременно некую странную вероятность, для которой достаточно лишь обнаружить этого "Никого", и тогда "Никто" еще раз нас вылепит[1]).

Осталась библейская или даже предбиблейская земля. Остался даже не писаный текст Библии, обработанный книжниками, а то, с чего это писалось, предтекст, устный и неповествовательный, что-то вроде древнейших гимнов, "Коня и всадника", — слов, в которых видится некий ритуал, священная пляска.

1. Чтобы как-то передать этот скачок от отрицания к утверждению, я обратилась в переводе к безличной форме, единственной в русском языке, где такое одиночное "не" возможно:

Некому вновь замесить нас из персти и глины,
Некому заклясть наш прах.
Некому.
Слава тебе, Никто...

3.

То, что поэзия и мысль Пауля Целана пронизаны Библией, ее образами, ее темами и ее вопрошаниями, излишне говорить. Не нужно уточнять и того, что Библию Целан знал внутри той традиции ее чтения и толкования, которая христианам незнакома. Может ли переводчик — и читатель — Целана обойтись без основательного знания иудаизма?

Известно, что Целан не считал себя собственно конфессиональным и даже собственно еврейским поэтом. Он считал себя поэтом, а эта племенная принадлежность или это гражданство (апатридство) ревнивее многих! Как другие великие европейские лирики XX века, он принадлежал неписаному, неформализованному, но от этого не менее строгому канону свободного искусства Нового времени. По этому канону всякая "готовая" система смыслов может быть только далеким фоном личного, в своем замысле нового опыта. При всем богатстве традиционной религиозной символики, которую обнаруживают в его поэзии исследователи[1], она всегда вспыхивает в его образах так неожиданно, смело и свободно, что мы можем предположить, что читатель Целана вполне может воспринять их силу и *поэтический* смысл и без специальных познаний. Мы можем сказать это с тем большей уверенностью, вспоминая целановскую идею стихотворения как жеста общения, как протянутой для рукопожатия руки. "Ich sehe keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Händedruck und Gedicht. Man komme uns hier nicht mit "poiein" und dergleichen"[2]. Я не думаю, чтобы Целан предполагал, что его читатель, его "ты", которому протянута рука стихотворения, должен быть знатоком достаточно редких вещей; я не думаю также, что он пользовался какой-то сознательной шифровкой (шифровка уместна в письме другого типа, не таком радикально *внимательном*, какого требовал от себя Целан). Глубинные слои родной традиции возникают в его словах спонтанно, и поэтому можно просто довериться стиху, и тогда — как бы сказать? — эти смыслы сами вспыхнут, могут вспыхнуть... Несомненно, читатель Целана, не изучавший специально иудаизма, не может читая узнавать весь этот пласт (так же, впрочем, как и читатель Данте не узнает в нем огромного пласта схоластики и бездны других вещей). Тем не менее поэзия по самой своей природе позволяет воспринять смысл, которого ты никаким образом не мог бы знать заранее, к которому ты как будто заведомо не готов, и разве

1. См. работы А. И. Шмаиной-Великановой "Растительный код мироздания у Пауля Целана" и "Богословие Пауля Целана" (в печати). См. также работы Моше Иделя и Наташи-Эстер Заболотной, опубликованные в "Пауль Целан. Материалы. Исследования. Воспоминания". — Москва–Иерусалим, 2004, с. 307 — 325. Если А. И. Шмаина-Великанова находит в символике Целана свободное, но органическое продолжение традиционной мистики, два других исследователя категоричны в его антитрадиционном и богоборческом понимании: "...у поэта был изорванный еврейский менталитет" (ук. соч., с. 308), "Их (традиций) элементы были вырваны из контекста, чтобы создать новую ткань идиосинкразической чувствительности поэта и особенностей его восприятия, а вовсе не для того, чтобы, изменив форму, они смогли зажить иной, самостоятельной жизнью в поэзии, <...> уничтожение Бога Целаном (!) является символом неспособности этого поэта интегрироваться в систему религиозных, социальных, национальных и матримониальных структур прошлого" (ук. изд., с. 312). Эта критика удивительно напоминает богословское прочтение мистического опыта Александра Блока, приписываемое о. Павлу Флоренскому!

2. "Я не вижу принципиальной разницы между рукопожатием и стихотворением. Пусть нам не предлагают разных poiein (*греч.* делать, делание) и тому подобного". Из письма Хансу Бендеру. (Полностью письмо см. на с. 225.)

не за это мы ее любим? Она будит в вещах и в словах их обыкновенно спящую способность символизировать. Она пробуждает в читателе обыкновенно спящую в нем способность общаться с символами или значимостями, узнавать их... Я не назвала бы это душевное пространство, как Юнг, "коллективным бессознательным" — скорее это общее надсознательное. Между этим бесформенным надсознательным и системами оформленных духовных традиций, доктрин, символов нет антагонизма; их отношения могут быть взаимообогащающими. Я думаю, более того: они всерьез нуждаются друг в друге. Антагонизм возникает там, где самостоятельное действие этого надсознательного хотят — во избежание лишнего риска — отключить и целиком заместить готовыми смыслами. Такие доктринальные смыслы их адепт должен только принять, запомнить и употреблять (не допуская их слишком глубоко в себя — или себя в них — ведь так может подняться и бунт против них! Несомненно может, но только там возникает и истинное, полное "да"), вот это и будет его правильный "духовный мир". Антагонизм возникает и в противоположном случае, когда все готовые, традиционно установленные смыслы признаются совершенно чужими, условными, а единственно достоверным источником — мой личный опыт внутренних встреч с этим надсознательным. Но это тема слишком большая для настоящих Заметок.

Больше всего в отношениях поэзии Целана к Библии меня поразило не богатство или неожиданность его отсылок, не острота осмыслений и медитаций на заданные Библией темы, а нечто совсем другое. В каком-то смысле речь Целана *слишком* близка библейской — слишком для того, чтобы различить в ней темы, образы и вопрошания книг Св. Писания как отдельный, второй план, как модель, с которой работает мысль художника. А именно так, по принципу "тема и вариации", "тема и ее развитие" или "диалог с темой", обыкновенно и построены произведения европейского искусства, живопись, музыка, поэзия "библейской темы". На самом деле нам вряд ли известно другое, чем это, отношение. И оно приносит великолепные и неожиданные плоды: вспомним хотя бы библейские сюжеты Рембрандта или библейские стихи Р. М. Рильке "Давид и Ионафан", "Пророк" и многие другие.

И хотя Иова в ряду ветхозаветных портретов Рильке нет, в некотором смысловом поле, которое создает в нашем уме "поэтический мир Рильке", мы можем вообразить в общих чертах и такое его создание, такое словесное изваяние: "Иов" Рильке, в ряду "Книги образов" или "Новых стихотворений". Мы можем вообразить эти стихи и в форме монолога, перволичной речи (как в "Пророке") — и в форме овеществленной, в третьем лице (как в "Святом Себастьяне").

Но стихотворение Целана "Цюрих. 'У аиста'" ни в малейшей мере не посвящено теме или образу Иова. Дело обстоит совсем иначе. В этой зарисовке конкретной встречи в конкретном месте Целан *от себя лично* говорит приблизительно то же, что Иов: вряд ли он цитирует его, вряд ли он видит в своем споре с Нелли Закс о "ее еврейском Боге" повторение возражений Иова его благочестивым друзьям. Сказать, что "он говорит то же" вообще-то нельзя: мы не узнаем из этих стихов, что он, собственно, говорит "против Него". Он не говорит *слов* Иова, он *надеется* на то же, что Иов, он хочет услышать настоящий ответ Бога на настоящий вызов "сердца, какое у него есть". Не сердца, какое *должно быть* у

благочестивого человека, а такого, какое у него есть, — чтобы ему ответил не "еврейский Бог" (в данном контексте это очевидно значит: "Бог традиции", "Бог благочестивых привычек"), а "Он Сам", в других стихах именуемый "Ты" или "Никто". Если в этих стихах воспоминание о Книге Иова все же присутствует, то это воспоминание о *прецеденте*: ведь было же такое, не принимающему положения дел человеку однажды было отвечено![1] То же можно сказать и о его "Псалме": Псалтирь Царя Давида предшествует этому новому псалму (именно псалму, а не переложению псалма или медитации на тему псалмов) *как прецедент*. И не только Псалтирь, но и другие песнопения Ветхого Завета: скажем, песнь отроков в Вавилонской печи из Книги Даниила (на этот раз поющие уже сгорели до того, как начать песнь!). Вот, за всеми этими, еще одна песнь-клятва в верности, которая и есть хвала[2].

Говоря о том, что речь Целана *слишком* близка библейской, я имею в виду, что "мир Библии" для него не кончается с последней записанной в кодексе фразой. *Весь мир, какой он застал, и есть для него мир Библии.* Ужас XX века, судьба его родных, его отношения с любимой пишутся в этом же свитке: это не воспоминание о библейских событиях, не комментарий, не истолкование уже написанного, а дальнейший ход рассказа. Рассказа, в котором "лучшее слово" так же неизмеримо впереди, в области надежды, как и во времена Иова. Библия у Целана — это священная история, открытая, как в начале, неутоленное пророчество о спасении.

Мне кажется, в европейской поэзии, да и вообще в европейском искусстве (которое, по словам М. Шагала, видит в Библии огромный тезаурус тем, образов и мыслей) мы не встретим ничего похожего. Мир, о котором говорит культура христианской эпохи, — это мир за обложками Св. Писания, другой мир, "просто мир", понять и пережить который помогает "мир Библии", и два этих мира можно сопоставлять. Сопоставлять и находить глубоко прочувствованное подобие, как, например, в военных стихах Б. Пастернака о злодеяниях Гитлера на захваченных землях:

> Когда он делал, что хотел,
> Как Ирод в Вифлееме —

но насколько велик вес этого "как": "*как* Ирод"! Ведь и самого этого нового злодея в Книге явно нет, и не все новое событие сравнивается со всем евангельским (нового Младенца нет, и, стало быть, не в том мотивировка злодейства). Целановский же "немецкий учитель" из "Фуги смерти" — новое действующее лицо в том же повествовании. У Целана "другого мира", "других небес" нет.

1. Подобное отношение к библейской истории как *прецеденту* мы встретим не в искусстве, а в Новом Завете: так вспоминают эти события Апостолы в посланиях (ср. воспоминания ап. Павла о свидетелях веры) и прежде них — сам Спаситель. Впоследствии привычнее стало видеть в них не *прецеденты*, а *прообразы*.

2. Интересно, что "поэтическое" чтение "Псалма", которое я здесь изложила (исходящее прежде всего из ритма и энергии высказывания) — гимн неуничтожимой надежде — и которое разделяют со мной переводчик М. Белорусец (говорящий о францисканской "совершенной радости" и катарсисе в связи с этими стихами, ук. изд. 174) и такие исследователи, как В. Террас и К. С. Веймар, полностью противоречит чтению "по символам", которое предлагает Моше Идель: "Роза, возникающая из человеческого праха, заняла место каббалистической розы, символизирующей нижние аспекты Божественного плана. Теперь активный мертвец завоевывает пространства пустоты, образовавшейся в результате уничтожения Бога" (!). Моше Идель. "Псалом" Пауля Целана: откровение, ведущее в ничто" (ук. изд., с. 312).

И надо всей этой твоей
скорбью: никаких
других небес.

4.

Итак, все это слишком необычно для переводчика. Но здесь трудности не кончаются. Ибо главную из них составляет *язык* Целана. Я имею в виду не рваный синтаксис, не разломы слов:

Вы мои и со мной из-
увеченные слова
вы, мои верные –

к такому модернизм нас давно приучил. Я имею в виду нечто более фундаментальное: грамматику как основу мысли. Грамматику, главными координатами которой являются Имя и Глагол, иначе – мысль о вещи и мысль о действии.

Однажды греческий богослов Христос Яннарас спросил меня: какая грамматическая категория существеннее всего в русской поэзии? Я не задумываясь ответила: несомненно существительное, *имя*! Но задумавшись, признала, что это не так.

Действительно, вес имени в русском стихе огромен, вплоть до опытов полной безглагольности у Фета и у поэтов начала XX века, когда Имя стало едва ли не первой темой и религиозной, и эстетической мысли в России двадцатого века: сравни "философию имени" у П. Флоренского, С. Булгакова, А. Лосева, Вяч. Иванова... С этой темой часто была связана мысль об эллинском и византийском начале русского языка и русской культуры. Отзвуки этого своеобразного почитания имени (именно имени, слова, а не языка как такового) мы встретим в поэзии символистов, Н. Гумилева, О. Мандельштама, М. Цветаевой – вообще говоря, у всех значительных русских поэтов последнего столетия (исключение здесь составит Б. Пастернак, у которого мистика и магия имени неощутима и, возможно, – при его тяге к просторечию и прозаизму – даже нежелательна). Язык предстает при этом как своего рода словарь без грамматики, собрание имен – собственно говоря, как реестр имен существительных в единственном числе и в именительном или звательном падеже. Имен, которые выражают сущность, или эйдос, или энергию вещи и обладают особой силой. На вершине этого собрания имен, "блаженных слов" – имена личные. Самостоятельная сила, субъектность Имени – сюжет классического "имяславного" восьмистишия раннего Мандельштама[1].

1. Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
"Господи!" – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади...

Да, все это так, но что делать с Пушкиным? Нерв его стихотворного языка несомненно составляет *глагол*. Гибкий, сильный глагол, играющий всеми возможностями своих значений: временных и модальных оттенков, пассивности и активности, лица и числа. В контраст мандельштамовскому восьмистишию можно привести пушкинский шедевр "Я вас любил", где вся внутренняя драматургия построена на игре глагола: адресату и читателю предлагается угадать, в конце концов, грамматический смысл глагольной формы *любил*: это прошедшее завершенное — или незавершенное? Включает ли он в себя умолчанное настоящее время *люблю*?

В своей истории русская поэзия становилась все более и более поэзией имени, созерцанием имен (отвечая, между прочим, вектору исторического изменения самого русского языка, который с веками чрезвычайно упрощает и ослабляет грамматику глагола, теряя времена с их тонкими различениями действия и сохранив единственное их различие, завершенность-незавершенность). Но в начале и на вершине ее — глагольная лирика Пушкина. Вот это я и ответила Христосу Яннарасу. Он с радостью заметил, что именно глагольность такого рода была основой классической греческой лирики.

Однако при чем здесь грамматические предпочтения русской поэзии? Прежде всего при том, что переводить стихи Целана я хотела на язык этой традиции, отучившей нас ценить глагольность. И, вместе с тем, приучившей нас к тому отношению к языку, которое, может быть, и заставило Целана сказать: "Я русский поэт".

Обсуждая тему *имени*, мы уже коснулись этого особого отношения к слову как к священной, блаженной, в каком-то смысле более реальной, чем непосредственная реальность, и более действенной, чем она, материи: как к *силе*. Эти имена никак не совпадают с наличным языком; они берутся как бы не оттуда, не из практической речи, где, по словам Н. Гумилева,

> как пчелы в улье опустелом,
> Дурно пахнут мертвые слова.

Чтобы найти другое, живое слово, необходимо прежде всего забыть слова, оказаться перед неименованным. Назвать вещь, произнести имя, забыть, вспомнить имя или слово — действия чрезвычайно значительные; иногда они прямо уподобляются священнодействию (как у Блока: "Свою обедню отслужу"; "Как иерей, свершу я требу").

Выход в пространство имен затруднен: поэтическое слово является как взрыв, катастрофа, "дуговая растяжка". Этому почтению к имени корреспондирует "негативная поэтика" — постоянное неназывание чего-то центрального, "молчание в словах" — и тема бедности, негодности наличного языка (тютчевское "Мысль изреченная есть ложь"). Естественно, подобное отношение к слову свойственно поэтам разных традиций (вспомнить хотя бы Р. М. Рильке) и не составляет исключительной черты русской поэзии, но в ней оно распространяется за пределы лирики собственно романтической или лирики отчетливо мистической инспирации, составляя скорее общее свойство.

У Целана все слова как будто граничат с тем Именем, которое запрещено произносить всуе.

Sehen (видеть):
Es sieht, denn es hat Augen
(Глядит, ведь оно с глазами),
graben (рыть):

Es war Erde in ihnen, und
sie gruben
(Земля была в них, и
они рыли).

Все слова, но особенно — заметим сразу же — глаголы, как в приведенных стихах. Странное волнение, сопровождающее эти простые слова — "видеть", "рыть" в личной форме третьего лица, — говорит нам о том, что здесь происходит нечто чрезвычайное, преступается какой-то запрет, оглашается тайна. Быть может, поэтому Целан так любил Мандельштама, которого отличала та же словобоязнь, трепет перед называнием вещей по имени. О "свирепом словесном целомудрии" Мандельштама прекрасно писал С. С. Аверинцев:

И блаженное, бессмысленное слово
Первый раз произнесем.

Однако и здесь есть нечто решительно противопоставляющее Целана Мандельштаму. Словесная экономия Мандельштама входит в его общую *науку расставанья:* найденное слово покидает говорящего, возвращается в *чертог теней,* летит

вослед лучу,
где нет меня совсем.

Разлука и утрата у Целана уже за плечами: его слово — слово Встречи, оно приходит, должно прийти в своей страшной и воскрешающей силе

hoffen:
auf
sein hochstes, umrocheltes, sein
haderndes Wort
(надеяться:
на
Его лучшее, разъяренное, на Его
раздирающее слово).

Эта поэзия — не элегическая "наука расставанья", а страстные упражнения в некоей новой науке, науке невозможной, но предельно, единственно необходимой встречи. Наука ожидания и провокации такой встречи, вызов.

Позволим себе спросить: какой грамматической категории могло бы принадлежать то Слово, haderndes Wort, раздирающее слово, на ко-

торое надеется Целан в этих строках? Я почти уверена, что "блаженное слово" Мандельштама — имя. У Целана же, мне представляется, ожидаемое, провоцируемое слово — никак не имя. Скорее всего, здесь должен прозвучать глагол повелительного наклонения, глагол, подобный тому, который звучит в начале Книги Бытия — или в эпизодах евангельских чудес: "Хощу, очистися!"

Читая и переводя Целана, я с необыкновенной ясностью и едва ли не впервые почувствовала *глагольность* библейского повествования, которое так не похоже на наши привычки думать о "последних вещах", что мы забыли о самой возможности другого видения.

В удивительной центрированности на глаголе, иначе говоря, на действии — куда больше, чем в разорванном искалеченном синтаксисе, — мне видится самая существенная новизна лирической речи Целана. И поскольку слово, во всей его грамматической конкретности, и есть дело поэта, эта новизна необычайно богата последствиями. В сущности, Целан предлагает нам новую грамматику созерцания — новый его непредметный предмет.

В созерцании имен, которое знакомо нам по русской поэзии, да, вероятно, по всей европейской поэзии христианской эпохи, присутствует молчаливая предпосылка некоего второго мира, "иного мира", существенно иной реальности, вне времени и протяженности, умопостигаемой или вечной. В привычном употреблении ее можно назвать платонической. Созерцание идей или форм, которые, вообще говоря, представляют собой *вещи* — вещи иной природы, умопостигаемые, но тем не менее вещи. Навык овеществления созерцаемого, даже если это созерцаемое содержит в себе динамику и действие, сильнее, чем любая мыслительная установка. Мир этого созерцания — отграниченные, вынутые из времени умопостигаемые "вещи", "формы вещей". Из таких "вещей" состоит метафизика, они расставлены на ее космических стеллажах. Помимо таких "вещей", за ними, остается "Ничто", некая антивещь, антиформа, которая также каким-то образом может быть созерцаема.

В мире Целана нет места ни для какой "второй", метафизической реальности:

> Ueber aller dieser deiner
> Trauer: kein
> zweiter Himmel
> (И надо всей этой твоей
> скорбью: никаких
> других небес) —,

никакого "второго неба" и "второй земли". То, о чем он говорит, невидимое, утраченное, присутствует здесь,

> heimgeholt in sein Heute —
> (взято в свое Сегодня).

Нет Элизия, нет "чертога теней", утешительной платоновской области блаженных имен, имена сгорели вместе с теми, кого они называли:

Alle die Namen, alle die mit-
verbrannten
Namen.
(Все имена, все заодно
сожженные
имена.)

Нет не только "первых" вещей, но, вообще говоря, и здешние вещи не слишком реальны — и не потому, что они символичны и представляют собой лишь "тени" или "оттиски" истинных. Глаз оказывается камнем и камень — глазом, воздух мало чем отличается от земли; все как будто *слишком* материально и потому слишком хрупко, чтобы обрести форму, и в этом океане материи существенны не отдельные оформленные вещи, а проходящие сквозь все это движения, действия. В каждой "вещи" важно одно — что *она делает* или что *с ней делают*. Даже если эта "вещь" — Никто и Ничто. Никто и Ничто остаются деятелями и объектами действия:

Ich grabe, du grabst, und es grabt auch der Wurm,
und das Singende dort sagt: sie graben.
(Я рою, ты роешь, и червь дождевой
тоже роет. Вот песнь: они рыли.)

И вот что стоит заметить. Фигура спряжения одного глагола по лицам:

Es sieht, es sieht, wir sehen,
ich sehe dich, du siehst,
(Он видит, видит, мы видим,
Я вижу тебя, видишь ты),

которая часто встречается у Целана, вовсе не передает естественной для глагола семантической игры, скрепляющей высказывание с действительностью, как это происходит в глагольности Пушкина, о которой речь шла вначале. Это парадоксально звучит, но именно сплошное изменение сообщает глагольному смыслу некое подобие неизменности, монументальности, статики, сверхреальной меры — то есть возникает своего рода альтернативная метафизика. Ибо если имя, чтобы помыслить его в его метафизическом пределе, должно быть вынуто из своих грамматических изменений, то предел глагольного смысла — именно в соприсутствии всех его изменений сразу. Для общего смысла "видеть" мало того, что "он видит", это тут же и "я вижу", "мы видим"; к переходному глаголу тут же присоединяется дополнение: "я вижу тебя" и т. д.

Глагол в принципе не может отсылать к "идеям", образцам, прообразам; он не может делать этого просто потому, что движение, изменение, действие не предполагаются присущими высшей, вечной, вынутой из времени и пространственной протяженности, метафизической реальности. Как за именем — "вещь", за глаголом стоит прообраз "жеста", принадлежащего некоему действующему "лицу", самым обобщенным выражением которого у Целана оказываются личные местоимения: в первую очередь, его знаменитое "ты", Du, "они", "он", а также Никто.

Возражая привычному толкованию поэзии как "делания", poeisis, то есть производства вещей, Целан в приведенных нами выше словах говорит о стихотворении как о жесте, как о руке, протянутой для рукопожатия. Я не знаю другого поэта — тем более, европейского поэта XX столетия (с господствующей в нем темой производства, в том числе, и "эстетического производства" или "служения собственному произведению как вещи") — с такой не-вещной, антивещной Ars poetica. Это совсем новый — или совсем забытый путь.

В связи с этим другой смысл приобретает целановская тема *молчания*: молчание в этом случае — не столько отказ или воздержание от смысла, от деятельности осмысления, неуместной и суетной перед сверхсмыслом, как в созерцательной "платонической" или метафизической поэзии. Это *невозможность действия*, невозможность движения, сильного жеста:

Ihr gebet-, ihr lasterungs-, ihr
gebetscharfen Messer
meines
Schweigens
(Вы молитвенно-, вы кощунственно-, вы
молитвенноострые лезвия
моего
молчанья).

Метафизическое слово, Имя умолкает перед сверхвещью. Глагольное слово Целана умолкает перед неким сверхдействием. Самое близкое значение такого сверхжеста, сверхдействия, приобретающего своего рода неподвижность и вневременность, — ритуал.

Это, я думаю, и есть целановская альтернатива традиционной созерцательной поэзии: созерцание глубинной сущности мира не как "иной вещи", а как непрерывно за всеми вещами и формами творящегося священнодействия:

Однажды,
я слышал его:
он мыл этот мир,
невидимый, ночь напролет,
он самый.

Раз — и до — без — конца,
уничтожаем,
аим.

Свет был. Спасение.

С которым "мы рядом":

Nah sind wir, Herr,
Nahe und greifbar —

рядом и тоже "действуем": видим, роем, пьем, поем — и тогда, когда нас не стало, когда "мы", как в "Стретте", "доставлены в местность".

5.

Итак, с изумлением вглядываясь в язык и словарь Целана, я не находила им русских соответствий. И, пожалуй, последней помощью и подсказкой для меня оказалась кассета с авторским чтением. Когда я услышала голос Целана, произносящего собственные стихи, я что-то поняла — и сразу. Такого авторского чтения я не ожидала.

Естественно, это чтение не актерское, не декламация: никаких выделений, смысловых членений, звуковых эффектов, никакого желания показать товар лицом. Этого-то ожидать было как раз естественно. Поэты, как правило, этого не делают. Актерское чтение прозаично. Это, по существу, драматически раскрашенная психологическая обыденность. П. Валери, давая уроки чтения стихов актерам, предлагал им радикальное решение: не подниматься к стиху от прозы, а спускаться к нему от пения. Так поэты и делают, и мы слышим, что от пения они при этом не могут освободиться вполне, что оно владеет ими и меняет их голос, делая его чаще всего каким-то дискантом. В любом случае голос читающего собственную вещь поэта — не его голос.

Что удивляло в чтении Целана, так это свобода его голоса от лирической одержимости — вещь, как будто совершенно не предполагаемая его мощными, часто пугающими, магически темными образами. Нет, это не был уход от музыкальности, но включение другой музыки — другой и совсем неожиданной. Ровные звуковые волны; тихие, как бы снисходящие, щадящие мягкие тоны — так взрослые говорят детям.

Это произнесение мне что-то подсказало. Оно мне подсказало то, что автор этих пороговых стихов каким-то образом держит себя в руках. Что это не романтизм, не эксцесс, не агрессия, наоборот — это укрощенное сообщение. Вот что требовалось понять. Что разговор идет не в психологических категориях, как у экспрессионистов (о которых Рильке сказал, что они выплескивают на мир раскаленную лаву собственных чувств, и предметы застывают в этих случайно схваченных позах, в застывшей лаве). Что позиция Целана — это более сложная позиция, позиция уже за пределами психологического драматизма и самовыражения. Строки, разорванные в графической передаче, этот голос, не отмечая разрывов, связывал в общую ритмическую волну — в какой-то довольно простой и почти монотонный ритм. За ним и следовало идти. Не стих был единицей этого ритма, как можно было представить, читая их на бумаге. Графически это был верлибр, акустически — длинный эпический стих.

Что еще я поняла, слушая? Простоту, какую-то особую простоту, не то магическую, не то беспомощную, напоминающую детскую считалку (скажем, в "Мандорле": "Стоит там царь, царь"). Детские считалки — это ведь реликты заклинаний:

Вода — огонь —
Меня не тронь!

Никакой стихотворной ветоши, никаких поэтизмов, никаких деталей (в том числе стилистической нюансировки) допустить здесь нельзя. Заклинание деталей не видит. Можно было бы назвать целановское отношение к словарю минимализмом, если бы это слово не заняла характерная эстетическая программа. Минимализму в этом, позднем смысле Целан противоположен. Ему нужно так много, как искусство давно перестало хотеть, ему нужно все:

Погибшее было спасенным.
И сердце — как крепость, как рай.

Это Целаном сказано не о языке, не о словесности — о посещении сердца. Ему нужно не примирение с утратой, а спасение утраченного, не память об умерших, а их настоящее воскрешение.

Сиянье, которое утешить не хочет, сиянье.
Умершие, Франциск, они еще ждут подаянья.

Где поэт ожидает этого события? "В форме слова", говоря по-дантовски? Но с того, что такое форма, мы начали (см. эпиграф). "В свете утопии", как сам Целан называл это.

После опыта XX века немногие слова так пугают и отталкивают нас, как "утопия". Неужели Целан, "выживший" после исторической Утопии, не извлек, в отличие от нас, этого урока? Стоит подумать о том, что, собственно, он называл "утопией": несомненно не "прекрасный новый мир" политических программ. Скорее всего, он думал это слово этимологически: утопия — то, чему нет места, невозможное в нашем мире, невероятное. "В свете утопии" — в свете взыскания невозможного, в свете невозможности для человека жить иначе, чем в горизонте невероятного. Как до Аушвица, так и после него. "Отчаяние, — как мы уже вспоминали, — принадлежит обыденности и имеет непроясненный источник". Понизив таким образом смысловой статус отчаяния, которое так высоко вознесло искусство минувшего века, не будем, однако, отрицать, что и такого, обыденного, достаточно, чтобы убить человека. О чем каждому читателю Целана уже никогда не перестанет напоминать мост через Сену.

Краткая летопись жизни и творчества Пауля Целана

1920 23 ноября Пауль Песах Анчель родился в г. Черновицы (на тот момент Румыния, до 1918 г. — Австро-Венгрия), в еврейской семье. Мать — Фредерика (Фрейде) Шрагер, отец — Лео (Арье-Лейб) Анчель-Тейтлер.

1926—1927 Пауль учится в немецкой частной школе.

1927—1930 Учится в еврейской народной школе.

1930—1935 Учится в румынской гимназии.

1935—1938 Учится в украинской гимназии.

1938 По настоянию родителей сын собирается стать врачом. В Черновицком университете нет медицинского факультета, и Пауль через Польшу, Германию (в Берлине он оказывается наутро после "хрустальной ночи") и Бельгию добирается до Франции, где поступает в Медицинскую школу г. Тура. Знакомится здесь с испанскими республиканцами-эмигрантами, начинает писать стихи.

1939 По германо-советскому пакту Черновицы включены в состав Украины. В сентябре начинается Вторая мировая война, и приехавший на летние каникулы Пауль уже не может вернуться во Францию. Он поступает на романское отделение Черновицкого университета.

1940 28 июня в Черновицы входят советские войска, происходят массовые репрессии и депортации. С осени Пауль начинает учиться в Черновицком русско-украинском университете, читает русскую литературу, принимается за переводы стихов Есенина.

1941 5 июля в Черновицы вступают румынские и немецкие войска. Массовое уничтожение евреев. В октябре создается гетто, куда попадает и семья Анчель.

1942 В июне родителей Пауля депортируют в концлагерь Михайловка на Украине (самому Паулю удается на время скрыться). Отец умер от тифа, мать, видимо, расстреляна. В конце года Пауль отправлен на принудительные дорожные работы в трудовой лагерь Табарешты (Молдавия).

1944 В феврале Пауль возвращается в Черновицы (с 1944 г. — Черновцы). Знакомится с поэтессой Розой

© Борис Дубин, 2005
Составитель пользовался материалами Жана-Пьера Лефевра, Ларисы Найдич и Марка Белорусца.

Ауслендер (собственно Розали Беатрис Руфь Шерцер, 1901—1988) и другими еврейскими немецкоязычными поэтами Черновиц.
В апреле город вновь занимает советская армия. Пауль возобновляет занятия в Черновицком университете, переходит на английское отделение. Чтобы избежать воинского призыва, поступает работать в психиатрическую клинику помощником врача.

1945 В апреле переезжает в Бухарест, знакомится с писателем Альфредом Маргул-Шпербером, до войны работавшим в черновицкой газете. Поступает на работу в издательство "Русская книга".

1946 Переводит на румынский язык прозу Лермонтова, Тургенева и Чехова, пьесу К. Симонова "Русский вопрос".

1947 Первая публикация стихов на немецком языке в бухарестском альманахе современной поэзии "Агора" (под псевдонимом Целан, Celan — анаграмма румынского Ancel). Друг поэта Петре Соломон переводит по рукописи целановскую "Фугу смерти" на румынский (под названием "Танго смерти"). В декабре Пауль нелегально переходит румынско-венгерскую границу и через Будапешт приезжает в Вену, еще оккупированную советскими и союзническими войсками.
Пауль живет в международной зоне, знакомится с художником-сюрреалистом Эдгаром Жене, о котором пишет несколько эссе, с начинающей писательницей Ингеборг Бахман (она учится на философском факультете университета и готовит диплом по Хайдеггеру).

1948 В июле Целан переезжает в Париж, живет частными уроками, переводами романов Сименона. В сентябре в Вене выходит первый сборник целановской лирики "Песок из урн" (из-за большого количества опечаток автор запрещает издательству распространять книгу и просит уничтожить тираж, сохраняется лишь несколько экземпляров).

1949 Поступает на немецкое отделение в Сорбонну, собирается защищать диплом по творчеству Кафки (план не реализовался). Переводы из Кокто и Аполлинера. По просьбе тяжелобольного поэта и драматурга Ивана Голля (собственно Исаак Ланг, 1891—1950) переводит его французские стихи на немецкий.

1952 Читает труды Хайдеггера. По рекомендации Бахман выступает с первым публичным чтением стихов на собрании писателей "Группа 47" в Нинсдорфе (ФРГ). Женитьба на французской художнице Жизель Лестранж. Выход сборника стихов "Мак и память" (эта и все другие его книги публикуются в ФРГ).

1953 Рождение сына Франсуа (через день он умирает). Вдова Ивана Голля Клер развязывает многолетнюю кампанию против Целана с обвинениями его в плагиате.

1954 Целан переводит Чорана и Пикассо.

1955 Выход сборника стихов "От порога к порогу" (с посвящением Жизель). Рождение сына Эрика. Целан получает французское гражданство.

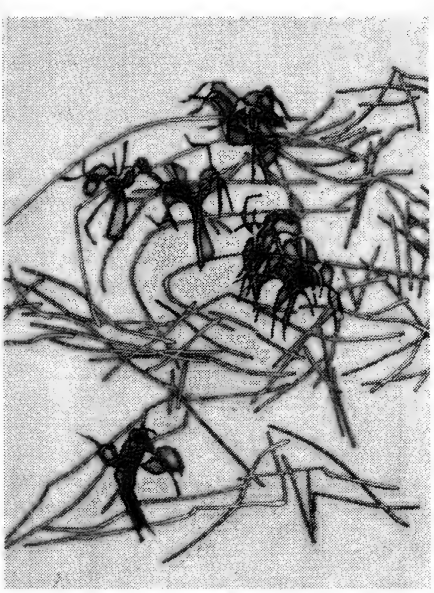
1956 Перевод сценария документального фильма Алена Рене о концлагерях "Ночь и туман" (французский текст Жана Кейроля). Перевод стихов Фернандо Пессоа. Литературная премия Конфедерации немецких промышленников.

1957 Выступления в Бремене и Штуттгарте. Завязывает переписку с немецкой поэтессой Нелли Закс (она с 1940 г. живет в Швеции).

1958 Литературная премия города Бремена. Перевод "Пьяного корабля" Рембо, "Двенадцати" Блока, начало работы над переводами Мандельштама.

1959 Выход книги стихов "Решетки языка". Переводы Мандельштама, Малларме, Шара. С сентября преподает немецкий язык и литературу в парижской Эколь нормаль.

1960 Серия антицелановских статей и фельетонов, подхватывающих клеветнические измышления Клер Голль. Целан публикует поэму в прозе "Разговор в горах", переводит поэму П. Валери "Юная Парка". Встречи с Нелли Закс в Цюрихе, а затем в Париже (позже Целан навещает поэтессу в шведской психиатрической клинике). Текст для передачи немецкого радио "Поэзия Осипа Мандельштама". В Дармштадте Целану вручается премия Немецкой академии языка и литературы (премия Бюхнера), на церемонии он произносит речь "Меридиан".



Иллюстрации Жизель Целан-Лестранж к сборнику Пауля Целана "Кристалл дыхания" (1965)

1961 Публикация переводов из Есенина и Эмили Дикинсон.

1962 В переводе Целана публикуется поэма Евтушенко "Бабий Яр". Обмен письмами между Целаном и Надеждой Мандельштам. Целан читает в старой пражской антологии "Ковчег" стихи Марины Цветаевой (его особое внимание привлекает "Поэма конца"), а также присланный из Москвы сборник "Тарусские страницы".

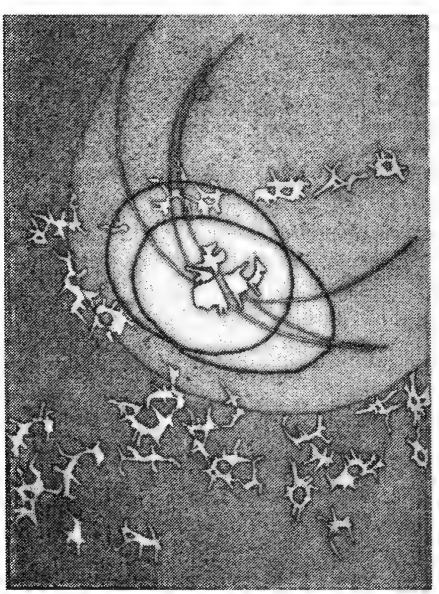
1963 Сборник стихов "Роза Никому", посвященный памяти О. Мандельштама.

1964 Присутствует в Ганновере (ФРГ) на открытии выставки Жизель Лестранж. Получает в Дюссельдорфе большую художественную премию земли Северный Рейн-Вестфалия.

1965 Лечится в психиатрической клинике. Отдельное издание цикла стихов "Кристалл дыхания" с гравюрами Жизель Лестранж.

1966 Лечение в психиатрической клинике. Выступает с чтением стихов в Цюрихе, в Гамбурге читает переводы из Блока и Анри Мишо.
На музыкальном вечере в Москве исполняется вокальный цикл композитора Филиппа Гершковича (выходца из Румынии, учившегося в Австрии) на стихи Целана.

1967 Переживает тяжелый душевный кризис, после покушения на жизнь жены несколько недель проводит в психиатрической клинике. В июле выступает с чтением стихов в Фрайбурге, знакомится с Хайдеггером, гостит у него в



Иллюстрации Жизель Целан-Лестранж к сборнику Пауля Целана "Черный мыт" (1969)

Тодтнауберге. Книга стихов "Поворот дыхания". Выступления во Франкфурте и Берлине. Переводы из Хлебникова, издание сонетов Шекспира в переводе Целана. С ноября живет в Париже один.

В московской антологии "Строки времени" публикуются первые переводы стихов Целана на русский язык.

1968 Публикация стихотворения "Тодтнауберг", посвященного Хайдеггеру. Поездка к родственникам в Лондон. Следит за студенческими волнениями в Париже. Переводы стихов Андре Дю Буше, Жюля Сюпервьеля, Унгаретти. Вместе с французскими друзьями-поэтами (Ивом Бонфуа, Жаком Дюпеном, А. Дю Буше и другими) издает журнал "Эфемер". Во Франкфурте выходит сборник "Нити солнц" и том "Избранных стихотворений".

1969 Отдельное издание цикла стихов "Черный мыт" с гравюрами Жизель Лестранж.
Выступления в ФРГ. В сентябре—октябре поездка в Израиль по приглашению Союза писателей, встреча со старой черновицкой знакомой Иланой Шмуэли. Цикл стихов об Иерусалиме.

1970 В марте выступление со стихами на Гёльдерлиновской конференции в Штуттгарте, чтение стихов Хайдеггеру во Фрайбурге. Последнее письмо Целана Илане Шмуэли помечено 12 апреля, последнее стихотворение в рукописях поэта носит дату 13 апреля.
Ночью с 19 на 20 апреля Пауль Целан покончил с собой, бросившись в Сену, видимо, с ближайшего к его дому моста Мирабо. Его тело обнаружено 1 мая в 10 километрах от Парижа, 12 мая состоялись похороны на пригородном кладбище Тье.
Посмертно выходят книги стихов Целана "Давление света" (1970), "Удел снега" (1971), "Подворье времени" (1976).

Составил Борис Дубин

Ван Мэн: "Чувствую, что попал к старым друзьям"

Запись беседы и вступление С. Торопцева

Отечественным читателям имя китайского писателя Ван Мэна не слишком известно. Впрочем, как и китайская литература в целом, к которой не только читатели, но и определяющие их вкусы издатели относятся скептически и довольно высокомерно — чего не скажешь о пятидесятых годах, когда существовала страстная взаимная любовь между советской и китайской литературами, но тогда художественные вкусы диктовалась политиками.

Именно в пятидесятые и начинал свой писательский путь Ван Мэн, рано ощутивший на себе тяжелую руку власти: в его первых рассказах "Зимняя морось" и "Новичок в орготделе" партийная цензура усмотрела недопустимый отход от "революционного реализма" (близкого родственника нашего соцреализма), требовавшего неукоснительного соблюдения канона "идеального героя" — образца для подражания. А молодого писателя тянуло к изображению человека, к познанию глубин его души и побуждений к действию — пусть социально значимому, но вызванному к жизни личным импульсом, а не внешним давлением. "Ядовитым травам" Ван Мэна посвятила жесткую и резкую статью главная газета Китая "Жэньминь жибао". Так именно по политическим причинам имя Ван Мэна и стало известно гражданам Китая, а также сопредельных и более отдаленных стран — можно сказать, не столько как писателя, сколько как антиписателя. Ван Мэн был исключен из партии и с ярлыком "правого ревизиониста" на два десятилетия выслан для "трудового перевоспитания" на западную окраину страны — в глушь Синьцзяна.

Многих в Китае сломали подобные политические "кампании перевоспитания", вылившиеся в итоге в печально известную "культурную революцию". Многих — но не Ван Мэна.

Реабилитированный в конце семидесятых годов, он вернулся в Пекин и опубликовал подряд "Воздушного змея и ленту", "Грезы о море", "Мотылька", "Взгляд в ночь" (в русском переводе "Ночью в большом городе"), "Весенние голоса" — рассказы и повести, потрясшие страну. Такого китайские читатели еще не читали. Сюжет был отодвинут на второй план, а на первый вышли побуждения героев, секреты их психики, личное восприятие того или иного события, благодаря которому оно из объективного и однозначного превращалось в субъективное и потенциально множественное. По страницам этой новой прозы прихотливо текли "потоки сознания", что приводило одних читателей в восторг, других — в недоумение, третьих — в возмущение (такой отход от "нормы" привычно приписывался "влиянию американского империализма").

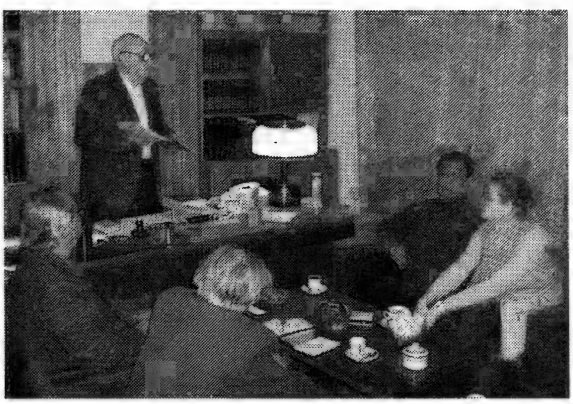
Как раз в то время Ван Мэн появился в "Иностранной литературе": в 1981 году в № 11 был опубликован рассказ "Ночью в большом городе"; в 1984 году два его рассказа вошли в очередной том "Библиотеки 'Иностранной литературы'"; в 1986 году в № 9 была напечатана большая подборка его рассказов.

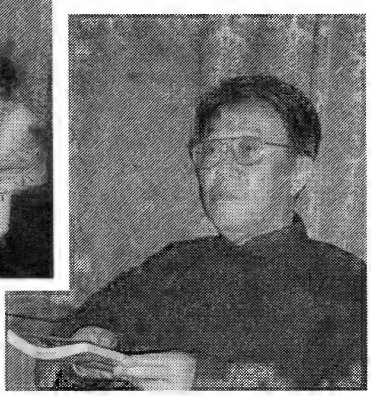
В 2004 году майский номер журнала открылся повестью Ван Мэна "Мертвеющие корни самшита".

Сегодня Ван Мэн — не просто маститый писатель (в издательстве "Жэньминь вэньсюэ" выходит 23-томное собрание его сочинений; за последние годы в разных странах появилось 155 переводных изданий; в России в 1988 году было напечатано "Избранное", в 2004 году вышел прозаический сборник "Следы на склоне, ведущие вверх"), но и общественный деятель: заместитель председателя Союза китайских писателей и китайского ПЕН-клуба, несколько лет исполнявший также обязанности министра культуры и до сих пор находящийся в ранге государственного министра Китая. В ноябре 2004 года Ван Мэн посетил Россию; в Институте Дальнего Востока ему был вручен диплом Почетного доктора.

В конце 2004 года писатель вместе с известными китаеведами Д. Н. Воскресенским и Ю. М. Галеновичем был в гостях у редакции журнала "Иностранная литература".

"Иностранная литература". Господин Ван Мэн, вы спрашиваете, что интересует наш журнал. После "культурной революции" связи резко оборвались, у нас мало информации. Может быть, вы нам расскажете, что происходит в китайской литературе, на что стоит обратить особое внимание?





Ван Мэн. В Китае сейчас весьма оживленная литературная ситуация, на нее сильно влияют рыночные отношения. Многие писатели старшего поколения разочарованы, по их мнению, то, что рынок выталкивает на поверхность, не настоящая литература. Но я ни на кого не сержусь, мои произведения никогда не пользовались особым успехом на рынке. В Москве в свое время был опубликован мой роман "Метаморфозы" в переводе Воскресенского тиражом в 100 тысяч экземпляров, а в Пекине было издано всего 29 тысяч. Когда в 1989 году министр иностранных дел Советского Союза Шеварднадзе приехал в Пекин, китайский министр иностранных дел Цянь Цичэнь дал в его честь обед в резиденции Дяоюйтан, где я тоже присутствовал, и Шеварднадзе воскликнул, обращаясь ко мне: "О, товарищ (это слово Ван Мэн произносит по-русски) Ван Мэн". Я ответил ему: "В Китае мой роман вышел тиражом в 29 тысяч, а в Москве — 100, так что я теперь должен писать для советского читателя!"

Дмитрий Воскресенский. Но деньги за тираж получил не я, а редакция.

1. Счастливым (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. С. Торопцева.*)

ВМ. Знаю, знаю... Мне тогда дали так много журналов с моими публикациями, я чувствую себя lucky[1] от того, что меня здесь знают. Сейчас я пишу серию микрорассказов, всего их будет триста с чем-то. Не обязательно, конечно, печатать все триста, но рассказов тридцать — на ваше усмотрение — можно бы перевести.

Д. В. Это имеет какое-то отношение к вашей книге "Моя философия жизни"?

ВМ. Нет. "Философия жизни" напечатана на Тайване традиционными иероглифами, переведена в Малайзии, Южной Корее.

Д. В. А в Сингапуре?

ВМ. В Сингапуре — нет. Я бы хотел представить вам нескольких писателей. Вот, например, хорошо известная Торопцеву Те Нин из провинции Хэбэй, Ван Аньи из Шанхая, есть интересный харбинский писатель, несколько молодых — тридцатилетних, Чэнь Чжань из Пекина.

Сергей Торопцев. А как вы относитесь к Цань Сюэ?

ВМ. Это особенная писательница.

Д. В. Женская литература сейчас очень сильна в Китае. По крайней мере есть с десяток талантливых женщин.

ВМ. Много хороших писателей, живущих на северо-востоке Китая, они пишут о деревне, и все, что они описывают, близко России.

Д. В. Это что — почвенничество?

ВМ. Не сказал бы. На юге, в провинции Хэнань, есть писатель Чжан Юй, он изображает жизнь воришек, взаимоотношения старого полицейского и женщины-воровки, это вроде итальянской серии "полицейские и воры", больше всего любят такие произведения французы — как бы в духе неореализма. Я читал, что в России тоже поднялась волна неореализма. А есть еще поколение совсем юных, двадцатилетних, так сказать, компьютерная литература.

Д. В. Вы имете в виду Ван Шо?

ВМ. Нет, других, еще моложе. Они пишут о наркотиках, сексе.

"ИЛ". Вас переводят на иностранные языки?

Д. В. Очень много.

ВМ. Да, много переводят в Германии; во Франции в 2004 году к Году Китая выпустили четырехтомник, из которого два тома — синьцзянская проза, какая-то часть микрорассказов тоже вошла туда, эта подборка была названа "Смеюсь, но не отвечаю". Китайские журналы любят такие маленькие истории.

"ИЛ". Вы много путешествуете?

ВМ. В этом году уже в третий раз выезжаю, всего был в пятидесяти странах, и в Европе, и в Африке, десять раз был в Америке, жил там два года. В Италии недавно издали мой словарь китайских идиоматических выражений с современным комментарием.

С. Т. Свое лучшее произведение "Чалый" Ван Мэн написал в Америке.

"ИЛ". А вот такой вопрос: китайские писатели чувствуют какое-то давление со стороны властей? У нас до перестройки была масса всяких начальников, упаси бог, напечатать что-нибудь, что "там" не понравится. А последние пятнадцать лет никаких начальников нет.

ВМ. Сейчас в Китае ситуация, можно сказать, благоприятная, как правило, китайские писатели не испытывают никакого давления. Китайские руководители приобрели опыт: если какое-то опубликованное произведение им не нравится, лучше не критиковать, потому что потом весь мир станет говорить, что в Китае началось давление, а это только лишние хлопоты, но с издателем они поговорят.

С. Т. У нас есть такое понятие, как "внутренний редактор". А есть ли оно у китайских писателей?

ВМ. Положим, какой-нибудь писатель изображает ужасную жизнь деревни, ее беспросветную бедность; в издательстве читают и понимают, что руководству это радости не принесет, — они сами не станут такое издавать. В Китае очень много частных университетов, но ни одного частного издательства. Правда, существуют издательства, которые специализируются на "пиратских изданиях", кроме того, есть книжные ярмарки, Интернет. Плохо то, что западные СМИ, даже еще не прочитав, восхваляют то, что не находит одобрения у китайского руководства. Они сразу объявляют подобного автора самым лучшим, начинается его "раскрутка". В Берлине таких "раскрученных" спросили: "Вы не боитесь возвращаться, в Китае с вами ничего дурного не случится?" Те ответили: "В Китае — реформы и открытость". Можно сказать, сейчас противостояние властей и творческих людей довольно мягкое.

"ИЛ". Вы освоили компьютер?

ВМ (*с усмешкой*). Конечно. Перед поездкой я по Интернету посмотрел, какая погода в Москве. Вот визитные карточки с моим электронным адресом.

"ИЛ". В нашем журнале существует Международный совет. Это такие писатели, как Гюнтер Грасс, Морис Дрюон, Милан Кундера, Артур Миллер, Кэндзабуро Оэ. Если мы предложим вам стать членом нашего Совета...

ВМ. Спасибо, спасибо, это хорошая мысль. Лет пятнадцать назад Айтматов[1] прислал мне письмо с предложением войти в Совет. Но в то время я был министром культуры, а в отношениях между Китаем и Советским Союзом существовало немало трудностей, и я с сожалением вынужден был отказаться. Сейчас никаких проблем не существует, и это будет честью для меня.

"ИЛ". Значит, вы у нас будете представителем китайской литературы, и от вас во многом будет зависеть, что мы опубликуем.

ВМ. Китайские писатели очень интересуются современной русской литературой. Перед поездкой я выяснял, какова ситуация в трех самых крупных издательствах Пекина, Шанхая и Нанкина, попросил дать списки того, что они издали из русской литературы за последнее десятилетие. Оказалось более двухсот наименований, включая, конечно, русскую классику, но и современных писателей тоже немало.

Юрий Галенович. Я недавно был в Пекине и слышал разговоры о том, что "общество малого благосостояния", которое сейчас строится в Китае, становится "обществом гармонии". Что вы об этом скажете?

ВМ. "Общество гармонии" надо понимать как более спокойное состояние общества. Это решение последнего съезда партии. В Китае двести лет непрерывно происходили столкновения, войны, революции, менялись политические движения... Слишком много всего этого!

"ИЛ". А есть сейчас в Китае аналог "Иностранной литературы"?

ВМ. Да, главных два: в Пекине "Шицзе вэньсюэ" ("Мировая литература") и в Шанхае "Вайго вэньсюэ" ("Иностранная литература").

"ИЛ". Как вы чувствуете себя в Москве?

ВМ. Очень рад быть здесь. Чувствую, что попал к старым друзьям.

1. В те годы Чингиз Айтматов был главным редактором "ИЛ".

Издательские планы

Беседу с переводчиками ведет Светлана Силакова

"В *художнике поэт ищет собеседника, но не зеркало*"

Пространство другими словами: Французские поэты XX века об образе в искусстве / Составление, вступительная статья, переводы и справки об авторах Бориса Дубина. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха.

На вопросы "ИЛ" о сборнике эссе и лирической прозы отвечает его составитель, переводчик и комментатор Борис Владимирович Дубин.

"ИЛ". Как родилась идея книги?

Борис Дубин. Любое "начало" — вещь далекая и туманная. Примерно с 1989 года многие неожиданно для себя начали думать о современности и все активней писать о ней в прессе. И вот я, вместе со всеми, поглощавший тогда десятки газет, стал чувствовать: в публично-печатной сфере все чаще не хватает средств, чтобы осмысленно выразить ощущение новизны и опыт сдвига в самых разных областях жизни — все, чем тогда жил и я сам, и люди вокруг. Я принялся рыться в зарубежной эссеистике. С одной стороны, я искал авторов, которые в свое время остро пережили "вход" в современную эпоху — состояние неустойчивости, промежуточности, центробежной взрывчатости смысла, многоголосия мира (отсюда мой интерес, скажем, к Пасу, Милошу, Сонтаг). С другой стороны, мне требовались такие фигуры речи и мысли, которые нужны нам, когда наши способности сталкиваются с чем-то совершенно немыслимым, неописуемым. Так я начал читать Чорана и Бланшо, прозу французских поэтов, в частности, их эссе о живописи, скульптуре, пространстве, месте образа в современной культуре. Постепенно выкристаллизовалась идея антологии. В нее вошли тексты поэтов XX века, от Гийома Аполлинера, который умер от ран, полученных на Первой мировой, до нашего современника Мишеля Деги, у которого только сейчас вышла первая книга на русском языке. Заглавие с согласия автора я взял у Жака Дюпена: сборник его эссе называется "Пространство другими словами".

"ИЛ". Почему именно во Франции поэты так заинтересовались визуальными аспектами искусства? Чем это обусловлено: местными культурными традициями или некой глобальной тенденцией, которая ярче всего проявилась именно во Франции?

Б. Д. Аналитика зрения и зримого, способности видеть — самая основа философии Нового времени. Эта линия тянется от Декарта и Беркли и уходит в наши дни. Сегодня наиболее последовательно ее проводит Ив Бонфуа и в очерках об искусстве XVII столетия, и в своей

философии образа (в том числе фотографического), и в художественной прозе.

Тот факт, что именно во Франции родились и новое изобразительное искусство (импрессионизм), и новый способ изображения видимого мира (фотография), кажется мне отнюдь не случайным.

"ИЛ". Появление импрессионистов — лишь начальная фаза того долгого периода, когда Франция была мировым центром новаторского искусства.

Б. Д. Да. И что важно — не только изобразительного, но и словесного. Собственно, само представление о современном, "сознание модерности" связано с актом ви́дения, с изображением (зримый мир, оче-видность ставятся под вопрос). Сотрудничество поэта и художника, вместе работающих над книгой или выставкой, начинается как раз в середине 70-х годов XIX века с дуэта Малларме и Мане — первый перевел "Ворона" Эдгара По, а второй сопроводил эту публикацию своей графической сюитой.

Вот еще одно обстоятельство первостепенной важности: современное искусство интернационально. В Париже трудились и трудятся испанцы и венгры, латиноамериканцы и русские. Эти люди составляют цвет мирового и французского искусства. Поэтому французские поэты посвящали свои эссе кубинцу Вифредо Ламу и китайцу Цзаовуки, немцу Беллмеру и итальянцу Кирико...

Говоря о Франции как средоточии творческой жизни, нельзя забывать, что всякий современный художник, всякий современный поэт непременно является и "теоретиком", и "критиком". То есть одновременно с художественной практикой развивалась критическая теория искусства.

"ИЛ". В чем отличие текстов "о живописном образе", написанных поэтами, от искусствоведческого дискурса?

Б. Д. Эссе, которые я переводил, — произведения поэтов, и многие из них могут и должны фигурировать, а нередко и реально фигурируют в книгах поэтов, в книгах их стихов (грани между жанрами в нынешнем искусстве, впрочем, вполне условны). Это значит, что авторы при этом не столько анализируют работу художника, сколько пытаются создать ее эквивалент, как бы откликнуться на творческий шаг собрата собственным творческим шагом, "проиллюстрировать" его своими словами. Так работают мастера в музыкальном ансамбле: послушайте, как подхватывают друг друга в дуэте Клара Хаскил и Артюр Грюмьо или в трио — Рихтер, Ойстрах и Ростропович.

"ИЛ". Какова внутренняя структура антологии? Кем вы себя чувствовали, выстраивая сборник: хроникером, которому нужно соблюсти последовательность событий, или музейным куратором, ищущим идеальное место для каждой картины?

Б. Д. Линейно-хроникальный подход, может быть, не очень-то и соразмерен XX веку. Эта антология скорее подобна кристаллу, где важна, с одной стороны, многогранность, а с другой — неизменно присутствующий, но каждый раз особый угол преломления света. Я также сравнил бы ее с калейдоскопом. Мне хотелось представить современную точку зрения на старых, канонизированных мастеров (Пуссена, Латура) и на новейших, подчеркнуто неканонических авторов (Тапиеса), на живопись и графику, фотографию и скульптуру, на фигуративное искусство (скажем, Бальтюса) и полных беспредметников (наподобие Вольса).

"ИЛ". У каждого времени свой перечень старых мастеров, которых оно воскресило из небытия. О духе эпохи это говорит не менее красноречиво, чем ее собственные художественные достижения...

Б. Д. Данная антология предоставляет богатый материал для такого перечня. XX век заново пережил барокко — и в искусствоведческой теории, и в живописной практике. Например, для Ива Бонфуа центральной фигурой европейского искусства Нового времени стал Караваджо. Если говорить о почти забытых именах, то Бонфуа и Дю Буше привлекли наше внимание к голландскому пейзажисту первой трети XVII века Херкулесу Сегерсу.

"ИЛ". Часто ли авторы сборника вас удивляли? Возможно, кто-нибудь из поэтов похвалил художника, который теоретически никак не должен был ему понравиться.

Б. Д. Да, такое случалось не раз. Скажем, воинствующий классицист в поэзии и поэтической теории Франсис Понж, известный скрупулезными стихотворными описаниями вещного мира, с большой симпатией написал о беспредметнике Оливье Дебре, чьи работы — это большие, иногда огромные поверхности, ровно закрашенные синей или зеленой краской сочных оттенков. Сюрреалист и сновидец Робер Деснос, любитель словесных игр и низких, "уличных" жанров искусства, посвятил свое эссе, представьте себе, пейзажам Констебля. Поэт, я думаю, ищет в художнике (как и в мире вообще) собеседника, а порой и противовес себе, но никак не зеркало.

"ИЛ". Не все участники сборника известны в России...

Б. Д. Я бы сказал, что все вошедшие в книгу авторы (за исключением, быть может, Аполлинера, отчасти Беккета и Арто, но, представляется, даже их слава основана скорее на слухах, чем на подлинном знании написанного ими) не слишком хорошо известны. В еще большей мере это относится к художникам, о которых они пишут. Лишь в самое последнее время на русском языке появились, но пока еще, кажется, по-настоящему не прочитаны книги Лейриса и Мишо, Бонфуа и Дю Буше. Ряд поэтов представлен Михаилом Ясновым в собранной им антологии сюрреализма. Но многие ли русские читатели осознают истинный масштаб таких лириков, как Пьер Реверди и Рене Шар? Из имен почти совсем неизвестных назову глубокого поэта и прозаика, поразительного человека Жоэ Буске (1897–1950).

"ИЛ". Поэт и художник-иллюстратор вместе создают книгу. Что представляет собой это сотворчество в описываемом вами культурном пространстве?

Б. Д. Это никак не похоже на традиционные "иллюстрации". Художник ничего не "изображает", а поэт ничего не "описывает": новое искусство, за редкими исключениями, вообще не фигуративно, а поэзия как правило — не повествовательна. Французский историк искусства Ив Пейре, выпустивший в 2001 году объемистую иллюстрированную монографию о взаимоотношениях живописи и поэзии, называет эту форму взаимодействия "диалог через книгу" ("le dialogue par le livre"). Художник вносит в книгу поэта, внутрь самого текста или на поля рядом с ним знаки предметности, иероглифы вещности, некие отсылки к видимому и осязаемому (точнее — к самой способности зрения), а текст поэта становится и даже выглядит на странице чем-то вроде смысловой тропки между этими знаками, идущей вокруг них, мимо них. И еще одно: рабо-

тая дуэтом, они возрождают "ручное", "штучное" производство, любовно отделывают свою общую "вещь".

"ИЛ". Многие из поэтов, чьи произведения включены в сборник, сами были художниками. Отразилось ли это на их мировосприятии и творческом пути?

Б. Д. Живописью увлеченно занимались Деснос, Шар и некоторые другие. У них интересные работы. Но нагляднее всего эта двуприродность и даже полиморфность проявилась у Анри Мишо, который стоит особняком. Кстати, к рисованию он пришел, испытав шок от выставки Пауля Клее. С одной стороны, Мишо преображал живопись в акт письма, вытягивал изобразительные знаки в своего рода строчки и видел свою задачу в том, чтобы "передавать мгновения, которые звено за звеном и составляют жизнь, изображать внутреннюю фразу, единую фразу, неделимую на слова, — бесконечно вьющуюся, змеистую нить, втайне сопровождающую все, что видится, равно как и все, что скрыто, <...> изображать сознание происходящего, бег времени". А с другой стороны, он и "литературу" — особенно в записях своих наркотических видений или гротескных фантазий — претворял во что-то внелитературное, подрывал ее линейный характер, узнаваемую выпуклость образов и т. п.

"ИЛ". А каковы ваши впечатления от литературных произведений, написанных художниками?

Б. Д. Если говорить только о тех художниках, которые стали "героями" обсуждаемой нами книги, — любопытную прозу писал Кирико. Несколько глубоких сновидческих новелл оставил Джакометти. Известны — в том числе и русскому читателю — стихи Пикассо. Не раз обращались к прозе Ханс Беллмер и Пьер Алешинский, незаурядным прозаиком был Андре Массон. Так что вполне можно было бы составить — в параллель к нынешнему сборнику — книгу литературных сочинений французских или, точнее, работавших во Франции художников XX века. И что замечательно — чаще всего это описания сновидений. "Мы созданы из вещества того же, что наши сны"...

"Писатель пребывающий"

Лоренс Даррелл *Венера Морская*[1] / Перев. с англ. Вадима Михайлина и Екатерины Ракитиной. — М.: Б.С.Г.-пресс.

О путевой прозе Лоренса Даррелла, одного из крупных английских писателей XX века, на наши вопросы отвечал исследователь его творчества, переводчик "Александрийского квартета" и ряда других произведений этого автора Вадим Михайлин.

"ИЛ". Как вы открыли для себя Лоренса Даррелла?

Вадим Михайлин. По чистой случайности. В позднесоветском информационном вакууме у читателя вырабатывался ряд критериев, которые позволяли с первого взгляда отличить хорошую литературу от плохой, даже если имя автора тебе совершенно незнакомо. Одним из таких

1. Название рабочее.

критериев служило издательство. Элиотовский "Faber", как правило, марку держал. Вот я и купил в Московском букинисте на улице Качалова второй роман "Квартета" — "Бальтазар". А потом уже целенаправленно искал остальные книги, защитил диссертацию по Даррелу, стал переводить.

"ИЛ". Отрадно было узнать, что вслед за художественными произведениями Даррелла у нас начинают издавать и его публицистику. Можно ли сказать, что Даррелл уже стал в России "своим"?

В. М. Года два назад я не задумываясь ответил бы на этот вопрос отрицательно, хотя русский перевод "Александрийского квартета" — самой сильной и знаменитой дарреловской книги — вышел вторым изданием, а "ИЛ" в ноябре 2000 года опубликовала "Литературный гид" по Даррелу, куда помимо всего прочего вошел журнальный вариант мемуаров "Горькие лимоны"... Но за последнее время, как мне кажется, произошел качественный скачок: Даррелом заинтересовалась широкая публика. Главная причина в том, что "Симпозиум" переиздал "Квартет" в новом формате: тетралогию "рассыпали" на отдельные книжки и вывели за пределы слишком академичной для широкого читателя "черной серии". В результате "Квартет" начали читать все — так сказать, и студенты, и секретарши. Возник спрос на еще неизвестные тексты Даррелла. Сейчас уже опубликованы оба романа дилогии "Бунт Афродиты" рубежа 60—70-х годов "Tunc" и "Nunquam"[1], а также первый роман из последнего дарреловского гигантского цикла "Авиньонский квинтет"... Правда, на мой вкус, вещи эти и значительно претенциознее, и в то же время несравненно слабее "Квартета". А вот что действительно следует перевести, так это "Черную книгу", первый "серьезный" роман Даррелла... В общем, Даррелла стали переводить и издавать достаточно широко, а значит, и для его путевой прозы наверняка найдется свой читатель.

"ИЛ". Допустимо ли, говоря о Даррелле, выделять его "путевую прозу" в отдельную категорию? Кстати, он писал о самом себе: "Я не столько 'писатель путешествующий', сколько 'писатель пребывающий'. Мои книги всегда повествуют о жизни в том или ином уголке мира... Каждый сам находит для себя 'созвучия' — ландшафты, где в тебе внезапно начинают бить ключом новые мысли". По-видимому, Даррелл стремился не столько к скитаниям, сколько к обретению рая за пределами нелюбимой Англии: об этом свидетельствует хотя бы вышеупомянутая "Черная книга"...

В. М. Каждый пишущий всерьез так или иначе пишет всю жизнь одну и ту же книгу. Тем более если этот пишущий, подобно Даррелу, очень любит обыгрывать разные уровни субъективности письма...

"ИЛ". Сильно ли отличается герой-повествователь путевой прозы Даррелла от его alter ego в прозе художественной?

В. М. При всей разнице интонаций и интенций повествователь "Горьких лимонов" или "Венеры Морской" позволяет лучше понять образ Л. Г. Дарли из "Александрийского квартета" — и наоборот. Но учтите одно важное обстоятельство: Даррелл терпеть не мог Александрию — но свою лучшую книгу написал именно о ней. А все те места (или почти все), о которых рассказывает его путевая проза, — места действительно им любимые. Даррелл как никто другой умел воссоздавать (и отчасти придумывать) неповторимый "дух места". И "зазор" между "раз-

1. Их названия вместе образуют латинское словосочетание "Tunc nunquam".

драженным нервом" и искренней любовью – источник невероятной энергетики его текстов.

"ИЛ". В письме к Генри Миллеру Даррелл признался, что его путевая проза – этакое "литературное огородничество", которым он занимается лишь потому, что "НЕ В СОСТОЯНИИ ВСЕ ВРЕМЯ ПИСАТЬ НАСТОЯЩИЕ КНИГИ" (так у Даррелла, – *ИЛ*). Правда, в ту пору еще не было ни "Венеры Морской", ни "Горьких лимонов". Согласны ли вы с его утверждением – или Даррелл был к себе слишком строг?

В. М. Нет, не слишком строг. Он – в ту пору – прекрасно отдавал себе отчет в том, что не может постоянно работать на самом высоком уровне. И не хотел терять контакта с читателем. А путевая проза – отчасти еще и ключ к лаборатории, куда "сваливались" литературные приемы и варианты, а порой и целые сцены, не пошедшие, скажем, в тот же "Квартет". Причем на мозаичном фоне этого архива сам "Квартет", подобно удачно освещенному бриллианту, начинает "играть" по-другому.

"ИЛ". Каково же истинное место "Венеры" и "Лимонов" в творческой биографии Даррелла?

В. М. Промежуточное. И по времени, и по уровню. Эти вещи написаны в хорошую пору, написаны легко и любовно о том, что Даррелл по-настоящему знал. Понятно, что "Венера" – не "Квартет". С другой стороны, она лучше, чем поздние его вещи, когда он слишком уверовал в себя как в гуру, что, полагаю, и погубило в нем подлинного писателя. Хотя бывали у него и раньше откровенные поделки: "для славы для денег для моих подружек – почему бы и нет?"

"ИЛ". "Венера Морская", вышедшая в 1953 году, повествует о жизни Даррелла на греческом острове Родос в 1945–1947 годах. Ее подзаголовок – "Проводник по пейзажу Родоса". Устами некоего Миллза Даррелл в этой книге выражает свое литературное кредо: описывать "не историю, не мифы, но язык и атмосферу – как уж вы этого достигнете, ваше дело". А что еще есть в "Венере", помимо пейзажа и атмосферы?

В. М. Ну, истории и мифов там все равно хватает. Кроме того, Даррелл – как и везде, собственно, – пишет о себе и своем окружении, в том числе и о греческих поэтах. А пейзаж и атмосфера – просто фирменный даррелловский брэнд.

"ИЛ". В "Венере Морской" Даррелл от имени другого своего колоритного персонажа ввел в мировой обиход понятие "островомания" (islomania). "Островоманы", дескать, могут быть счастливы только на островах, поскольку ведут свой род с Атлантиды.

В. М. Ну, это миф, который Даррелл отчасти сам о себе и создавал. В Афинах, в обществе друзей-поэтов Сефериса и Кацимбалиса ему было не в пример комфортнее, чем на Корфу с безумными родственниками. А в Провансе куда комфортнее, чем на Кипре.

"ИЛ". Насколько актуален в наше время писатель Лоренс Даррелл как в англоязычном мире, так и за пределами оного?

В. М. Англичане Даррелла традиционно не любят. Он для них "нарочито" изыскан. Как написал один британский критик, "Даррелл может писать хорошую простую прозу, но не слишком часто того хочет". А для современного английского вкуса один из приоритетов в литературе – это именно хорошая простая проза. В общем, Даррелл всю жизнь старался держаться подальше от родной Англии, а теперь она платит

ему той же монетой. Французы же, испанцы и немцы его, как правило, весьма ценят. А теперь, надеюсь, и русские.

"ИЛ". Находите ли вы что-то общее между братьями-писателями Даррелламы?

В. М. Да, их многое объединяет. Фамильное чувство юмора. Авантюрные наклонности. И упомянутое выше стремление держаться подальше от родины. Даже свой зоопарк младший Даррелл устроил в самой неанглийской части Англии — на острове Джерси.

"ИЛ". Если задуматься о читателях их книг, складывается впечатление, что Лоренс и Джеральд поделили аудиторию между собой, так сказать, кинув монетку.

В. М. Думаю, что выбор сделал Лоренс, а Джеральд подобрал то, что оставил на его долю старший брат: более традиционную путевую прозу, научно-популярные "заметки натуралиста"...

"ИЛ". Расскажите, пожалуйста, о вашем соавторе по переводу "Венеры Морской".

В. М. Екатерина Ракитина — преподаватель Саратовского государственного университета, переводчик с английского. Для издательства "Росмэн" перевела роман Джоан Барфут "Тяжкие повреждения", вышедший в "букеровской" серии. Саратовские театры ставили "Аркадию" Стоппарда и "Вестсайдскую историю" в ее переводах.

Роман о потомках мадам Баттерфляй

Масахико Симада *Канон, звучащий вечно* (трилогия)[1] / Перев. с японск. Е. Тарасовой. — М.: "Иностранка".

О новом романе известного прозаика — "японославянина", как назвал его когда-то Григорий Чхартишвили[2], — рассказывает Екатерина Тарасова.

Екатерина Тарасова. Масахико Симада родился в 1961 году в Токио. В двадцать два года, еще студентом (кстати, по образованию он русист), Симада буквально проснулся знаменитым: его рассказ "Дивертисмент для добрых леваков" вызвал большой общественный резонанс и даже, можно сказать, стал манифестом поколения 80-х. Однако слава не вскружила голову молодому писателю — он не стал почивать на лаврах. За последние двадцать лет Симада опубликовал около тридцати произведений. Перечислю лишь самые значительные: "Хиган-сэнсэй" (литературная премия Кёка Идзуми), "Я — имитация человека", "Повелитель снов"...

"ИЛ". Для современных японских писателей такая "производительность труда" — обычное явление?

Е. Т. Напряженный темп жизни, огромные массивы информации, внимание преданных читателей — все требует того, чтобы писатель не давал себе передышки. С другой стороны, сколько бы новых книг автор ни выпустил за год, в Японии трудно зарабатывать на жизнь одной ли-

1. Название рабочее.
2. Г. Чхартишвили. Невыносимая тяжесть легкости / "ИЛ", 1993, № 5, с 243.

тературой. Особенно если речь идет о настоящей литературе, а не о массовом чтиве. Даже Симаде, при всей его известности, приходится совмещать писательство с преподаванием в университете. Немаловажно и личное кредо Симады: "Мозг стареет, если зацикливается на чем-то одном". Помимо художественных произведений, Симада пишет кулинарные книги; сочинил либретто к опере "Баттерфляй-джуниор", которая поставлена по его вышеупомянутой трилогии; снимается в кино, причем порой с довольно откровенными сценами (одну из картин, кстати, снял известный в России писатель Рю Мураками), поет, озвучивает рекламные ролики. На телевидении Симада появляется не только в качестве интеллектуала, дающего оценку актуальным событиям, но и в кулинарных шоу...

"ИЛ". Интересно, как соотносится имидж Симады-человека с его статусом в литературных кругах? Любят ли его критики?

Е. Т. Критики относят Симаду к категории интеллектуальных писателей и в целом оценивают довольно высоко. Хотя за ним и закрепилась репутация enfant terrible, которую он сознательно поддерживает со всей японской тщательностью, я бы не сказала, что это фигура одиозная.

Симаде принадлежит очень своеобразный рекорд: он шесть раз был номинирован на престижную премию Акутагавы, но так ее и не получил. И вот что показательно: в этой ситуации литературная общественность была на стороне Симады. Многие решили, что его неудачи — симптом того, что жюри премии предвзято относится к современной литературе.

"ИЛ". Кто они — читатели Симады?

Е. Т. По его собственным уверениям, он старается писать так, чтобы его книги были одинаково понятны его единомышленникам повсюду: "Лучше три тысячи читателей по всему миру, чем сто тысяч в Токио и окрестностях". На деле Симада известен преимущественно в Японии. Полагаю, это объясняется нынешним положением японской литературы на карте мира: все-таки круг людей, которые ею интересуются, довольно узок. Как бы то ни было, у себя на родине Симада весьма популярен. Японские поклонники создали много сайтов, где обсуждают его творчество, высказывания, поступки.

"ИЛ". Еще в 1993 году на страницах нашего журнала появился рассказ Симады "Дельфин в пустыне"[1]. Как обстоит дело с его публикациями в России сегодня?

Е. Т. Произведения Симады включены в антологии японской прозы "Он" и "Теория катастроф". Сборник рассказов "Царь Армадилл" вышел отдельной книгой. Издан роман "Повелитель снов" в моем переводе. Кстати, в 2003 году Симада и еще несколько японских писателей приезжали в Москву по приглашению Григория Чхартишвили. На книжной ярмарке "Non-Fiction" в 2003 году Симада прочел лекцию о принце Гэндзи и Дон Жуане, выдержанную в непривычном для традиционной японистики духе.

"ИЛ". Судя по всему тому, что вы рассказали, рискну предположить, что одним из основных литературных приемов Симады является эпатаж...

1. "ИЛ", 1993, № 5.

Е. Т. Да, это верно. В каждой своей книге он задается целью разрушить то или иное табу. Мне легче всего показать это на романе "Повелитель снов". Книга в целом достаточно откровенная: постельные сцены, перипетии богемной жизни и тому подобное. Правда, в наше время такими вещами уже никого не удивишь. Но, на мой взгляд, поистине эпатажной стороной романа является его концепция "детей напрокат", "друзей напрокат", "любимых напрокат" — специально обученных профессионалов, чьими услугами пользуются одинокие люди. Идея шокирующая даже для нашего циничного времени, но Симада показывает: реальные ее последствия вопреки тому, что может показаться поначалу, далеко не всегда негативны. В интервью Симада часто повторяет, что эпатаж — лишь средство привлечь внимание читателя к весьма серьезным темам. Свои произведения он называет "сильнодействующим лекарством, которое при передозировке может превратиться в яд". Нельзя забывать, что Симада очень интересуется политикой. У него есть четкая позиция по животрепещущим для Японии и всего мира вопросам, которую он излагает как в своих произведениях, так и через свой сайт в Интернете. Недавно он пообещал написать "новое" "Преступление и наказание", поскольку его очень тревожит рост молодежной преступности, вызванный экономической нестабильностью и крахом старых ценностей. Произведения Симады, как мне кажется, можно воспринимать на нескольких уровнях: это и занимательные истории, и постмодернистский конгломерат идей. Он заимствует мифы из самых разных культур и творчески их перерабатывает.

"ИЛ". Мне представляется, что книги смутьяна Симады, строящего игру на разрушении табу, могут стать для зарубежного читателя ключом к психологии японцев, ведь несоблюдение культурных табу, бытующих в той или иной стране, порой помогает проникнуть в святая святых национальной ментальности.

Е. Т. Говоря очень упрощенно, традиции Японии и Европы диаметрально противоположны. Это относится и ко многим табу. Так, в Японии никогда не было принято объясняться в любви. Мужчина просто говорил женщине: "Иди со мной" (то есть стань моей спутницей жизни), а женщина отвечала: "Я готова умереть ради тебя". Любовь там выражается скорее в действиях, чем в словах. Это свойственно и героям нашего современника Симады, в частности героям его трилогии "Канон, звучащий вечно". Между тем, сам автор считает "Канон" принципиально новым для себя произведением, романом XXI века.

"ИЛ". Выступая на "круглом столе" в РГГУ, Симада коснулся традиционного понятия "ирогономи", совмещающего в себе такие смыслы, как "любовь", "чувственность", "женственность", "желание соблазнять". Начал он с анализа этого понятия в классическом японском романе "Повесть о Гэндзи", а затем признался, что его "Канон, звучащий вечно" призван ответить на вопрос, как возродить ирогономи в наше время. Это соответствует духу трилогии?

Е. Т. "Канон, звучащий вечно" — роман о любви. О любви запретной, возникающей вопреки социальным установлениям, заранее обреченной на безответность. О любви чистой и вечной, которая переживает даже самих влюбленных. Эта тема очень необычна для современной японской литературы, где последнее время стал преобладать, так сказать, "кислотный" подход к жизни. Таким образом, Симада идет вразрез с об-

щей тенденцией, не опускаясь при этом до уровня сентиментальных дамских романов. Кроме того, в этой трилогии Симада покушается на старинное табу, которое соблюдается и по сей день. Молодая женщина, наша современница, в которую безнадежно влюблен главный герой, — жена престолонаследника, ни больше ни меньше. Казалось бы, что тут такого, ведь все мы давно привыкли, что "желтая пресса" постоянно перемывает косточки европейским королям и аристократам. Однако в современной Японии подобная фамильярность была бы нонсенсом. Имена членов императорской семьи не принято упоминать в каком-либо контексте, кроме официального. Большинство населения относится к их особам с огромной почтительностью и благоговением. Поэтому, когда в романе японского автора фигурирует супруга принца, имеющая некоторое сходство с реальной принцессой Масако, — это скандал.

"ИЛ". Наверно, в наши дни такое возможно только в Японии. Значит, "Канон, звучащий вечно" — это роман о современности?

Е. Т. Трилогия охватывает весьма длительный отрезок времени — с конца XIX века по начало XXI. Используя в качестве завязки сюжет оперы "Мадам Баттерфляй", Симада повествует о судьбе нескольких поколений одного семейства, родоначальником которого стал сын мадам Баттерфляй и американского офицера Пинкертона. Над потомками мадам Баттерфляй тяготеет рок: если они влюбляются, то законы общества или иные непреодолимые обстоятельства обрекают их на разлуку с любимыми. Таков лейтмотив. Интересно, что в финале писатель приводит Каору, героя "сегодняшней" части романа, на Курильские острова. Отмечу, что Симаде, к его чести, удалось избежать "развесистой клюквы" при описании российской действительности. Видимо, образование служило ему подспорьем.

Говоря о "Каноне", Симада подчеркивает: "В наши дни очень трудно написать роман о любви, и только о любви, но выход есть: можно использовать в сюжете то или иное историческое событие, поскольку за любым таким событием кроется история любви".

"ИЛ". Возможно, трилогия Симады отчасти перекликается с тетралогией Юкио Мисимы "Море изобилия", действие которой также разворачивается в критические периоды новейшей японской истории. Однако современные российские читатели непременно захотят сопоставить Симаду с другим автором — его старшим современником, пресловутым Харуки Мураками.

Е. Т. Если говорить о моем личном отношении, я скажу так: чем больше я читаю Мураками, тем больше мне нравится Симада. Наверное, у каждого переводчика есть свой писатель, близкий ему по духу. У Мураками несомненно увлекательные сюжеты, по-японски он очень легко читается, на русский его переводят блестяще, но это не мой автор. Это писатель безусловно массовый, его читают и за рубежом, и в Японии, но я надеюсь, что и Симада найдет своего читателя в России. И не только благодаря закрученному сюжету, ярким героям и эпатирующим сценам.

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Фаллачи О. Ярость и гордость / Пер. с итал. Л. Виноградовой. — М.: ВАГРИУС, 2004. — 160 с. (п) 5000 экз.

Скандальная книга знаменитой итальянской журналистки Ориана Фаллачи, в которой она последними словами ругает мусульман и европейских либералов. Мусульман — за то, что они заполонили Европу и мечтают всюду насадить свои порядки, надеть на всех женщин чадру, а христиан поработить. А либералов — за то, что они им всячески потворствуют. Фаллачи вообще человек-скандал, итальянская Новодворская: обе всегда против чего-нибудь выступают и выступают фанатично. Последние 50 лет Фаллачи скиталась по свету из одной горячей точки в другую. Побывав в Южном Вьетнаме, писала о преступлениях американцев, а когда ее обвинили в симпатиях к коммунистам, отправилась в Северный Вьетнам и стала писать о преступлениях коммунистов. Теперь же она видит в США защитников всего демократического и светского мира. Предельно неполиткорректная книга. Тем и интересна.

Елинек Э. Перед закрытой дверью: Роман / Пер. с нем. И. Ланина; под ред. А. Белобратова. — СПб.: Симпозиум, 2004. — 382 с. 5000 экз. (п)

Нобелевская лауреатка Эльфрида Елинек — одна из самых шокирующих писательниц XX века. Все помнят страшный фильм "Пианистка", снятый по мотивам одноименного романа, но, пожалуй, "Перед закрытой дверью" — книга еще более тяжелая и страшная. Елинек не считает нужным щадить нервы читателей. Итак, Вена, 50-е годы. Растоптанная и униженная послевоенная Австрия, где остались лишь воспоминания о былом имперском величии. Анна и Райнер — дети ветерана войск СС, потерявшего на войне ногу. На восточном фронте этот человек убивал людей, как мух, но совесть его не мучает. Теперь он зарабатывает на жизнь, делая порнографические фотографии, а чтобы утолить природную жестокость, истязает и унижает собственную жену. Дети-волчата не отстают от отца. Вскоре они выходят на улицу: нападают на случайных прохожих, грабят и убивают. Чтение Елинек завораживает, но остается вопрос: не слишком ли писательница любуется своими кровожадными героями?

Мур М. Глупые белые люди / Пер. с англ. С. Дёминой. — М.: АСТ, ЛЮКС, 2005. — 318 с. 5000 экз. (п)

Антибушевская книга Мура, написанная до 11 сентября, когда главный бушеборец Америки ругал Буша еще не за связи с семейством Бен Ладенов, а за многое другое. За то, что выборы нечестно выиграл. За то, что читать не умеет. За то, что родился придурком и вырос алкоголиком (цитирую почти дословно). За то, что ситуация в Америке с каждым годом становится все хуже: безработица растет, средняя зарплата снижается, автомашины ломаются, по телефону никуда не дозвониться, а независимых газет все меньше и меньше. Америка под пером Мура — совсем как в телепередаче "Международная панорама" эпохи за-

стоя, Валентин Зорин был совершенно того же мнения. Ну разве что Мур немного поостроумнее.

Эздамар Э. С. Мост через бухту Золотой Рог / Пер. с нем. М. Кореневой, М. Рудницкого. — СПб.: Амфора, 2004. — 399 с. 4000 экз. (п)

Наивные воспоминания неглупой девушки. Эмине Севги Эздамар приехала из Стамбула в Германию в середине 1950-х годов: семнадцатилетняя турчанка смотрит на мир широко открытыми глазами, ей все интересно, все удивительно. Вот как она описывает студенческие демонстрации: "Для берлинского сената студенты были все равно что куры. А Берлин — курятник. Получалось, что политики — вроде как владельцы этого курятника, а полиция только для того и существует, чтобы ощипывать курам перья. Что ж, коли так, значит, это куры каждый день выходили на улицы, а под вечер, изрядно потрепанные и пощипанные полицией, сбегались в кафе "Штайнплац" пить кофе, легкое пиво и колу. Куры дымили сигаретами, ходили в кино, а потом часами спорили о фильмах Годара, Эйзенштейна и Клюге. Иной раз в толпе самых заурядных кур на берлинских улицах вдруг объявлялась какая-нибудь знаменитая кура, например, Гюнтер Грасс". Да не такая уж она, пожалуй, и наивная. И переводчики не подкачали.

Бертран П.-М. Зеркальные люди. История левшей / Пер. с франц. К. Щербино. — М.: Новое Литературное Обозрение, 2005. — 304 с. — (Культура повседневности). Тираж не указ. (п)

Полная история всех предубеждений, связанных с левшами. Левая рука всегда считалась плохой, а правая — хорошей. Почему? Есть несколько теорий. Ну, во-первых, есть все-таки у человека физиологическая предрасположенность к праворукости. Во-вторых, с древних времен люди делят все на свете на хорошее и плохое. Так левое стало синонимом отрицательного (пусть социалисты и коммунисты не обижаются). Но пик левшененавистничества пришелся на конец XIX века. Маленьких левшей "лечили от позорной привычки" побоями, а взрослых подозревали в страшных преступлениях и извращениях. И только в наш век всетерпимости левшам вышло помилование и полная реабилитация. Примечание: автор, разумеется, сам левша и тем гордится.

Так говорил Саддам / Сост. В. Пруссаков. — Екатеринбург: Ультра.Культура, 2004. — 304 с. 3000 экз. (п)

Цитатник Саддама Хусейна на все случаи жизни: о человеке, революции, империализме, сионизме, патриотизме, Ираке, любимой партии БААС, о религии и социализме, о детях и молодежи. Обыкновенная демагогия и риторика, которая есть в речах любого политика. Сегодня одно, завтра другое, неизменны только пламенные инвективы в адрес США и Израиля. Более интересную часть книги составляет подборка статей российских авторов о Хусейне, хотя, если бы они были чуть-чуть менее пристрастны, менее подчеркивали, как пылко любят Саддама, книга бы от этого только выиграла.

Венгрия

Петер Эстерхази — о своем "театре слов"

На последней Франкфуртской книжной ярмарке состоялось вручение премии Мира Союза немецких книгоиздателей одному из самых известных современных венгерских прозаиков Петеру Эстерхази. Вскоре после церемонии лауреат дал интервью швейцарскому поэту и критику Ильме Ракузе. Несмотря на торжественность повода для встречи, Эстерхази не произносил "громких слов", ибо, как он объяснил собеседнице, "ироничный ответ уместен всегда". Так, в связи с присуждением премии его больше всего порадовало то обстоятельство, что члены жюри, отметившие его творчество столь серьезной наградой, сочли "немецкую серьезность" в принципе совместимой с его "венгерской несерьезностью".

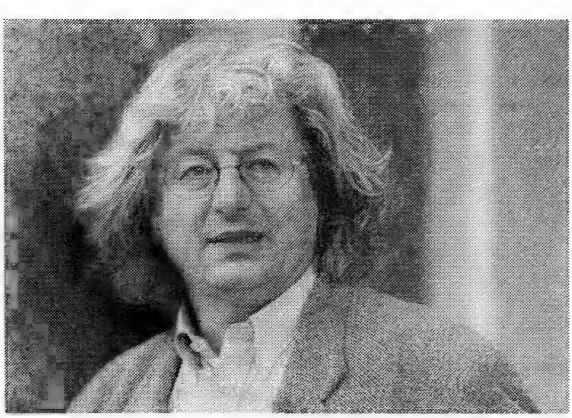
Впрочем, последняя книга Петера Эстерхази "Исправленное издание. Приложение к роману 'Harmonia cælestis'" (русский перевод — "ИЛ", 2003, № 11), стала серьезным событием в венгерской и не только венгерской литературе. Автор написал ее после знакомства с документами из архива бывшей венгерской службы безопасности, из которых выяснилось, что его отец, всегда являвшийся для него идеалом, был тайным осведомителем в период социализма. Как прореагировал на книгу венгерский читатель? Что он испытал: шок или катарсис?

"Воздействие книги было ошеломляющим, — говорит Эстерхази. — Однако толчком к тому, что принято называть "преодолением прошлого", она не стала. Скорее всего, и не могла стать. Или — не может стать в настоящий момент, потому что венгерское общество по разным причинам пока не готово извлечь урок из собственной истории".

Прозу Эстерхази его венгерский коллега Имре Кертес однажды охарактеризовал как "театр слов", имея в виду, что из-за ее сложного устройства (использования техники монтажа, смещения временны́х пластов и прочих ее особенностей) главным персонажем произведений становится сам язык. Не повлияло ли на стилистическую манеру Эстерхази то обстоятельство, что он получил математическое образование? Эстерхази предполагает, что дело скорее в его врожденных качествах. И в математике, и в литературе ему помогает "увлеченность формой, формализацией, абстракцией". По его словам, "когда начинаешь новую книгу, главное — найти для нее верный тон, это куда важнее, чем придумать фабулу".

Известно, что в своих романах Эстерхази широко использует цитаты. Как он сам объясняет эту особенность своей прозы?

"Здесь, возможно, сказалось мое романтическое или, лучше сказать, детское восприятие литературы, предполагающее, что книги связаны между собой дружескими отношениями и выручают друг друга, — говорит писатель. — Я мог бы при случае рассказать, например, о дрожи радостного возбуждения, в которую повергает меня чужой текст... Как бы то ни было, я благодарен всем книгам, которые помогли моим. Но вообще в употреблении цитат нет ничего необычного. В каком-то смысле все, к чему бы мы ни обратились, является цитатой, повторением. Интертекстуальность — вовсе не изобретение современной эпохи, са-



Петер Эстерхази

ма речь функционирует так: она то и дело явно или неявно отсылает нас к чужим высказываниям. Ни одно предложение не существует само по себе. И в любом современном романе даже словечко 'да' всегда хоть чуть-чуть перекликается с последним словом джойсовского 'Улисса'".

Ильма Ракузе, отметив доброжелательность Эстерхази, предположила, что он счастливый человек. Так ли это на самом деле?

"Безусловно так, — согласился писатель. — Правда, доброжелательность просыпается во мне только после завершения рабочего дня, ближе к вечеру. Но прежде чем дать исчерпывающий ответ на ваш вопрос, мне предстоит решить одну маленькую исследовательскую задачку — вывести научное определение счастья. И я уже приступил к соответствующим предварительным изысканиям, тоже, кстати, отнимающим изрядную толику рабочего времени..."

Какого рода ответственность лежит на Эстерхази-писателе?

"Я вижу свою ответственном в том, чтобы создавать добротную прозу — это я заявляю со всей серьезностью, на какую способен, даже без тени улыбки. В моей — в других отношениях прекрасной — стране так много говорили и до сих пор говорят об ответственности, что я покрываюсь сыпью цвета нашего национального флага, стоит мне только услышать это слово. Я — приверженец старомодных, несколько расплывчатых представлений о духовной жизни вообще и духовности литературы в частности, и мне бы хотелось и дальше оставаться верным моим убеждениям. Это я и называю ответственностью".

США

Роман, который так никогда и не увидит свет

Недавно в США была обнаружена рукопись дебютного неопубликованного романа Трумэна Капоте, долгое время считавшаяся потерянной. Почти сорок лет вместе со старыми фотографиями и документами она пролежала в коробке, которую писатель в 1966 году оставил при переезде из нью-йоркской квартиры.

"Летнее пересечение" — 200-страничное произведение, еще 89 страниц занимают ис-

Трумэн Капоте

правления и дополнения. В основе сюжета — история 17-летнего юнца по имени Греди Менил, большого любителя светской жизни.

Капоте начал писать свою первую книгу в 1943 году, вскоре после поступления на службу в журнал "Нью-Йоркер" — оттуда его, правда, вскоре уволили за то, что он ненароком оскорбил Роберта Фроста. Вернувшись домой в Алабаму, незадачливый журналист некоторое время продолжал трудиться над романом, но затем его захватила новая идея. "Я пожелал домашним 'спокойной ночи', заперся в своей комнате, засунул 'Летнее пересечение' в нижний ящик стола, достал несколько остро отточенных карандашей и чистый блокнот в линейку, прямо в одежде завалился в постель и написал 'Иные голоса, иные комнаты'" (русский перевод — "ИЛ", 1993, № 12), — приводит слова писателя его биограф Джералд Кларк.

В 1948 году книга вышла в свет, и Капоте тут же стал знаменит. Позднее он несколько раз возвращался к отложенной рукописи, даже брал ее с собой в Европу и Северную Африку. Лишь в 1950 году писатель окончательно забросил так и не завершенное сочинение, сочтя его недостойным публикации.

По этой причине "Летнее пересечение" вряд ли появится в виде книги. Пока известно лишь то, что агент, распоряжающийся литературным наследием Капоте, выставил рукопись на аукцион Сотби.

Самая большая в мире электронная библиотека

В декабре минувшего года известная американская компания "Гугл" объявила о начале работы над грандиозным проектом. Его цель — сделать доступными через одноименную поисковую систему книги и документы из крупнейших мировых библиотек. На сегодняшний день в проекте участву-

ют Нью-Йоркская публичная библиотека и библиотеки четырех университетов — Стэнфордского, Гарвардского, Мичиганского и Оксфордского. В общей сложности "Гугл" собирается отсканировать и разместить в сети около 15 миллионов изданий. Правда, возникает проблема с авторскими правами. Предполагается, что старые тексты, в том числе редкие издания, можно будет читать бесплатно. Книги, которые нельзя обнародовать полностью, решено представить краткими выдержками либо дать вместо них библиографические справки.

По примерным оценкам библиотек, проект удастся завершить не ранее, чем через десять лет.

Франция

Слова, которые надо спасти

Книга "100 слов, которые надо спасти" Бернара Пиво (издательство "Альбен Мишель") — это не словарь архаизмов, а своего рода манифест, зовущий к действиям. В нем писатель, журналист и бывший телеведущий популярной литературной передачи, сетуя на обеднение французского языка, предлагает весьма необычный способ решения этой проблемы. "Существует огромное количество организаций, занимающихся охраной редких видов растений и животных. Но ведь словам также свойственно вымирать, и потому они не в меньшей степени нуждаются в защите, — пишет Пиво. — Исчезая из употребления, а затем и из толковых словарей, они попадают в разряд устаревших, хотя выражают отнюдь не устаревшие понятия". Выбрав 100 слов, которым грозит забвение, автор подробно объясняет их значение и правила применения, иллюстрируя их литературными примерами, с тем, чтобы читатели смогли "вдохнуть новую жизнь в старую лексику", введя ее в речевой оборот.

Инициативу Пиво поддержали ежемесячник "Лир", а также ряд писателей и деятелей культуры. Министр образования, например, пообещал заняться "популяризацией" слова "soulier" (башмак), которое, по его наблюдению, для нынешних детей стало почти экзотикой.

Тревоги Пиво целиком разделяет и Французская академия, которая даже намерена провозгласить спасение языка "главной национальной идеей XXI века".

Апология лени

Огромный успех книги "Здравствуй, лень" (издательство "Мишалон") явился полным сюрпризом для ее автора — 40-летнего экономиста и психоаналитика Корин Майер. Другим сюрпризом, уже менее приятным, стал разговор с начальником, который пригрозил ей увольнением. С чем же связана такая реакция? Дело в том, что Майер в своей книге, по жанру близкой к памфлету, затронула тему, которая во Франции считается почти неприличной, а именно — работу. В легком полушутливом тоне она посоветовала соотечественникам поменьше напрягаться на службе. Аргументы автора просты. Работу во Франции принято считать высшим благом. При этом в последние годы она мало кому приносит настоящее удовлетворение. Если на мелких предприятиях атмосфера более или менее сносная, то на крупных — работники ощущают себя частью абсурдного механизма, который, требуя полной отдачи, ничего не дает взамен. Исправить такое положение невозможно: нынешние управленцы не жалуют критики, да и правила политкорректности, налагая цензурные ограничения, отнюдь не способствуют налаживанию взаимопонимания между начальством и подчиненными. Так что, по мнению Майер, остается единственное — тихий саботаж. Минуют тяжелые времена, на смену забюрократизированным предприятиям-гигантам придет что-то новое, а пока наиболее безболезненный вариант — это мирно растить свой сад, получая при этом ежемесячное жалованье.

Видимо, идеи Майер пришлись по вкусу не только французам — права на перевод памфлета приобретены уже в 25 странах.

По материалам информационного агентства "Ассошиэйтед пресс" [США], газет "Гардиан" [Великобритания], "Либерасьон", "Фигаро литтерэр" [Франция], журнала "Бёрсенблатт" [Германия].

Виржини Депант
Virginie Despentes
Французская писательница.

Автор романов *Трахни меня* [*Baise-moi*, 1993], *Миленькие вещички* [*Les Jolies choses*, 1998, премия *Флор*], *Дрессированные сучки* [*Les Chiennes savantes*, 1999; рус. перев. 2003].
Роман печатается по изданию *Teen spirit* [Paris: Grasset, 2002].

Герта Мюллер
Herta Müller
Немецкий поэт и прозаик.

Живет и работает в Берлине. Лауреат многих литературных премий, в том числе премии имени Генриха Клейста [1994], европейской литературной премии *Аристейон* [1995], премий имени Франца Кафки [1999] и имени Йозефа Брайтбаха [2003].
Автор сборника короткой прозы *Низменности* [*Niederungen*, 1982], романов *Человек в мире – большой фазан* [*Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt*, 1986], *Лис тогда уже был охотником* [*Der Fuchs war damals schon der Jäger*, 1992], *Всердцезверь* [*Herztier*, 1994], сборников эссеистики *Голод и шелк* [*Hunger und Seide*, 1995], *Король кланяется и убивает* [*Der König verneigt sich und tötet*, 2003] и др.
Публикуемый рассказ взят из сборника *Босоногий февраль* [*Barfüßger Februar*. Berlin: Rotbuch Verlag, 1990].
Публикуемая речь взята с сайта bachmannpreis.orf.at

Марк Абрамович Белорусец
[р. 1943]. Переводчик с немецкого.

В его переводах опубликованы поэтические сборники *Стихотворения* П. Целана [1998], *Попытка чтения* Ю. Шуттинга [2000], воспоминания М. Шпербера *Напрасное предостережение* [20002], а также произведения Г. Айха, Г. Тракля, Р. Музиля, Г. Мюллер, Б. Кольфа, Э. Аксман и др.

Брюс Чатвин
Bruce Chatwin
[1940–1989]. Английский писатель, журналист, археолог, антиквар. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии имени Э. М. Форстера [1979].

Автор путевых заметок *В Патагонии* [*In Patagonia*, 1977], *Возвращение в Патагонию* [*Patagonia Revisited*, 1985], *Песенные тропы* [*Songlines*, 1987], романов *Наместник Оюда* [*The Viceroy of Ouidah*, 1980], *На темной горе* [*On the Black Hill*, 1982].
Публикуемый роман печатается по изданию *Utz* [London: Vintage, 1998].

Марек Заганчик
Marek Zagańczyk
[р. 1967]. Польский литератор, эссеист.

Автор сборников эссе *Пейзажи и портреты* [*Krajobrazy i portrety*, 1999], *Дорога в Сиену* [*Droga do Sieny*, 2005].
Публикуемое эссе взято из журнала *Zeszyty Literacki*, 2004, № 4 (88).

Джон Клэр
John Clare
[1793–1864]. Английский поэт.

Автор поэтических сборников *Стихотворения, описывающие сельскую жизнь и природу* [*Poems Descriptive of Rural Life and Scenery*, 1820], *Деревенский менестрель* [*The Village Minstrel*, 1821], *Пастуший календарь* [*The Shepherd's Calendar*, 1827] *и Сельская муза* [*The Rural Muse*, 1835].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Григорий Михайлович Кружков
[р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед. Лау-

Автор пяти стихотворных сборников [последний – *Гостья*, 2004]. В его переводах вышли книги Джона Донна *Избранное* [1994], У. Б. Йейтса *Избранное* [2001], сборники *Книга NONсенса. Английская поэзия абсурда* [2000], *Лекарство от Фортуны. Поэты при дворе Генриха*

реат многочисленных премий, в том числе *ИЛлюминатор* [2002] и Государственной премии по литературе [2003].

VIII, Елизаветы Английской и короля Иакова [2002], *Англасахаб: 115 английских, ирландских и американских поэтов* [2003] и др. В *ИЛ* печатались его переводы стихов Ш. Хини [1991, № 4; 2003, № 5], Д. Энрайта [1994, № 3], У. Б. Йейтса [1995, № 2], У. Стивенса [1998, № 10], У. Дж. Смита [2002, 10] и др.

Борис Владимирович Дубин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик, социолог. Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], им. Анатоля Леруа-Больё [1996], им. Мориса Ваксмахера [1998].

Автор статей по социологии культуры и книг *Слово – письмо – литература* [2001] и *Интеллектуальные группы и символические формы* [2004]. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 9, 12; 2000, № 1; 2003, № 10, 2004, № 12]. В *ИЛ* в его переводе публиковались стихи Э. Ади [1997, № 12], эссе И. Бонфуа [1996, № 7] и Ф. Лежёна [2000, № 4], отрывки из записных книжек Ф. Жакоте [2002, № 9] и др.

Пауль Целан
Paul Celan [наст. имя Пауль Лео Анчель].
[1920–1970]. Немецкоязычный поэт, переводчик французской, английской, русской и итальянской поэзии и прозы на румынский и немецкий языки. Родился в еврейской немецкоязычной семье в Черновцах [Румыния, после 1940 г. – СССР]. С 1948 г. жил в Париже. Лауреат литературной премии Вольного ганзейского города Бремена [1958] и дармштадтской премии имени Георга Бюхнера [1960] и др.

Автор стихотворных сборников *Мак и память* [*Mohn und Gedächtnis*, 1952], *От порога к порогу* [*Von Schwelle zu Schwelle*, 1955], *Решетки языка* [*Sprachgitter*, 1959], *Роза Никому* [*Die Niemandsrose*, 1963], *Поворот дыхания* [*Atemwende*, 1967], *Нити солнц* [*Fadensonnen*, 1968], *Давление света* [*Lichtzwang*, 1970], *Удел снега* [*Schneepart*, 1971], *Подворье времени* [*Zeitgehöft*, 1976] и др. На русском языке стихи Целана публиковались в книге *Стихотворения* [1988] и антологиях *Из современной австрийской поэзии* [1975], *Западноевропейская поэзия XX века* [1977] и др. В *ИЛ* ему были посвящены рубрики *Портрет в зеркалах* [1996, № 12] и *Вглубь стихотворения* [1999, № 12].

Ольга Александровна Седакова
Поэт, переводчик с немецкого, французского, английского, итальянского, польского, старославянского, латыни. Лауреат премии имени Андрея Белого [1980], Парижской премии русскому поэту [1991], пушкинской премии А. Тёпфера [1994], Европейской премии поэзии [Рим, 1995], ватиканской премии имени Вл. Соловьева [1998], премии Александра Солженицына [2003] и др.

Автор поэтических сборников *Ворота, окна, арки* [1986], *Китайское путешествие* [1990], *Стихи* [1994], *Путешествие волхвов* [2001]. В 2001 году в издательстве *Эн Эф Кью/Ту Принт* опубликован ее двухтомник *Стихи. Проза.* Произведения Седаковой переводились на английский [отдельными изданиями выходили сборники стихов: *The Silk of Time*, 1994, *The Wild Rose*, 1997, *Poems and Elegies*, 2003], немецкий [отдельным изданием – путевые заметки *Reise nach Bryansk*, 2000], французский [том прозы *L'eloge de la poésie*, 2001 и сборник стихов *Voyage en Chine et les autres poèmes*, 2004], датский [отдельным изданием – сборник стихов *Kinesik rejse og andre dikte*, 2004], иврит [отдельным изданием – сборник *Старые песни*, 1997], итальянский, китайский и другие языки.
Опубликованы также ее поэтические переводы из Франциска Ассизского, Р. М. Рильке, П. Целана, П. Клоделя, С. Малларме, Т. С. Элиота, Э. Паунда и др., а также статьи и исследования о русской и европейской поэзии и фольклористике.
Автор монографии *Поэтика обряда* [2004] и словаря *Церковнославянско-русские паронимы* [2005].

Ван Мэн
[р. 1934]. Китайский писатель. В 1986—1989 гг. был министром культуры, в настоящее время — заместитель председателя Союза китайских писателей, заместитель председателя китайского ПЕН-клуба, ректор Института литературы китайского университета Хайян. Лауреат многих национальных и международных премий.

В Китае издано несколько собраний его сочинений. Издательство *Жэньминь вэньсюэ* в настоящее время выпускает *Архив литературы Ван Мэна* в 23 томах.
Автор романов *Да здравствует юность* [1979], *Марионетки* [1986], *Сезон любви* [1993], *Сезон утрат* [1994] и др., а также многих повестей и рассказов. На русском языке выходили его повесть *Чалый* [в сборнике *Средний возраст*, 1985]; *Избранное* [1988] и др. В *ИЛ* печатались его рассказы [1981, № 11; 1986, № 9] и повесть *Мертвеющие корни самшита* [2004, № 5].

Сергей Аркадьевич Торопцев
[р. 1940]. Переводчик с китайского.
Переводит современную китайскую прозу и классическую поэзию.

В его переводах публиковались рассказы и повести Ван Мэна, Цань Сюэ, Бай Хуа, Те Нин и др., а также стихи в сборнике новелл эпохи Сун *Нефритовая Гуаньинь* [1972], "арии" XIII—XIV вв. в сборнике *Китайская пейзажная лирика* [1984], стихи в сборнике *Книги о Великой Белизне. Ли Бо – Поэзия и Жизнь* [2002]. Составил два сборника повестей и рассказов Ван Мэна: *Избранное* [1988] и *Следы на склоне, ведущие вверх* [2004].
В *ИЛ* в его переводах публиковались стихи Ван Мина [1979, № 4], рассказы Цань Сюэ [1993, № 8], рассказы [1986, № 9] и повесть *Мертвеющие корни самшита* [2004, № 5] Ван Мэна.

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Б. Бетке, Э. Энрайт и др. В *ИЛ* печатались ее переводы эссе Т. Пинчона [1996, № 3], Д. Рэмптона [1996, № 10], Э. Саида [2003, № 1], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7], Р. Фернандеса, Х. Альварес, Т. Риверы [2003, № 1], а также перевод романов П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4] и Д. Деллило *Мао II* [2003, № 11—12].

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Переводчики

Ирина Всеволодовна Радченко
Переводчик с французского.

В ее переводах издавались произведения Г. Флобера, Ф. Жюллиана, Ф. Саган, Ж. Шардона и др. В *ИЛ* были опубликованы рассказы Ж. Жироду *На волоске* [1989, № 7] и А. Камю *Ренегат* [1993, № 3], фрагменты романа Л.-Ф. Селина *Guignol's Band, или Паяцы* [2001, № 3], романы Ж.-Ф. Туссена *Месье* [2001, № 3] и *Фотоаппарат* [2002, № 1], роман М. Уэльбека *Платформа* [2002, № 11], фрагменты книги Ж. Перека *Темная лавочка* [2003, № 12] и др.

Дмитрий Юрьевич Веденяпин
[р. 1959]. Поэт и переводчик поэзии и прозы.

Автор книг стихов *Покров* [1993] и *Трава и дым* [2002]. В его переводах публиковались стихи англоязычных, немецких, французских, фламандских поэтов, а также сборники рассказов И. Б. Зингера *Последняя любовь* [1999], *Страсти* [2001] и *Кабалист с Восточного Бродвея* [2003]. В *ИЛ* напечатаны его переводы романов М. Каннингема *Дом на краю света* [1997, № 8—9] и *Часы*

[2000, № 9], рассказы И. Б. Зингера [2003, № 5], стихи Ч. Симика [2003, № 1], В. Шимборской [2003, № 5], А. Дагена [2004, № 4].

Марина Тихоновна Курганская
Переводчик с польского и английского языков.

Переводила прозу К. Филипповича, А. Стасюка, Е. Сосновского, Ю. Хэна, дневники Вл. Шпильмана, стихотворения В. Шимборской. В ее переводе [совместно с М. Тихоновым] вышла книга Дж. Рэдуэй *Читая любовные романы*.

Татьяна Александровна Баскакова
Переводчик с немецкого, французского и итальянского языков.

В ее переводе изданы книги А. Роке *Брейгель, или Мастерская сновидений*, И. Фрэн *Клеопатра, или Неподражаемая*, О. Ролена *Пейзажи детства*, Р. Сафрански *Хайдеггер. Германский мастер и его время*, романы К. Крахта Faserland и 1979, А. Шмидта *Каменное сердце*. В ИЛ в ее переводе печатались рассказы А. Шмидта [1999, № 7] и И. фон Кизерицки [2002, № 5], повесть Б. Бернхарда *Племянник Витгенштейна* [2003, № 2], роман Ф. Йегги *Пролетарка* [2003, № 3], фрагменты книги Х. Х. Янна *Деревянный корабль* [2003, № 9] и др.

В оформлении обложки использован фрагмент картины французского художника Эугениуша [Эжена] Зака [1884–1926] *Лютнист* [1921].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок обращаться в отдел распространения и рекламы:
тел. 8-926-528-51-48,
факс (095) 953-50-61,
e-mail: journalinostranka.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 22.09.2004
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 511.
Тираж 8300 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

В следующем номере, посвященном 60-летию Победы:

Шкура — одно из самых ярких произведений о Второй мировой войне; в центре повествования — события, связанные с высадкой в 1943 году союзных войск в Неаполе, свидетелем и участником которых был автор, классик итальянской литературы Курцио Малапарте. Перевод Геннадия Федорова.

Черные зеркала — необычная антиутопия Арно Шмидта, "лучшего немецкого эпика второй половины XX века". Ее герой — последний человек, оставшийся в живых после Третьей мировой войны. Переводчик Татьяна Баскакова.

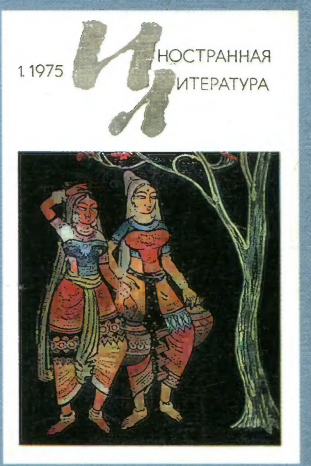
Фрагменты книги французского историка Никола Жалло ***Их Сталин поймал в ловушку***, где рассказывается о трагической судьбе "русских французов", которые после победы СССР во Второй мировой войне поверили призывам советской пропаганды и решили вернуться на Родину. Переводчик Ирина Радченко.

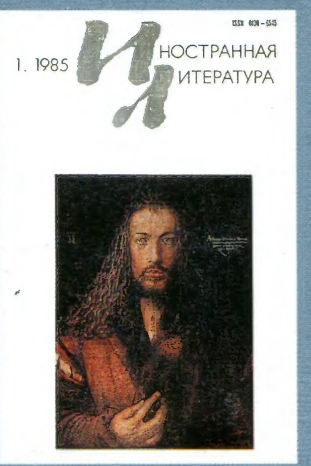
---

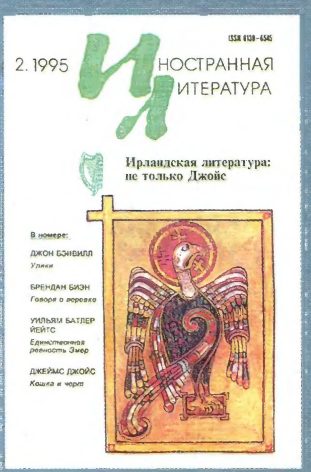
[5] 2005

РОМАН КУРЦИО МАЛАПАРТЕ "ШКУРА" / РАССКАЗЫ ТАДЕУША РУЖЕВИЧА И ТАМИЯ ТОРАХИКО / ПОВЕСТЬ АРНО ШМИДТА "ЧЕРНЫЕ ЗЕРКАЛА" / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: ФРАГМЕНТЫ КНИГИ НИКОЛА ЖАЛЛО "ИХ СТАЛИН ПОЙМАЛ В ЛОВУШКУ" / ДВА ЭССЕ ИВАНА КЛИМЫ / "ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ" МАРИИ КАРП В РУБРИКЕ "ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА"

Нам 50 лет!







Журнал «Иностранная литература»

1955–2005

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2005, №4, 1-288